

Георгий Брянцев.

По ту сторону фронта.

Роман

Товарищам по совместной борьбе в тылу у фашистских захватчиков, народным мстителям, партизанам Брянских лесов посвящаю...

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

В лесу, километрах в тридцати от города, в большой партизанской землянке второй час заседало бюро подпольного окружка партии.

Выступал секретарь окружка Пушкарев — человек пожилой, невысокого роста, начинающий полнеть, но еще очень подвижной.

— Партия призвала создать в оккупированных районах невыносимые условия для врага, — говорил Пушкарев. — Беспощадно уничтожать его на каждом шагу, систематически срывать его мероприятия. И наш народ по ее зову поднялся на эту священную борьбу. Люди делают все, что в их силах; они жертвуют своей кровью, своей жизнью во имя защиты и спасения социалистической родины. Как же мы должны рассматривать поведение командира взвода Грачева?

Пушкарев смолк и обвел присутствующих вопросительным взглядом. Его черные колючие глаза поблескивали из-под густых бровей. На темном от загара лице резче обозначились морщины.

Кроме членов бюро Зарубина, Добрынина, Кострова и Рузметова на заседании присутствовали командиры взводов, парторги и Дмитрий Карпович Беляк.

Все молча смотрели на секретаря, ожидая, что Пушкарев сам ответит на поставленный вопрос, но он задал его вновь:

— Как, я вас спрашиваю? — и остановил взгляд на Грачеве.

В сторону Грачева, сидящего в дальнем углу землянки на гряде березовых дров, повернули головы и присутствующие. Опять воцарилась тишина, напряженная, томительная. Грачев молчал, опустив голову и поглаживая руками колени.

— Молчаньем тут не отделаешься, — бросил ему комиссар отряда Добрынин. — Говори, как думаешь воевать дальше?

Грачев не ответил. Голова его опустилась еще ниже на грудь.

С чурбана поднялся командир партизанского отряда капитан Зарубин.

Он сердито посмотрел на Грачева, засунул руки за широкий поясной ремень и сказал:

— Ни о чем он не думает. Я могу рассказать, что мне пришлось увидеть в его взводе.

Отдельный взвод под командованием Грачева был расположен километрах в двадцати от лагеря партизанского отряда и являлся как бы его аванпостом. Между взводом и отрядом лежали железная и шоссейная дороги. И ту и другую гитлеровцы усиленно охраняли, так что добираться до взвода каждый раз приходилось с большим риском. В задачу Грачева и его людей входило: держать под своим ударом шоссейную дорогу, по которой передвигались немецкие транспорты, и не давать покоя оккупантам, терроризирующим население окрестных сел. Задачу эту взвод не выполнял. Да и не только эту. Он вообще бездействовал. И об этом сейчас горячо и резко говорил командир отряда Зарубин.

Партизаны взвода Грачева провели всего-навсего одну боевую операцию. И — надо отдать им справедливость — провели удачно, без потерь. Они проследили вражеский обоз, остановившийся на ночь в деревеньке, напали на него, перебили гитлеровцев, захватили оружие, продукты, восемь парных подвод. Но спустя несколько дней в деревню приехали каратели и учинили расправу над мирными жителями. Они расстреляли каждого десятого

человека и вывесили приказ, в котором предупреждали, что и впредь за одного убитого немца будет уничтожено десять русских, невзирая на пол и возраст. После этого Грачев растерялся и прекратил все операции.

— И сидят они сейчас в лесу, среди болот, как кержаки, — продолжал Зарубин. — Обленились. Гадают, когда конец войне придет. Грачев распустился сам, распустил людей. Он забыл, что является партизаном, командиром, коммунистом. Я считаю, что его надо немедленно отстранить от командования взводом, разжаловать в рядовые, наложить партийное взыскание. И это будет самое мягкое решение. За такие вещи следует...

Зарубин не окончил фразы, резко взмахнул рукой и опустился на чурбан. Все смотрели на Грачева. А он сидел неподвижно, все в той же позе, свесив на грудь голову. Изредка он тяжело вздыхал.

Слова попросил член бюро, командир взвода подрывников Усман Рузметов, стройный, с тонкой талией, похожий на подростка.

— Я согласен с капитаном Зарубиным, что Грачев заслуживает сурового наказания, — сказал Рузметов. — С командования взводом его надо снять, но считаю нецелесообразным разжаловать его в рядовые. Предлагаю назначить его командиром отделения и объявить выговор по партийной линии.

Пушкарев, начавший было вертеть самокрутку, высыпал табак в кiset, а бумажку смял и выбросил.

— За тобой слово, Грачев! Отвечай! — сурово произнес он. — Тебе большое дело поручили, сколько людей доверили, а ты нюни распустил — отсиживался в лесу, как байбак.

Грачев тяжело, со вздохом поднялся, едва не достав головой потолка землянки. Высокий, худой, узкоплечий, он стоял с опущенной головой. Лицо со впалыми небритыми щеками выглядело усталым. Что он может сказать? Он сказал уже все, когда ему дали слово в начале заседания. Что можно добавить? Еще до того, как Зарубин пришел к нему во взвод, он понял, что допустил большую ошибку, но было уже поздно, — авторитет командира в глазах подчиненных был потерян. Возможно, другой на его месте поступил бы иначе, созвал бы партизан и сказал честно, что ошибался, а теперь хочет исправить ошибку. А у него не хватило мужества так поступить. Ему стыдно было признаться в этом. И вот последствия...

— Я заслуживаю наказания, — проговорил наконец Грачев. — Растерялся я, сознаюсь... Оправдываться не думаю. Но хочу сказать правду... Мысль о том, что фашисты на наши удары будут отвечать расправой над мирными жителями, не мне первому пришла в голову. С этой мыслью пришли ко мне ребята — партизаны из деревни Корытово, где мы накрыли обоз. И я поддался их настроениям. А потом пошло все насмарку... Поручите мне любое дело, товарищи, я искуплю свою вину... даю слово... Твердо обещаю...

Грачев умолк. Все чувствовали, что ему тяжело. Но никто не выступил в его защиту. Каждый понимал, что ошибки бывают разные: за одни можно поругать, за другие надо наказывать строго, сурово, а ошибка Грачева была именно такая, которую нельзя прощать.

— Эх, Грачев! Грачев!... — произнес Пушкарев. — Подвел ты меня. Другим я знал тебя на заводе... Садись!

Пушкарев встал, отбросил в сторону кiset.

— За пятнадцать расстрелянных колхозников надо было уничтожить сотню врагов, две сотни... три! А ты? Ты решил сложить оружие? За это тебе спасибо советский народ не скажет. Ты понимаешь, что это значит? Садись же, — повторил он продолжавшему стоять Грачеву. — Советую тебе поучиться кое у кого, как служить родине. — Пушкарев кивнул в сторону Беляка, сидевшего на банке из-под бензина. — Ему в городе труднее, чем нам в лесу... Какие будут предложения?

Коммунисты переглядывались.

Старый партизан Макуха внес предложение объявить Грачеву строгий выговор, но оставить его командиром взвода. Он знает Грачева с малых лет. Грачев — потомственный рабочий, перед войной был выдвинут на профсоюзную работу. Брат Грачева — политработник Красной армии. Макуха уверен, что Грачев теперь будет вести себя по-иному.

Никто Макуху не поддержал.

— Старые заслуги здесь ни при чем, — сказал командир взвода Селифонов. — Рабочим Грачев был хорошим, а вот командиром оказался никудышным. Сейчас война. Советские люди кровь проливают, защищая родину, и о каждом из нас будут судить по сегодняшним делам. Я — за предложение Рузметова. Пусть Грачев покомандует отделением. Это тоже большое дело. Оправдает себя, тогда опять взвод получит.

На голосование поставили три предложения: Зарубина, Рузметова и дедушки Макухи. Прошло предложение Рузметова. Постановили объявить Грачеву выговор и назначить его командиром отделения во взвод Селифонова.

— Мне можно идти? — неуверенно спросил Грачев, когда вопрос был решен.

— Можно и посидеть, — ответил Пушкарев. — Набирайся ума-разума.

Потом Пушкарев объявил, что к командованию отдельным взводом Зарубин допустил помощника Грачева, Толочко.

— Утвердим его или пошлем другого? — спросил Пушкарев.

— Можно утвердить. Толочко боевой командир и строевые навыки имеет. Он в военизированной охране служил четыре года, — сказал комиссар Добрынин.

— Боевой-то боевой, слов нет, а поддался настроениям Грачева, — бросил реплику Макуха.

— В этом я повинен, товарищи, — заговорил Грачев. — Толочко долго со мной спорил. Старался переубедить меня... Даже наедине ругал меня, называл трусом... И потом Толочко знает военное дело. Его и бойцы любят. Он справится с работой.

Толочко утвердили командиром отдельного взвода.

После этого рассматривался вопрос о результатах трехмесячной боевой деятельности отряда. Докладывал капитан Зарубин.

— Времени прошло сравнительно немного, — начал Зарубин, — и я, как сейчас, помню тот день, когда меня впервые привезли в лес. Очень хорошо помню. Мне представили около трех десятков людей и сказали: вот твое войско. Надо сказать, в тот момент я пожалел, что дал согласие остаться в лесу. Я вырос в кадрах армии, в ее передовом отряде — пограничных войсках, и когда мне сказали, что люди, стоящие передо мной, войско, я даже не знал, о чем мне говорить с ними. Как-то стало не по себе. Думаю: с кем же буду фашистов бить? Сейчас мне самому смешно — как мог прийти в голову такой дурацкий вопрос, а тогда... тогда я серьезно задумался.

Капитан Зарубин, как всегда, говорил быстро, порывисто, стоя по-военному прямо. Короткими, скупыми штрихами он рисовал пройденный отрядом боевой путь, вспоминал успехи и неудачи, называл фамилии людей.

— За это время, — говорил он, — отряд численно возрос более чем в пять раз. На боевом счету имеем двести сорок шесть убитых и восемнадцать захваченных в плен гитлеровцев, два пущенных под откос эшелона, две подорванные водонапорные башни на железнодорожных станциях, двенадцать уничтоженных автомашин, шесть мостов...

Доклад занял сорок минут и вызвал оживленные прения. Коммунисты обсуждали очень важный для них вопрос: правильно ли до сих пор воевал отряд с врагом и как надо воевать впредь?

— Мы много сделали, слов нет. Многого добились. Мы уже не те, что были, когда впервые пришли сюда, — сказал Добрынин. — Но этого еще очень мало. Это только начало. И я, как комиссар отряда, похвалиться своей работой не могу. Еще плохо работаю. Сегодня коммунисты должны задуматься, все ли, что надо, мы сделали. Я думаю, не все. Правильно, отряд увеличился в пять раз. Но разве это предел?

Комиссар ставил вопросы и сам на них отвечал. Он доказывал, что вовлечение в отряд новых людей, особенно молодежи, проводится неудовлетворительно. Народная война потому и зовется народной, что в ней участвуют массы. А можно ли сказать, что отряд успешно поднимает на борьбу с оккупантами народ? Нельзя!

Вслед за Добрыниным попросил слова член бюро, начальник разведки отряда капитан Костров. Говорил он медленно, обдумывая каждую фразу, не повторяясь, не употребляя

лишних слов. Он поднял очень важный вопрос: о связи с Большой землей.

— Без радиосвязи мы не можем сочетать свою работу с планами советского командования, — сказал Костров. — И это надо считать крупнейшим недостатком в работе отряда. Свою борьбу мы должны подчинять общим интересам фронта. Мы наносили удары врагу. Это хорошо! Но если наши удары будут совпадать с расчетами командования, будет еще лучше. Это раз. Мы не можем реализовать ценнейшие разведывательные данные о противнике, которые с трудом и жертвами добывают наши люди. А в этих сведениях нуждается наша армия. Это два. Мы не знаем положения на фронтах, в советском тылу. Это три. Нельзя так. Недопустимо вариться в собственном соку, руководствоваться в боевой работе только своими собственными соображениями. Мы послали через линию фронта связного. Прошел уже месяц, а вестей нет. Надо послать еще одного, двух, трех, четырех человек. Надо сообщить командованию фронта район действий отряда, ориентиры, видимые с воздуха, и просить радиста с аппаратом...

Кострова горячо поддержал секретарь окружкома Пушкарев. Ходоков на ту сторону надо посылать немедленно, и не одного, а нескольких, как предложил Костров. И не поочередно, а сразу, в различных направлениях. Не пройдет первый, пройдет второй или третий.

Командование фронта, конечно, заинтересовано в том, чтобы наладить связь с отрядом, и оно, безусловно, пришлет радиста. А когда будут радист и радиостанция, все изменится коренным образом.

Устанавливать связь надо не только с Большой землей, но и с партизанами соседних районов. Надо послать людей в районы, где действуют другие отряды. Плохо, что отряд не имеет связи с Большой землей, но совершенно непростительно, когда этой связи нет с соседними отрядами.

Когда Пушкарев кончил, из угла раздался голос командира взвода Бойко:

— А насчет газеты вы что-нибудь думаете?

— Кто это «вы»? — насупив брови, спросил Пушкарев.

Бойко смутился.

— Ну, то есть бюро... — пояснил он.

Рузметов недоуменно пожал плечами.

— Почему только бюро должно думать о газете?

— А кто же?

— Правильно говоришь, Усман, — поддержал Рузметова комиссар Добрынин. — Газета — дело не только бюро, а всего отряда, всех коммунистов.

...Собрание затянулось. Решение по докладу Зарубина приняли, когда уже начало темнеть. Участники заседания разошлись, и в землянке остались Пушкарев, Зарубин, Добрынин, Костров и Беляк.

Дмитрий Карпович Беляк за свою пятидесятилетнюю жизнь впервые присутствовал на партийном заседании, решающем такие важные вопросы. Это было большим событием в его жизни.

Последние пятнадцать лет Беляк жил здесь, в городе, заведовал городской библиотекой. А родился он в Сибири, под Иркутском. Там рос и учился. В годы Гражданской войны партизанил. С отрядом известного на севере дедушки Каландарашвили дошел до Якутска, устанавливал там советскую власть, а затем несколько лет работал в финансовых органах в самом Иркутске.

В двадцать шестом году, схоронив жену и оставшись вдвоем с семилетней дочуркой, Беляк окончил курсы библиотечных работников и перебрался в здешние края.

Перед началом войны он жил один, — дочь уехала в Москву и поступила в институт. А сейчас связь с ней прервалась. Беляк не знал, в Москве она или еще где-либо.

Накануне войны Дмитрий Карпович решил подать заявление в партию, но разразившиеся внезапно события помешали ему осуществить свою мечту. Принять его так и не успели.

Во время собрания, слушая выступления партизан-коммунистов, Беляк вспоминал теплую августовскую ночь, принесшую с собой столько бед. Город подожгли фашистские

стервятники. Он был объят пламенем. Высоко в черное небо взлетали огненные языки. Горели стекольный завод, шпагатная фабрика, драматический театр, нефтебаза, горели жилые дома. Было так много огня, что звезды, казалось, погасли.

В эту ночь Беляк работал в библиотеке: укладывал книги в ящики, готовя их к эвакуации. Тревога помешала закончить работу. Беляк бросился домой, но не дошел: налет вражеских бомбардировщиков захватил его на полпути. Над городом повисли осветительные ракеты, источая нестерпимо белый, мертвенный свет. Ракеты горели так ярко, что можно было различить каждую былинку на земле, каждый лист на дереве.

Предчувствие чего-то неотвратимого пришло к Беляку, когда он услышал нарастающий свист бомбы. Надо было немедленно упасть плашмя на землю и лежать неподвижно, а он только остановился и замер на месте, как бы скованный неведомой, неподвластной ему силой. Он видел огромную, ослепительную вспышку пламени, а потом уже ничего не слышал и не видел, — сознание оборвалось.

Очнулся он в городской больнице, когда уже брезжил рассвет. Первое, что он услышал, был надрывный вой сирены. Потом опять грохотали взрывы и все сотрясалось вокруг: фашисты бомбили город четвертый раз в течение суток.

В больнице было много раненых. Мужчины, женщины, дети лежали прямо на полу, — кроватей не хватало. Слышались стоны, из коридора доносился чей-то истошный крик. Беляк видел, как подошедшая санитарка склонилась над лежащей у стены девочкой. Голова и грудь ребенка были забинтованы. Девочка, словно рыбка, выброшенная на берег, с усилием открывала синие запекшиеся губы и жадно глотала воздух. Тоскующие недетские глаза ее, устремленные в одну точку, застывали, мутнели. Санитарка, закрыв лицо ладонями, заплакала.

Эта картина неизгладимо врезалась в память Беляка. Смерть девочки повергла его в какое-то оцепенение. Он долго лежал с широко раскрытыми глазами, не слыша глухих ударов бомб, не ощущая боли в ноге и в ключице.

Вторая половина дня прошла спокойнее: самолеты не прилетали, но зато явственней стали слышаться взрывы снарядов и перестук пулеметов.

Под вечер Беляка, по его просьбе, вынесли во двор и положили на топчан между двумя елями. Он лежал неподвижно и глядел, как плыли и таяли в чистом вечернем небе маленькие облака. Незаметно он забылся. И когда открыл глаза, увидел перед собою большую грузную фигуру начальника цеха стекольного завода Добрынина, своего товарища по охоте. Сидя в ногах Беляка на топчане, Добрынин короткими пальцами больших сильных рук вертел самокрутку.

— Федор Власович! — слабым голосом позвал Беляк.

— Ага! Проснулся? — Добрынин тепло посмотрел в лицо Беляка и легонько пожал его руку.

— Что, всыпали?

— Всыпали. Ключица перебита и в ногу попало.

— Так, так... — Добрынин чиркнул спичкой. — Я уже узнавал у врача. Ну, ничего, заживет до свадьбы. Сибиряки — люди крепкие. — Помолчав немного, он добавил: — А я к тебе, Карпыч, с серьезным делом.

Беляк насторожился.

— Говори... Я слушаю, — сказал он.

Добрынин затянулся самокруткой, прищурил черные, глубоко посаженные глаза, подул на огонь сигарки и долго молча смотрел на Беляка, как бы обдумывая, с чего начать разговор.

— Ну? Чего же молчишь? — нетерпеливо спросил Беляк. Добрынин улыбнулся в седоватые усы. Потому и не торопится, пояснил он, что дело действительно серьезное. Просьба есть к Беляку от городского комитета партии: остаться в городе и организовать подпольную борьбу с фашистами. Он, Добрынин, пойдет в лес формировать партизанский отряд, а Беляк должен поднимать людей в городе.

— Как ты на это смотришь? Говори прямо, — сказал Добрынин.

Но сразу, одним словом, одной фразой ответить нельзя было. Дело действительно оказалось

серьезным.

— А справлюсь я? — спросил Беляк.

— Тебя только это беспокоит?

— Пожалуй, да.

Добрынин пожал плечами.

— А я справлюсь с тем, что мне поручили? Как, по-твоему? Ведь я назначен комиссаром партизанского отряда. Ну, начальник цеха, куда ни шло, — я с малых лет по стекольному делу пошел. А то — комиссар! Ты понимаешь, комиссар отряда?!

— Понимаю, все понимаю, Федор Власович. Ты-то справишься. У тебя такая струнка есть. Ты можешь заставить людей слушаться себя.

Добрынин усмехнулся.

— А я уверен, что ты, Дмитрий Карпович, тоже справишься. Ты вот у меня струнку подметил, а в тебе тоже есть этакая закваска... Упорство есть. Да и умом тебя бог не обидел. Я ведь тебя и рекомендовал горкому партии.

— Спасибо, Федор Власович.

— Я рекомендовал, а Пушкарев поддержал... В общем, теперь слово за тобой.

Беляк лежал, закрыв глаза. Он пытался представить себя в роли подпольщика. В город входят гитлеровские войска. Начинаются репрессии, аресты, обыски, допросы. Вводится фашистский режим, устанавливаются новые порядки. И против всего этого надо вести борьбу.

В качестве кого ему придется остаться в городе? С чего начинать? На кого в первую очередь можно опереться? Как много возникает вопросов! И это сейчас, когда враг еще не вошел в город.

Беляку вспомнился девятнадцатый год, партизанский отряд в Сибири, в тылу у Колчака, и он сам, молодой парень-партизан. Давно это было, а как все врезалось в память. Он хорошо помнит, как дважды пробирался в город из лесу на встречу с подпольщиками. Скрывался в городе по неделям, отлеживался, набирался сил для обратной дороги. Однажды он присутствовал на собрании подпольщиков. Оно происходило на железнодорожной станции, на заброшенных путях, где-то в тупике, в пустом нетопленном вагоне. Потом он побывал у женщины, размножавшей листовки на пишущей машинке. Эти листовки Беляк понес в отряд, а оттуда их распространяли по окрестным деревням. Работали же тогда под носом у врага. Да еще как работали!...

— Ты не заснул, Карпыч? — напомнил о себе Добрынин.

— Нет, нет, — поспешно ответил Беляк. — Я... думал.

— И что надумал?

— Попробуем, Федор Власович. Страшновато, правда, но попробуем.

— Так-то оно лучше! — сказал Добрынин и поднялся. — Пойду в горком, доложу о твоём согласии, а как стемнеет, приду еще раз. Прощаться не будем.

...Вторично Добрынин пришел поздно ночью и не один, а с начальником разведки Костровым. Беседа на этот раз затянулась до утра.

Договорились о том, с чего начать подпольную работу, кого из жителей привлечь, с кем из подпольщиков Беляку надо установить связь и как ее поддерживать далее. Надо было хорошо запомнить имена, фамилии, адреса, пароли.

— И лежи ты здесь, пока не придут немцы. Быстро не выздоравливай. Понял? — предупредил Добрынин. — Пусть тебя застанут на больничной койке. Это совсем неплохо.

Добрынин и Костров ушли уже под утро, и после этого встретился с ними Беляк только на сегодняшнем заседании, спустя три месяца.

— Ну, а теперь с тобой, товарищ Беляк, займемся, — сказал Пушкарев, когда участники заседания разошлись. — Садись поближе, рассказывай... Как живешь? Как чувствуешь себя? Новости какие? Почему опоздал?

Беляк начал с последнего вопроса. В условленном месте он не нашел провожатого с лошадьми и пошел в отряд пешком. Оказывается, разминулись. Провожатый нагнал его уже

на полпути.

— Нехорошо получилось, нехорошо, — насупив брови, произнес Пушкарев и бросил короткий взгляд на Зарубина.

Тот наклонился к сидящему рядом Кострову.

— Не знаешь, от кого был проводник?

— Кажется, от Селифонова, — ответил Костров.

Командир отряда внимательно разглядывал Беляка, о котором много слышал. Смуглый, с уже редующими, но без единой сединки черными волосами, с темно-карими спокойными глазами, прямым носом и небольшим ртом, Беляк производил впечатление человека с твердым характером.

— Я сам проверю, — сказал Зарубин, — почему провожатый не нашел вас.

— Ну ладно, ладно, вопрос исчерпан, — нетерпеливо проговорил Пушкарев. — Рассказывай, Карпович. Ведь три месяца прошло! Не шутка, а?

— Да... воды много утекло... — отозвался Беляк, придвигая поближе к столу высокий чурбан, на котором он сидел. — Я уже не знаю, с чего начинать.

— Давай так, Дмитрий Карпович. — Пушкарев поставил ладонь ребром. — Сначала о том, как живешь, как устроился, как здоровье, потом о людях, об обстановке, а уже после обо всем прочем. Вот, брат, повесточка, а? — Он громко засмеялся.

Все сгрудились вокруг небольшого, покрытого плащ-палаткой стола.

Беляк рассказал, что уже на восьмые сутки после прихода гитлеровцев больных и раненых выпроводили из больницы, — в ней разместился немецкий офицерский госпиталь.

Когда созданная оккупантами управа объявила о регистрации жителей города, Беляк встал на учет, а дней через пять получил повестку, обязывавшую его явиться к заместителю бургомистра Чернявскому.

— Что это за фрукт, думаю, откуда он взялся? — рассказывал Беляк. — Я перебирал в памяти всех знакомых горожан, но фамилия Чернявского ни о чем мне не говорила. И только уже сидя в управе, в приемной, я вспомнил...

...Дело происходило в двадцать восьмом году. Как-то в поддев к городской библиотеке, которую только что принял Беляк, подъехал грузовик, и маленький расторопный старичок, представитель гороно, предложил принять привезенные им четыре больших ящика с книгами. Старичок просил повнимательней разобрать книги и все, что можно, зачислить в фонд библиотеки. Он предупредил: «Смотрите хорошенько, это изъято у арестованного эсера. Такой негодяй!»

Сидя против дверей заместителя бургомистра, Беляк вспомнил украшенный причудливой виньеткой штамп, стоявший на книгах: «Из библиотеки адвоката Вениамина Владимировича Чернявского»...

...Чернявский принял Беляка любезно, поинтересовался здоровьем, расспросил, устраивает ли его квартира, чем он думает заниматься.

Из беседы Беляк заключил, что Чернявский уже успел собрать необходимые сведения о его прошлом. Ему, например, было известно что Беляк, живя в Сибири, работал бухгалтером в Союзе охотников и, стало быть, знаком со счетным делом, что он вдов и что дочь его учится в Москве.

В конце продолжительной беседы заместитель бургомистра предложил Беляку должность разъездного фининспектора управы. Беляк согласился.

— Он задал мне еще такой вопрос: «Вы, кажется, беспартийный?» Я ответил утвердительно. «Почему?» — спрашивает. Я сказал, что всю жизнь держался подальше от политики, увлекался больше книгами, охотой, наболтал ему о своей любви к природе. Это ему понравилось.

— Ну, а потом, потом как? — выпалил Пушкарев.

— А потом? Потом все пошло как по нотам. Уже больше двух месяцев работаю под его началом в управе. Побывал в пяти сельсоветах, наметил кое-где надежных ребят. О финансовых делах докладываю лично Чернявскому, потому что деньгами-то он сам

распоряжается, никому не доверяет. В общем, как принято говорить, сработались. Стали с ним такими «друзьями», — водой не разольешь. Приглашал меня даже на именины жены. Вот как!

Настроение у Беяка было бодрое, веселое, в темных глазах его светился задорный юношеский огонек.

— Молодец! Здорово! — Пушкарев рассмеялся и одобрительно хлопнул Беяка по плечу.

Беяк рассказал о своем знакомстве со стариком Микуличем, кладбищенским сторожем, который был тоже оставлен в городе для подпольной работы. Они встретились в один из воскресных дней. Это было удобно, потому что по воскресеньям на кладбище всегда бродил народ и появление Беяка не могло вызвать подозрений. Около небольшой сторожки добродушный лысый старик с рыжей бородой, одетый в заплатанную телогрейку, оттачивал каменным бруском лопату. Как было условлено, Беяк спросил его, в какой стороне кладбища можно отыскать могилу доктора Войнова. «Кого? Кого?» — переспросил сторож. Когда Беяк повторил пароль, старик, не торопясь, поднялся, поставил у стенки сторожки лопату, засунул под крышу брусок и направился к бочонку с дождевой водой. Прополоскав тщательно руки, он обтер их о штаны и пригласил гостя в сторожку.

— Вот так мы с ним и познакомились, — заключил Беяк.

— Микулич... — проговорил как бы про себя Зарубин. — Имя это или фамилия?

— Фамилия, — пояснил Беяк. — Звать его Демьяном Филипповичем.

— Какое впечатление он произвел на тебя? — спросил Добрынин.

— Надежный старик. Веселый, но на фашистов крепко зол. Мы с ним в первый же день кое-что наметили. Он город знает как свои пять пальцев. Все о тебе, Федор Власович, спрашивал: как ты, да что ты, жив ли, здоров ли. Старуха у него совсем глухая... Угостила нас яичницей и маринованными грибами. Микулич по случаю знакомства притащил откуда-то поллитровку настоящей московской... Он так долго за ней ходил, что я, грешным делом, подумал: уж не в храме ли господнем он хранил эту поллитровку? Ну, тут мы, конечно, и вас помянули.

— Хороший старик. Давненько я его знаю. Из одних мест мы, из-под Брянска, — улыбнулся Добрынин.

— Он все сокрушается, что умрет и детей после себя не оставит, — сказал Беяк.

— Это у него самое больное место, — пояснил Добрынин. — А по кладбищу водил тебя?

— Водил. Показал мне такие дыры и склепы, что в них роту солдат спрятать можно. Знатное кладбище. А я-то!... Сколько лет прожил в городе и ни разу не был там.

— Ну, а как с могилкой доктора Войнова? — пошутил Пушкарев.

— Обошлись без нее.

Беяк рассказал, что уже установил связь с Наташей — официанткой столовой на немецком аэродроме, с Ольгой — телефонисткой центральной станции, с Карецкой — медсестрой немецкого госпиталя, с учителем Крупиным, бывшим директором ресторана Баклановым, железнодорожным мастером Якимчуком.

— Тут листовки немецкие ваши ребята показывали, а у меня вещь поинтересней есть, — сказал он. — Вот послушайте, что немцы про нас пишут. — Он достал из кармана листок бумаги. — Это из берлинской газеты. Карецкая перевела. «Поведение нашего противника в бою не определяется никакими правилами. Советская система, создавшая стахановца, теперь создает красноармейца, который ожесточенно дерется даже в безвыходном положении... На том же иступлении построена советская промышленность, беспрестанно выпускающая невероятное количество вооружения. Русские сопротивляются, когда сопротивляться нет смысла». Вот как запели!

— Значит, начинают понимать, с кем имеют дело, — сказал Пушкарев.

— Выходит, так...

— Да... Но борьба только начинается. — Пушкарев встал из-за стола, подошел к двери землянки и крикнул дежурному, чтобы тот принес кипятку. — Они еще не так запоют, но поздно будет, — жестко сказал он, возвращаясь на место.

Появились котелки с кипятком, железные кружки, сухари. Началось чаепитие.

Беседа с Беляком затянулась допоздна. Встречаться часто не было возможности, поэтому пришлось за один раз обсудить многие вопросы.

Беляк поразил всех своей находчивостью, уверенностью, с которой он действовал, своими навыками подпольщика. Уже сказывалось его трехмесячное пребывание в стане врагов.

После ужина Добрынин, Костров и партизан Дымников пошли проводить Беляка. В лесу стояла непроницаемая тьма, вокруг было тихо, и только чуть-чуть шумел в листьях мелкий дождь.

— Экая темень! — передернул плечами Беляк. — Ну и глухомань! Тут сам черт ногу сломит.

— Благодать!... — сказал Добрынин. — Люблю такую погоду. А помнишь, Карпыч, как мы с тобой ночевали около Кривого озера прошлой осенью? Вот такая же погодка была, дождичек накрапывал, а мы в шалашике, на хвое лежали... Тепло, уютно, и до чего же приятно!...

— Помню, Власыч, помню! — отозвался Беляк. — А сколько утром уток взяли? А?

— Что-то много... Удачная зорька была. Эх, времечко дорогое!... — тяжело вздохнул комиссар.

Шли один за другим, «волчьим следом», как было принято говорить у партизан. Впереди шагал Сергей Дымников, хорошо знавший все лесные тропы.

Вскоре дождь перестал, но небо оставалось темным, беззвездным. С озера, густо заросшего камышом, потянуло прохладой. Обойдя озеро, путники вышли на большую поляну к заброшенной, ушедшей в землю избушке. Около нее устроили привал, закурили.

— Этой хатенке лет за сто, пожалуй, а все живет, — нарушил тишину Сергей Дымников.

— Тебе она знакома, Сережа? — поинтересовался Костров.

Дымников усмехнулся. Еще бы не знакома! Не одну ночь провел он в этой хатке. Отец-покойник лесничим был и всюду таскал Сергея за собой. Любил отец эту избенку. Днем тут хорошо! Полянка чистая, солнечная, родничок недалеко... Тут жил когда-то объездчик. Сергей забыл его фамилию. Кулаки в двадцать девятом году убили. И его и жену топорами порубили...

— За что? — спросил Беляк.

— Коммунист он был, в раскулачивании участвовал, вот они до него и добрались...

Костров поднялся, замигал карманным фонариком и вошел в открытую дверь избушки.

Деревянный, с большими трещинами пол, облупившаяся печь, затянутые густой сеткой паутины углы. В двух оконцах сохранились стекла. Тишина. Костров погасил фонарик и несколько секунд постоял в раздумье.

— Ну, пошли, товарищи, — сказал комиссар, и Костров вышел из избушки.

Беляка проводили до леспромхоза. Дальше он пошел один. Партизаны отправились обратно.

Дымников вел комиссара и начальника разведки новым, только ему известным, ближним путем. Лес тут был буйный с непроходимыми чащами и болотами, с высокими могучими соснами, с нарядными елями.

Дымников шел и рассказывал о том, как он рос, учился.

Добрынин хорошо знал биографию юноши. Знал, что у Сергея почти одновременно умерли отец и мать и он остался один. Добрынин прекрасно помнил день, когда к нему в цех впервые пришел паренек с ясными, лучистыми глазами, с открытым, смелым лицом. «Славный хлопчик», — подумал тогда Добрынин. Перед войной Дымников работал уже художником по стеклу и очень любил свою профессию.

Кострову, человеку новому в этих краях, о Сергее, как и о многих других партизанах, было известно мало. Он с большим интересом присматривался к Дымникову и внимательно слушал его рассказ. Костров как раз подбирал людей для разведки, старался поближе узнать каждого из партизан. Ему приходилось быть придирчивым, — не все подходили к ответственной и опасной роли разведчика.

Вторую половину пути шли молча. Сказывалась усталость, — ходить лесом вообще нелегко, а ночью, да еще малоизвестными тропами, тем более. Дымников пытался было вызвать на

разговор комиссара и начальника разведки, но, почувствовав, что им не до этого, смолк.

А капитан Костров находился, еще под впечатлением встречи с Беляком. Правильно сказал Пушкарев, что ему в городе куда труднее, чем партизанам в лесу. Надо быть не только осторожным, осмотрительным, — надо иметь мужественное и крепкое сердце, железную выдержку. Костров убедился на личном опыте, как иногда трудно бывает сдержаться, не показать своих чувств. Вспомнилось ему, как однажды он и командир взвода Селифонов с документами полицаев, якобы несущих службу на одной из железнодорожных станций, пробрались в город и пробыли там почти весь день.

Сейчас Костров вспомнил город таким, каким он видел его тогда, — с разбитыми окнами, разрушенными обгорелыми стенами. На перекрестках улиц фашисты уже вывесили написанные готическими буквами указатели дорог, названия ближайших населенных пунктов. Бесперывным грохочущим потоком катились на восток тяжелые тупорылые машины с военными грузами и солдатами. На бортах машин были яркими красками выведены надписи, многозначные цифры, изображения животных, птиц. Тягачи тащили пушки разных калибров. Иногда проходили, гремя и лязгая гусеницами, танки с белыми крестами.

Жители бродили по городу, опустив головы, крадучись, не узнавая знакомых. Лица у всех были настороженные, испуганные.

По городу ползли тревожные слухи: группу девушек увезли к фронту в солдатский дом терпимости; около двухсот мужчин и женщин гитлеровцы отправили в свой тыл; восемьдесят еврейских семей эсэсовцы вывезли ночью на автомашинах, будто бы в лагерь, но на утро кто-то из жителей обнаружил во рву около леса истерзанные трупы этих людей.

На безлюдной площади против собора Костров и Селифонов увидели наскоро сколоченную виселицу. Ветер раскачивал тело повешенного. На шее у него болталась дощечка с циничной надписью: «Мертвые не болтают». Селифонов попытался опознать труп, но безуспешно. Он, видимо, висел уже много дней...

— Вот мы и дома, — весело проговорил Дымников, оборвав воспоминания Кострова.

И тут же раздался требовательный окрик:

— Стой!

Назвали пропуск. Извилистой, невидимой в темноте стежкой подошли к лагерю. Показались землянки, шалаши, расставленные кругом. В центре лагеря стояла штабная землянка.

— Можно быть свободным, товарищ комиссар? — спросил Сережа.

Командир отряда Зарубин не спал. На столе, на железном противне лежали остывшие жареные грибы, картофель и плохо выпеченные пшеничные лепешки.

Положив голову на руки, Зарубин о чем-то думал и так ушел в себя, что не заметил вошедших.

«Опять тоскует», — мелькнула мысль у Добрынина, и он громко кашлянул.

Зарубин вздрогнул, словно очнулся ото сна.

— Нас ожидал? — спросил Добрынин.

— Да... да... — как-то неопределенно ответил Зарубин. — Давайте поедем.

Проголодавшись за дорогу, комиссар и начальник разведки уселись за стол и с удовольствием принялись за еду.

В соседней землянке партизаны тихо запели:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына?

В последнее воскресенье ноября Беляк встал раньше, чем обычно. Затопив печь, он поставил

на плиту чайник, умылся, оделся и стал ожидать друзей. На кровати Беляка безмятежно похрапывал командир взвода партизанского отряда младший лейтенант Усман Рузметов. Он пришел ночью.

Посещать город и окрестные села партизаны могли частенько, потому что в паспортном отделе управы у них был свой человек, завербованный Беляком. Он обеспечивал партизан бланками документов и готовыми пропусками, оформленными в соответствии с требованиями немецкой администрации.

Беляк смотрел в окно, выходящее на улицу.

Деревянный дом, в котором он жил, стоял в конце улицы. Одной стороной дом глядел на дорогу, другой — на выгон, подступавший к самому лесу. Принадлежал этот дом вдове прораба шпагатной фабрики, пожилой одинокой женщине, известной в городе портнихе. Беляк квартировал в ее доме уже больше десяти лет, хорошо знал хозяйку и полностью ей доверял. Она оставила себе одну, самую большую комнату, а две маленьких сдавала своему жильцу.

На улице никто не появлялся. Погода выдалась скверная, — шел дождь попеременно со снегом. Кругом блестели лужи. Было сыро и слякотно. Порывы ветра рвали в клочья свинцовые облака.

Беляк тихо подошел к кровати и внимательно посмотрел на сладко спавшего гостя.

Рузметова Беляк знал со слов Добрынина и Пушкарева. Знал, что родом он из Узбекистана, а на фронт попал со скамьи Московского университета. На фронте его тяжело ранило в грудь налетом. В числе других бойцов и офицеров он лечился в городском госпитале. Там он познакомился и сдружился с лейтенантом Селифоновым, лежавшим с сильными ожогами. Это были два очень не похожих друг на друга человека. Один — невысокий, худощавый, стройный, с жесткой черной шевелюрой и иссиня-черными глазами; другой — рослый, крепкий, с копной вьющихся светлорусых волос, голубоглазый. Один был спокоен, другой — горяч, один — малоразговорчив, другой — общителен и добродушен. Селифонов в армии был командиром танка, Рузметов — сапером.

Когда над городом нависла угроза оккупации, госпиталь начали эвакуировать. Селифонов, Рузметов и еще несколько раненых бойцов пожелали остаться с партизанами. С разрешения военкомата и начальника гарнизона группу раненых за неделю до сдачи города привезли в лес. Для формировавшегося партизанского отряда, остро нуждавшегося в военных специалистах, Рузметов оказался настоящей находкой. От ранения он окончательно оправился уже в партизанском лагере и сразу же после этого включился в боевую работу. Он быстро завоевал авторитет среди партизан и вскоре был избран в состав бюро подпольного окружкома партии.

Кроме всего этого, Беляк ничего не знал о Рузметове, хотя тот уже третий раз приходил в его дом. Он собирался поговорить с юношей по душам, но все не удавалось: то что-то мешало, то не хватало времени. Вот сейчас был бы удобный момент, но будить парня жалко. Беляк осторожно отошел от спящего к окну.

...Первым пришел старик Микулич и начал усердно счищать с себя грязь: он, видимо, упал по дороге. У Микулича, как всегда, были новости.

— Карпыч, ты Брынзу знаешь? — многозначительно спросил он Беляка.

— Кого, кого?...

— Брынзу.

— Нет, не привелось.

— До прихода немцев он работал оценщиком в комиссионном магазине, а сейчас вроде как директор в этом же магазине. Уж больно подозрительная морда. За ним надо приглядеть. Он что-то говорил о тебе, а ты, получается, его и не знаешь. Я вчера забегал в комиссионку, старухино барахлишко продавал. Этот самый Брынза с какими-то двумя типами болтал и раза три твою фамилию помянул. Я подумал, не старый ли твой знакомый. Выходит, нет...

Беляк напряженно вспоминал. Память у него была хорошая, но никакого Брынзу припомнить он не мог.

— А ты зайди как-нибудь в комиссионку да погляди на него, — посоветовал Микулич. Он, кряхтя, снял с себя грязные сапоги и вынес их в переднюю, оставшись в грубых шерстяных носках. Возвратившись в комнату, старик добавил: — Я-то его давненько знаю, примелькалась его морда. Он испокон веков по ломбардам крутился.

Договорились на том, что Микулич через учителя Крупина разузнает подробно о Брынзе, а Беляк при первом удобном случае зайдет в комиссионный магазин и проверит, знакомо ли ему лицо этого человека или нет.

Вода в чайнике закипела. Беляк снял его с плиты, заварил чай, расставил на столе посуду, нарезал хлеб.

— Тимофеич запропал где-то, — сказал он. — Ну что ж, давай буди Усмана.

Рузметов спал крепко, безмятежно, как спят только люди молодые и здоровые. Когда Микулич растолкал его, Усман долго не мог прийти в себя, не понимая, где он и что с ним, и спросонья чему-то улыбаясь. Удивленно посмотрев заспанными глазами на Беляка и Микулича, он сладко потянулся, зевнул и полез в карман за кисетом.

— Ну и крепок ты, видать, на сон! — покачал головой Микулич. — Еле растолкал. Бормочешь что-то, а глаза ровно склеенные. — Усман почесал затылок.

— Очень хороший сон был, — сказал он и причмокнул языком. — Редкий сон! Большая комната, в коврах вся, и кушанья разные: арбузы, дыни, виноград, груши. Я все пробую и никак не наемся.

Беляк и Микулич рассмеялись.

— Сколько времени? — поинтересовался Усман, вертя сигарку.

— Времени немного, половина девятого, — ответил Беляк, — а вставать пора. Иди умойся.

— Он бросил на руки Усману полотенце.

Рузметов положил на стол скрученную сигарку, отвернул ворот гимнастерки, засучил рукава и только собирался выйти в переднюю, как оттуда ввалился, прихрамывая, грязный и мокрый Иван Тимофеевич Бакланов.

Усман посторонился, укоризненно покачал головой и пошел умываться.

— Ну и погода, будь она трижды проклята! — проворчал вместо приветствия Бакланов. — Я разоблачусь полностью, Дмитрий Карпович, если разрешишь. У тебя, кажется, тепло и согреться можно.

— Раздевайся и накинь мой полушубок, — предложил Беляк.

Бакланов, сутулый, сильно хромающий на левую ногу, с хмурым, худым и обычно небритым лицом, с первого взгляда производил впечатление злого, желчного, всегда чем-то недовольного человека. На самом деле он отличался добротой, любил поболтать, пошутить. Сняв с себя промокший до нитки легонький плащ и пиджак и повесив их на заслонку, прямо над плитой, он принялся стягивать, по примеру Микулича, мокрые брезентовые сапоги. Микулич снял со стены меховой полушубок, накинул его на плечи Бакланова и с укором сказал:

— И где тебя только носило, непутевого?

— Где!... Где!... — передразнил его Бакланов. — Ведь завтра же вечером эта собачья свадьба, а Расторгуев насел на душу: достань водки — и конец. Не найдешь водки — давай самогону, немцы, мол, и самогон дуют. А его где взять? Бродил весь день по городу, во все дырки заглядывал, нигде даже и самогонного духу не слышно. Придется у партизан занимать. — Он рассмеялся и посмотрел на Рузметова, тщательно утирающегося полотенцем. — Как, выручите, ребята?

— Нет, — коротко ответил Усман. — Сами бедноваты.

— Жаль, жаль... — опечалился Бакланов, — неплохо бы в довершение всего партизанской водкой им губы помочить.

— Ну, ладно, пора за стол, — скомандовал Беляк. — А то снова разогреть придется.

...Беляк затеял большое дело. Такое большое, что подпольщикам пришлось обратиться за помощью к партизанскому отряду. Вскоре после своего вступления в должность заместитель бургомистра Чернявский вызвал в управу бывшего торговца и спекулянта старика

Расторгуева и предложил ему организовать восстановление самой большой в городе гостиницы. Здание гостиницы во время бомбежки города было подожжено, сильно обгорело и требовало ремонта. Чернявский пообещал помочь деньгами, материалами, рабочей силой. Расторгуев сообразил, что тут можно нажиться, и согласился. Решено было капитально отремонтировать гостиницу, открыть ресторан на двести человек, набрать оркестр. Чернявский собрался поставить дело на широкую ногу. Предполагалось, что русским будет разрешено пользоваться рестораном до десяти вечера, а немцам — до утра. Заместитель бургомистра предупредил, что во всех сорока двух номерах гостиницы останавливаться будут только проверенные лица с направлениями от комендатуры и управы. Расторгуеву помимо доходов от гостиницы Чернявский обещал твердый месячный оклад.

Взявшись за дело, Расторгуев вспомнил, что недавно он повстречал на улице хромого Бакланова, который в течение нескольких лет, вплоть до самой войны, был директором ресторана гостиницы. Старого дельца осенила мысль взять Бакланова на работу.

Осторожный Расторгуев сам не хотел решать этого вопроса, а предварительно посоветовался с Чернявским. Заместитель бургомистра, прежде чем дать согласие, учинил проверку и нашел, что человек он вполне подходящий.

Чернявскому доложили, что в двадцатых годах Бакланов крестил в церкви своего сына и за это был исключен из коммунистической партии.

На самом деле ничего подобного не было. Бакланов всю жизнь был беспартийным и никогда не имел детей. Сотрудники управы просто спутали Ивана Тимофеевича с его однофамильцем, действительно исключенным из партии.

Бакланова разыскали и вызвали к Расторгуеву. Произошел короткий деловой разговор.

— В Бога по-прежнему веруешь? — спросил Бакланова набожный Расторгуев.

— А как же? Без бога ни до порога.

— Правильно, сынок! Я тоже так говорю.

Расторгуев ввел Бакланова в курс дела и, когда тот дал свое согласие, остался очень доволен. Бакланову было поручено спешно отремонтировать зал ресторана, кухню, подсобные помещения, подобрать поваров, официантов, приобрести обстановку.

Они вдвоем посетили гостиницу, осмотрели все помещения. Бакланов сразу же проявил инициативу — предложил оборудовать при ресторане несколько отдельных кабинетиков.

— Они себя полностью оправдают, поверьте моему опыту.

Расторгуеву понравилась коммерческая жилка компаньона. Он сразу выдал Бакланову половину месячного оклада и крупный аванс на необходимые расходы по ремонту.

После этого Бакланов явился к Беляку и доложил ему обо всем подробно. Тогда-то и зародилась мысль заминировать ресторан. Пушкарев, Зарубин и Добрынин одобрили этот план.

Ремонт гостиницы шел полным ходом, так как оккупанты были заинтересованы в нем: в городе не было ни одной действующей гостиницы. А взрывчатки для минирования, как назло, у партизан было мало.

По расчетам Рузметова, чтобы взорвать гостиницу, нужно было заложить не меньше восьмидесяти килограммов взрывчатки, а в отряде ее можно было наскрести всего килограммов десять — пятнадцать.

— Хорошенькое дело, — разводил руками Добрынин. — Восемьдесят килограммов! Да у нас такого количества с начала войны не было. Ты правильно рассчитал или так, на глазок прикинул? — спрашивал он Рузметова.

— Я беру самое минимальное количество, — отвечал Усман. — А если хотите, чтобы успех был гарантирован, то надо все сто килограммов положить.

— Нет, уж ты действуй так, чтобы успех и в самом деле был гарантирован, — сказал Пушкарев. — Где восемьдесят возьмем, там и сто найдется. Я предлагаю возложить это дело целиком на Рузметова. Он командир взвода подрывников, ему и карты в руки.

Зарубин, Добрынин и Костров согласились. Не возражал и сам Рузметов: он любил решать трудные задачи.

Партизаны взвода Рузметова провели сложную и опасную работу. В лесу, в двенадцати километрах от лагеря, хранилось несколько тонн немецких авиационных бомб. Бомбы попали в руки партизан в первые дни их боевой деятельности, при налете на колонну вражеских машин. Долго ломали голову командиры, как лучше использовать эти бомбы, и вот Рузметов нашел им применение. Специально выделенные и тщательно проинструктированные люди под его руководством разряжали бомбы и выплавляли из них тол. Эта рискованная операция дала отряду около четырехсот килограммов первоклассной взрывчатки.

Готовую взрывчатку доставляли в окрестные деревни, а оттуда ее забирал и свозил в город Бакланов. Он имел от управы документ, предоставляющий ему право разъезжать по селам и заключать соглашения с крестьянами на доставку необходимых продуктов для ресторана. Пользуясь этим документом, Бакланов завозил взрывчатку прямо в гостиницу на деревенских подводах, в мешках с крупой, мукой, картофелем, овощами и прятал ее на складе.

Когда всю взрывчатку перебросили в город и надо было приступать к минированию, Рузметов заявил, что ему придется лично осмотреть гостиницу.

Зарубин возражал против поездки Рузметова в город.

Запротестовал и Добрынин. Но Рузметов настаивал.

— Это не машину рвать, не железную дорогу, а целое здание... Зачем передоверять дело кому-то другому, когда лучше всего я сам могу все выполнить. Сорвется операция — с кого спрашивать будете?

— С тебя, батенька мой, — вмешался Пушкарев. — Во-первых, ты подрывник, во-вторых, член бюро окружкома. Вдвойне и спросим.

— Так в чем же дело? — возмутился Рузметов. — Что я за командир и член бюро, если могу только издали руководить? Нельзя так, неправильно! И дело провалим и людей загубим. Я должен хоть раз побывать на месте.

Пушкарев нахмурился.

— Командир не обязан сам все делать, — сказал он.

— В этом-то и суть, — добавил Зарубин. — Командир должен так организовать операцию, так подобрать и расставить людей, чтобы...

— А личный пример? — прервал его Рузметов. — Зачем вы сами ходите на операции?

— Не на все, — заметил комиссар Добрынин.

— Вот именно, не на все, а на наиболее ответственные, — подхватил Рузметов.

Спор окончился в пользу Усмана. На его сторону встал Пушкарев. Рузметову разрешили посетить город, встретиться с Беляком, Баклановым и взглянуть на гостиницу.

Однажды ранним утром Рузметов подъехал на подводе к гостинице. В кармане у него лежала справка, где было сказано, что владелец ее по профессии маляр и ему разрешается работать по найму в городе.

Рузметов детально исследовал зал будущего ресторана, а после этого составил схему минирования.

Работа закипела. Сто килограммов взрывчатки уложили в пяти местах. Для этого пришлось заново переложить четыре большие, обтянутые железом, круглые печи, стоявшие по углам зала. Взрывчатку уложили под основания печей и наглухо ее замуровали. Печниками работали три партизана.

Потребовалось поднять и часть досок уже готового к окраске пола, чтобы уложить пятую порцию взрывчатки в центре ресторана.

Весь этот «ремонт», конечно, вызвал расходы, не предусмотренные сметой Расторгуева. Но Бакланов сумел доказать старику, что обойтись без этого нельзя.

— Администрация ни перед какими затратами не остановится, — смеясь, говорил он Рузметову.

Одной поездки Рузметову оказалось недостаточно. Он приезжал в город уже в третий по счету раз. Прошлый раз долго инструктировал Бакланова. Это было в самый ответственный

момент — перед укладкой взрывчатки.

Бакланов к этому времени уже имел свой небольшой кабинет при гостинице с дощечкой на двери: «Директор ресторана». В этот кабинет вывели конец запального шнура и замаскировали его в одном из ящиков письменного стола.

Оставалось терпеливо ожидать заселения гостиницы и открытия ресторана. Но ждать долго не пришлось.

Когда гостиница и ресторан были отремонтированы, Расторгуев с Баклановым собирались идти с докладом к заместителю бургомистра, Чернявский сам прислал за ними. Он объявил, что в понедельник начальник гарнизона хочет дать в ресторане банкет офицерам танковой бригады, идущей к Москве.

Бакланов при этом сообщении едва не вскрикнул от радости. Получалось, что на ловца и зверь бежит.

— Не осрамитесь? — строго спросил Чернявский, обращаясь к Расторгуеву. — Все готово?

— В грязь лицом не ударим, — заверил Расторгуев. — Не беспокойтесь. Краска на полах подсохла, печи топятся третьи сутки. Штат весь налицо и обязанности свои знает.

Подсчитали, сколько надо мебели, посуды, продуктов для банкета.

Чернявский остался доволен и позвонил начальнику гарнизона о том, что все готово.

...И вот сегодня Рузметов и подпольщики собрались, чтобы обсудить каждую деталь операции. Завтра банкет. Такого случая упускать нельзя было.

— Если прохлопаем, — говорил Беляк, — Пушкарев нам головы пооткрутит.

— Будет завтра потеха, — потирал руки Бакланов.

— Не торопись, — заметил Микулич. — «Гоп» скажешь, когда перепрыгнешь.

— Перепрыгнем, старина! Непременно перепрыгнем! — уверял Бакланов.

— Довольно, товарищи, — строго объявил Рузметов, вставая из-за стола. — Время не ждет. Приступим к делу.

Рузметов вооружился куском запального шнура, спичками и начал показывать Бакланову, как надо обрезать конец шнура, прикладывать к нему спичку, как зажигать.

— Самое главное, Иван Тимофеевич, не торопись, — предупреждал он. — Учти, что ошибка в таком деле кончается смертью. Запомни: после того как ты запалишь коней, в твоём распоряжении до взрыва остается девяносто секунд, то есть полторы минуты. За полторы минуты нормальным шагом ты уйдешь за сто пятьдесят — двести метров. Понял?

— Ну, как же не понять, ведь в который раз уже повторяем, — жалобным тоном ответил Бакланов.

— В следующий раз мы без тебя, Усман, обойдемся, сами подрывать будем, — сказал Беляк.

— Верно, Иван Тимофеевич?

— Определенно обойдемся. Все науки превзошли. Бакланов рассказал, что подготовка к банкету идет всюду.

— Дым коромыслом стоит. Джаз пиликает, тренируются, аж голову ломит. Еле-еле собрал этих музыкантов. Понавезли посуды, продуктов горы. Комендант прислал своих поваров-немцев. Прислуживать будут тоже немцы. Номера приказали пока не заселять. Вход на банкет только по специальным билетам за подписью начальника гарнизона. А ковров и гардин каких понатаסקали! Жаль, пропадут... — горевал Бакланов.

— А что с ними станется? — заметит Микулич. — Это же не посуда!

Рузметов улыбнулся, но ничего не сказал. Он-то знал, что «станется» и с коврами и с гитлеровцами.

Беляк передал Бакланову распоряжение штаба — сейчас же после взрыва идти на кладбище к Микуличу, а оттуда с ребятами из партизанского отряда в лес. Оставаться ему в городе нельзя. Жену свою, по указанию Беляка, Бакланов еще в четверг отправил в одну из отдаленных деревень.

Когда совсем стемнело, Бакланов пошел провожать Рузметова к лесу, где его ожидали партизаны — Дымников и Багров. Моросил мелкий дождь. Небо было до того темным, что сливалось с землей. Ни звездочки, ни огонька в окне. Мертвая тишина. Только плотный,

обложной дождь монотонно шуршал. По дороге попался патруль. Немцы помигали фонариками, проверили документы ипустили.

Попрощались на окраине города.

— Сколько тебе лет, Усман? — вдруг спросил Бакланов.

— Двадцать пять, — ответил Рузметов. — А что?

— Я так и думал. Молодой ты, а член партии уже. Я тебя просить буду, как дело это с гостиницей сотворим, дай мне рекомендацию.

— Конечно, дам, — не задумываясь, сказал Рузметов.

— Ну вот и спасибо! Теперь еще одного надо найти. Говорят, для подпольщиков и партизан достаточно двух рекомендующих.

— Правильно, — подтвердил Усман. — И второго найдешь. А теперь иди, а то поздно. Да не забывай, о чем я говорил: конец шнура обязательно срежь наискосок и головку спички прижимай поплотнее, к самой мякоти...

— Помню, помню! Все помню, — заверил Бакланов и зашагал обратно в город.

Утром в понедельник, идя на службу в управу, Беляк, чтобы не откладывать дела и долгий ящик, решил забежать в комиссионный магазин и взглянуть на Брынзу. С собой он захватил кожаный ягдташ, с которым, бывало, ходил на охоту. Продавать его Беляк не собирался, но это было предлогом, чтобы зайти в магазин.

В комиссионном магазине, кроме продавца у прилавка и пожилого толстого мужчины за конторкой, никого не было. Подойдя к прилавку, Беляк показал ягдташ продавцу и заломил заведомо высокую цену. Продавец, молодой прыщавый парень, пожал плечами и, желая показать, что товар его не интересует, отвернулся и начал переставлять стоящие на полке дамские туфли.

— Не устраивает? — громко спросил Беляк.

— Нет! — лаконично бросил продавец через плечо.

В это время из-за конторки вылез толстяк и, тяжело отдуваясь, словно он тащил на спине мешок, приблизился к прилавку. Взяв в руки ягдташ, он осмотрел его со всех сторон, отогнул крышку, помял и даже понюхал кожу. Небольшая голова его с крупными отвислыми ушами с трудом поворачивалась на чрезмерно толстой и короткой шее. Окончив осмотр, он посоветовал придержать вещь и не продавать до времени.

— Сумка, конечно, хороша, но сейчас не в моде. Охотников и на нее и на дичь, прямо скажем, маловато стало.

На Беляка с масляной улыбкой смотрели широко посаженные, часто мигающие, маленькие, как у хорька, глазки.

Беляк объяснил, что сумку он продает потому, что нужны деньги. В ответ толстяк спокойно изрек:

— Что такое в наше время деньги? Они уходят и приходят и стоят иногда дешевле бумаги, на которой печатаются. А вещь есть вещь. Простите, с кем имею честь?...

— Беляк.

Жидкие белесые брови толстяка взметнулись кверху, и от этого его маленький узкий лоб стал еще меньше.

— Беляк? Гм... слышан про вас. Раньше вы работали в городской библиотеке, а теперь в управе, по финансовой линии. Очень приятно... очень рад... Евсей Калистратович Брынза!

— представился он и подал мясистую руку с короткими, точно обрубленными пальцами. — Это замечательно!... Будем знакомы. А сумочку придержите.

— Что же, придется, — согласился Беляк. — Ну всего хорошего.

— Желаю успеха! Заходите, буду рад, — и Брынза проводил посетителя до дверей.

«Скользкий тип, — размышлял Беляк, идя по улице. — Что же ему от меня надо?...»

Вечером, в девять часов, заместитель бургомистра Чернявский слушал доклад Беляка о состоянии финансов в селах и районных центрах. Он пробежал глазами документы, подчеркивая толстым красным карандашом отдельные цифры, и то и дело поглядывал на свои ручные часы. Видимо, он куда-то торопился.

На нем был зеленый, военного покроя китель с белым подворотничком. Бледное лицо резко выделялось своей белизной на фоне высокой коричневой спинки кресла.

Беляк жаловался, что в деревнях не хотят брать оккупационные и имперские марки и предпочитают получать за свои продукты советскими деньгами.

Чернявский скривил тонкие бескровные губы в брезгливой улыбке.

— Понятно, понятно, — заметил он, — надеются, очевидно, на возврат советской власти. Это закономерно и естественно. Сказывается сила инерции. Помните, как не хотели брать никаких денег, кроме романовских, в семнадцатом и восемнадцатом годах, а потом ими разжигали печи и самовары? Так что явление это не страшное. Время — лучший врач, и тут придется положиться на него. — Чернявский снова взглянул на часы и продолжал: — Если бы мы с вами сейчас могли...

Он не договорил. Раздался огромной силы взрыв, эхом отдавшийся в разных частях города. Задребезжали стекла в окнах, зазвенел стакан на горлышке графина с водой.

Чернявский вздрогнул, уронил карандаш, побледнел и немигающими глазами уставился на Беляка.

— Что это может означать? — спросил он.

— Затрудняюсь сказать... — ответил Беляк, сделав испуганное лицо.

Воцарилось молчание. Склонив набок голову, как бы ожидая нового взрыва, Чернявский напряженно вслушивался. Белая рука его, лежавшая на столе, заметно дрожала.

Тишину нарушил резкий телефонный звонок. Чернявский вздрогнул и схватил трубку.

— Да! Я! Слышал! Не знаю! Что?... — Он приподнялся со стула. — Гостиница? Вся? Какой ужас!... Да, да... сейчас буду... сейчас же... сию минуту... — Он бросил трубку и вышел из-за стола, потирая виски. — Вы, Беляк, — он криво усмехнулся, — спасли меня сегодня от верной смерти...

— Ничего не понимаю, господин Чернявский, — проговорил Беляк, поднимаясь со стула и поспешно складывая в папку бумаги. — Объясните.

— Вы меня со своим докладом задержали тут, — Чернявский взглянул на часы, — почти на полчаса. Я давно должен был быть в гостинице. Там офицерский вечер, и я приглашен. Но гостиница и все гости взлетели на воздух. Машину! Машину! — прокричал он дежурному и, оставив Беляка в своем кабинете, выскочил в коридор.

«Не знал я, что ты, проклятая душа, тоже приглашен туда, — подумал Беляк, быстро спускаясь по ступенькам в первый этаж. — Выходит, что действительно спас тебе жизнь».

Внутри у Беляка от радости все пело. Он сунул папку в ящик стола, надел на ходу пальто и выбежал из дома.

По улице на предельной скорости промчалась автомашина, за ней другая, третья...

Взрыв наделал много шума. Хотя немецкая администрация на эту тему не распространялась, но народ знал, что взрыв дело рук советских патриотов. На второй день после происшествия местная газета вышла в черной рамке. В ней сообщалось о несчастном случае, повлекшем за собою безвременную смерть многих офицеров. В сквере на немецком кладбище прибавилось тридцать шесть березовых крестов. Около пятидесяти человек положили в госпиталь. Начальника гарнизона и командира танковой бригады вовсе не нашли. Трупы нескольких офицеров спешно вывезли в Германию. Туда же отправили на специальном самолете шестнадцать тяжелораненных.

Местные органы полиции, полевая жандармерия и гестапо металась в бессильной злобе, — они не могли разыскать организаторов взрыва. По городу прокатилась волна арестов. Город притих. Улицы опустели.

Иван Тимофеевич Бакланов к Микуличу не явился. Через медсестру Карецкую Беляк пытался найти Бакланова среди раненых в госпитале, но и там его не было. После взрыва никто его не видел.

— Очевидно, замешкался в здании и там погиб, — горестно говорил Беляк.

— А какой был человек!... — сокрушался Микулич.

Беляк и Микулич сходили к тому месту, где стояла гостиница. Там лежала груда развалин.

Вероятно, эти камни стали могилой Бакланова.

Это была первая потеря в рядах подпольной организации, которой руководил Беляк.

Террор в городе продолжался. На шестой день после взрыва все взрослое население согнали в городской парк. Промокшие под дождем, озябшие люди стояли в саду, тихо перешептывались, боязливо жались друг к другу. У каменной стены, где раньше был тир, зияла огромная свежевырытая яма. Около нее толпились солдаты. В двенадцать часов, разбрызгивая жидкую грязь, в парк по главной аллее вкатилась автомашина. Из нее вылезли комендант города, начальник гестапо и заместитель бургомистра Чернявский. Вслед за ними на своих машинах примчались чины жандармерии, эсэсовцы, гестаповцы.

— Ведут... ведут! — пронеслось по толпе, и взоры всех устремились к входу в парк.

Арестованных вели под усиленным конвоем. Они брели прямо по лужам, полураздетые, мокрые, истерзанные. Все это были уже полумертвые люди. Впереди шли две пожилые женщины, седые волосы их были разметаны, в них запеклась кровь. Лица обреченных говорили о том, что самое страшное для них позади и близость смерти их больше не пугает: они прошли через застенки гестапо. Арестованных подвели к краю ямы. Тяжелый, глухой стон, подобно вздоху, прокатился по толпе. Комендант города майор Реут влез в кузов грузовика. Машину оцепили автоматчики. Комендант поднял руку — он хотел держать речь.

— Ахтунг! — заорал кто-то из офицеров.

Майор Реут хорошо объяснялся по-русски. Он говорил о том, что Германия и фюрер не потерпят «партизанских бандитов» на занятой немецкими войсками территории и не позволят убивать своих лучших людей.

— За смерть одного германского солдата, — выкрикнул майор, — будут умирать десять, двадцать русских! Сегодня, сейчас умрет пятьдесят человек.

Толпа молчала. Это было страшное молчание, и гитлеровцы, на которых смотрели тысячи ненавидящих глаз, чувствовали это.

Застрекотали автоматы. В толпе кто-то забился в истерике.

А наутро в разных частях города на стенах зданий, на заборах, даже у самого входа в управу появились отпечатанные на пишущей машинке листовки. Народные мстители-партизаны и советские патриоты города — предупреждали фашистских мерзавцев, что за жизнь безвинных людей, расстрелянных ими, оккупанты и их пособники скоро ответят.

«Вы способны лишь на убийство безоружных и беззащитных людей, вы бессильны перед нами, подлинными сынами и дочерьми родины, — говорилось в партизанской листовке, — наши руки доберутся до вашего звериного горла, а ваши до нас — никогда. Смерть и проклятие фашистским захватчикам!»

Трагедия в городском парке только ожесточила сердца подпольщиков, и они еще яростнее и упорнее стали готовиться к новым боевым делам.

3

В лагерь проникали тревожные слухи. Партизаны не хотели им верить, не хотели смириться с мыслью, что враг, занявший Орел, Мценск, Плавск, накапливает сейчас силы для решительного прыжка к сердцу страны, к столице — Москве. Но проверить эти слухи не было возможности — связь с Большой землей еще отсутствовала. Отряд Зарубина не имел даже радиоприемника.

Во второй половине декабря подрывник Багров и разведчик Дымников попытались выкрасть радиоприемник у немецкого гарнизона на одном из лесных железнодорожных разъездов. Они вернулись без приемника, но привели немецкого унтер-офицера, которого схватили на разъезде.

Пойманного немца привели на допрос в штабную землянку. Допрашивал его Зарубин через начальника разведки капитана Кострова, хорошо владевшего немецким языком. Унтер вел себя нагло, вызывающе, отказался назвать даже свою фамилию, номер части.

Зарубин нервничал, выходил из себя, обвинял Кострова в том, что тот неправильно

переводит его вопросы. Спокойный, выдержанный Костров покусывал губы, краснел, пожимал плечами.

— Черт знает что получается! — возмутился Зарубин. — Неужели мы от него ничего не добьемся? Это же позор... Спроси его последний раз, будет он отвечать или не будет?

Гитлеровец ответил, что не скажет ни слова. Услышав это, Зарубин неожиданно спокойно произнес:

— Сообщи ему, что через десять минут он будет расстрелян, и объясни, что врага, который не сдается и продолжает борьбу, мы уничтожаем.

Костров перевел слова командира.

Зарубин хотел сказать еще что-то, но вошедший партизан доложил, что прибыл посыльный из города и просит командира отряда срочно зайти в штабную землянку.

Лишь только Зарубин ушел, оставив Кострова с глазу на глаз с пленным, как унтер мгновенно изменился.

— Вы когда попали в плен? — шепотом спросил он Кострова.

Тот сначала даже опешил.

«Принимает меня за соотечественника», — блеснула догадка, и Костров тут же сочинил рассказ о том, как он попал в плен.

— А что мне делать? — не без страха в голосе спросил пленный.

— Не валять дурака, а говорить правду, — посоветовал Костров. — Ты что действительно желаешь быть расстрелянным?

Унтер неожиданно разревелся. Он не хочет умирать, он хочет жить, но говорят, что русские щадят жизнь тех, кто ведет себя мужественно, попав в их руки, и кто не выбалтывает военных тайн.

Костров рассмеялся и назвал его идиотом.

— Шутить с огнем не рекомендую. Лучше рассказывай все.

И немец рассказал. Назвал свою фамилию, номер полка, дивизии, изложил подробности своей службы, объяснил причины, заставившие его три дня просидеть на безлюдном разъезде.

Но главное заключалось не в этом. Унтер рассказал о разгроме гитлеровцев под Москвой, Ельцом, Тихвином, о провале зимнего наступления немцев. Полк, в котором он служил, потерял девяносто процентов личного состава и из-под Москвы откатился до Мценска. Командир полка попал в плен, начальник штаба застрелился. Отступая, фашисты побросали всю технику.

— Так бы и давно, — сказал Костров, когда пленный выложил все, что знал. — А немец я такой же, как ты русский. Я советский офицер, партизан, и рекомендую тебе сейчас же рассказать все командиру отряда, как рассказал мне.

Костров был очень доволен происшедшим. Кто мог думать, что его, советского офицера, пленный примет за своего земляка! Вот что означает знание языка. Недаром он изучал его в течение нескольких лет. Изучал настойчиво, упорно, ежедневно тренировался, искал случая поговорить с людьми, владеющими немецким языком, читал на немецком языке много художественной и специальной литературы.

До войны Костров был офицером запаса и преподавал немецкий язык в одной из военных академий. Когда встал вопрос об эвакуации академии в глубокий тыл, Костров высказал желание остаться за линией фронта, у партизан. Ему ответили, что такие, как он, нужны и на фронте, и отправили в разведотдел одной из армий. Но Кострова нелегко было заставить отказаться от своих планов. В конце концов командующий армией пошел навстречу его настойчивым просьбам и отпустил к партизанам.

Вступив в должность начальника разведки формируемого отряда, Костров проявил недюжинные организаторские способности и врожденный талант разведчика. Разведывательные данные, добываемые им, всегда были абсолютно точными. Но сам Костров оставался недоволен своей работой. «Чтобы наша разведка работала хорошо, еще очень много надо», — говорил он. Он настойчиво подбирал смелых разведчиков из местных

жителей, сам посещал город и села, занятые противником, вербовал новых людей, расширяя свою агентурную сеть.

Зарубин вернулся в землянку примерно через полчаса, и Костров по его лицу сразу определил, что есть какие-то новости. Только присутствие пленного, видимо, мешало командиру поделиться ими.

— Все в порядке, Валентин Константинович, — сказал Костров.

— То есть?

Костров сказал, что унтер принял его за своего и выболтал много интересного.

Зарубин расхохотался.

— Что же он нашел в тебе немецкого?

— Кроме языка, вероятно, ничего.

Рассказ пленного о поражениях гитлеровских войск доставил Зарубину огромную радость. Несмотря на временные неудачи Красной армии, несмотря на провокации фашистской печати, Зарубин всем сердцем и душой чувствовал, что продвижение врага должно остановиться. Он был убежден, что гитлеровцы не войдут в Москву. Так и произошло. И эту первую волнующую весть довелось услышать из уст врага, который сам лелеял мечту побывать в столице советского государства, который вместе с другими головорезами слепо верил утверждениям своего сумасбродного фюрера о непобедимой мощи фашистских полчищ.

— Дежурный! — громко позвал Зарубин.

Пленный испуганно вскочил с места и вытянулся. Костров сдержал улыбку.

— Отведите его на кухню, — приказал Зарубин вошедшему дежурному, — пусть топит печь и чистит картофель. В его положении это уж не так плохо. А сюда пришлите всех командиров.

Пленного увели.

Костров сел за стол и начал коротко заносить в записную книжку сведения, сообщенные немцем.

А Зарубин вышел из землянки и остановился у входа. От радостного возбуждения ему стало жарко. Он расстегнул ватную фуфайку, воротник гимнастерки и озабоченно всмотрелся в небо, запрокинув голову.

Погода, несмотря на декабрь, стояла отвратительная, — снег шел попеременно с дождем.

К землянке начали собираться командиры.

— Погодка-то, а? — сказал Зарубин подошедшему командиру взвода Бойко и вновь посмотрел на небо. Бойко неторопливо огляделся.

— Скоро мороз стукнет, товарищ капитан, — заметил он. — А старики говорят, что если земля промокнет перед зимой, то это к хорошему урожаю. Я, правда, не знаю, насколько это верно, хлебопашеством никогда не занимался.

— К урожаю? — повторил Зарубин задумчиво.

Собственно, что же здесь хорошего? Если и будет урожай, то кто его соберет? Разве он достанется советским людям?

Зарубин хотел поделиться своими мыслями с Бойко, но того уже не было — он вошел в землянку.

Наконец все собрались.

— Георгий Владимирович, — обратился Зарубин к Кострову, усаживаясь за стол, — расскажи товарищам о своем разговоре с пленным унтер-офицером. Я с этим немцем возился битый час бестолку, — пояснил он собравшимся. — Ни имени не называл своего, ни номера части. Нахально смеялся мне в лицо. А стоило мне выйти из землянки на несколько минут, как он все рассказал капитану Кострову. Объясни-ка нам, товарищ Костров, как ты с ним нашел общий язык.

Костров смущенно рассказал о своем разговоре с пленным.

Раздался дружный смех, посыпались шутки.

— Попал в немцы наш Костров. Опростоволосился господин унтер!...

— А ты ему сказал, кто ты есть на самом деле?

— А теперь расскажи о главном, — обратился Зарубин к Кострову, когда присутствующие успокоились.

Все недоуменно переглянулись. Пушкарев удивленно поднял брови. Что же это за главное?

Костров коротко изложил сообщение пленного о разгроме гитлеровских полчищ под Москвой, Тихвином, Ельцом, о провале зимнего наступления врага.

И если инцидент с пленным вызвал смех, то рассказ об успехах Красной армии встретили ликованием.

В землянке поднялся невероятный шум, раздались крики «ура», провозглашались здравицы в честь партии и Красной армии, командиры жали друг другу руки, обнимались.

Это была первая большая радость в партизанском лагере.

Шум в землянке привлек партизан. Почуяв, что произошло что-то необычайное, они быстро собрались к штабу.

Комиссар Добрынин вышел к ним и рассказал о происшедших на фронте событиях.

По всему лагерю прокатилась волна неудержимой радости.

— Смерть фашистским оккупантам!

— Ура коммунистической партии!

— Мы должны фашистам отсюда жару подбавить!

Оживленно и громко беседуя, взволнованные партизаны расходились по своим землянкам и шалашам.

А в штабе уже вновь воцарилась тишина.

— Получено письмо от наших людей из города, — говорил Зарубин. — Оккупанты при содействии предателя, заместителя бургомистра Чернявского, готовятся угнать в Германию на каторгу партию советских людей. Наши подпольщики выяснили, что никто из жителей города не захотел добровольно ехать в Германию. Людей, главным образом молодежь, хватили насильно, вытаскивали из чердаков, из подвалов. Облава продолжалась неделю. Под конвоем всех задержанных согнали в каменный пакгауз на станции. Пакгауз обнесен колючей проволокой в три ряда. На днях люди будут отправлены по железной дороге в Германию. Когда именно их отправят — неизвестно. Но об этом мы узнаем. Я прошу провести беседы во взводах и сказать партизанам, что мы постараемся сорвать фашистский замысел и спасти из рук оккупантов наших людей.

Командиры разошлись, и в землянке остались только Зарубин, Пушкарев, Добрынин и Костров.

— Письмо прислал Беляк, — пояснил Зарубин. — Он тут еще кое-что пишет.

Беляк сообщил, что дату отправки эшелона с людьми, увозимыми в Германию, он выяснить не может. Это в состоянии разведать только один человек — дорожный мастер Якимчук, оставшийся в тылу для работы в подполье. Но связь между Беляком и Якимчуком прервалась, — заболел человек, выполняющий обязанности связного. Сам же Беляк посетить Якимчука не решается. Это может привести к провалу и его и Якимчука.

— Он правильно поступает, — заметил Пушкарев.

Зарубин кивнул. Он такого же мнения. Риск не оправдан. Надо найти возможность самим связаться с Якимчуком.

— А нам это нетрудно сделать, — сказал Добрынин и посмотрел на Кострова. — Мы имеем прямую связь с Якимчуком. Якимчук живет в железнодорожной будке, в трех километрах от станции. И нам известно, что немцы его не тронули, а оставили на прежней работе. Так, кажется, Георгий Владимирович?

Костров подтвердил. Якимчук — старый железнодорожник, он имеет связи среди рабочих и, конечно, сможет выяснить дату отправки эшелона.

— Действуй, товарищ Костров, — предложил Зарубин. — Посылал к Якимчуку надежных ребят, из разведчиков. Определи им маршрут. Посади на лучших лошадей. Сколько километров до будки?

Начальник разведки вынул из планшета карту, расстелил на столе.

— Двадцать семь километров, — сказал он.

— И очень удобно стоит будка. — Пушкарев ткнул пальцем в карту. — Недалеко от леса...

— Точно, — сказал Добрынин, — метрах в двухстах, не больше.

Костров сложил карту и пошел наряжать людей к Якимчуку.

— А теперь давайте и мне тройку ребят, — сказал Пушкарев.

Зарубин сдвинул ушанку на лоб и почесал затылок. Опять, значит, Пушкарев собирается в путь. Это командиру отряда не нравилось. Пушкарев, как секретарь окружкома, организовывал партийную работу не только в партизанском отряде и городе, но и в селах вокруг партизанского лагеря. Он отыскивал там верных людей, коммунистов, комсомольцев, не успевших эвакуироваться, привлекал их к работе, поручал вести пропаганду среди населения. По его заданию среди населения проводился сбор средств для помощи семьям партизан. В городе и в селах Пушкарев не раз проводил нелегальные собрания жителей.

Но Зарубину не нравилось, когда Пушкарев сам ходил по деревням. Он знал, что гестаповцы давно ждут удобного случая, чтобы схватить секретаря подпольного окружкома, что во многих селах Пушкарева подстерегает опасность. Зарубин не имел права приказывать секретарю окружкома, но как член бюро он всегда протестовал против его «прогулок» по селам и деревням.

— Ты, Иван Данилович, напрасно разгуливаешь, — сказал он Пушкареву.

Пушкарев нахмурился. Ему не нравилось, когда вмешивались в его дела.

— Я тоже такого мнения, — поддержал Добрынин.

Пушкарев хмуро взглянул на него из-под косматых бровей.

— Если я иду сам, значит, так надо. У меня дела есть. И заботы ваши вовсе неуместны, — отрезал он и стал прохаживаться по землянке.

Добрынин усмехнулся и начал крутить сигарку.

— А вот мы на очередном бюро побеседуем на эту тему, — сказал он, — и посмотрим, уместны они или неуместны. Как ты думаешь? — обратился он к Зарубину.

— Не возражаю, — ответил тот.

— Еще этого не хватало! — возмутился Пушкарев. — Вы как маленькие дети. Честное слово! Вы думаете, что мои обязанности заключаются в том, чтобы руководить, сидя вот здесь, в лесу.

— В твоём распоряжении есть коммунисты, — бросил Зарубин.

— Ну и что? — спросил Пушкарев.

— Это твоя армия...

— Хм... А как посмотрят партизаны, например, на тебя, Валентин Константинович, если ты никогда сам не будешь водить их на боевые операции? А? Что они скажут о тебе? Что они подумают о таком командире?

— Я — дело другое, — сказал Зарубин.

— Я — тоже другое, — возразил Пушкарев. — Что это за партийный руководитель, которого народ и в лицо не видел? Нет, друзья, вы не правы. И бюро вам скажет то же самое. Многолетняя борьба нашей партии, жизнь ее вождей учит нас другому. Подумаешь, товарищу Пушкареву опасно-де появляться в народе, это, мол, связано с угрозой для его бесценной жизни! Скажите, пожалуйста! Нет, давайте не будем заниматься глупостями и прекратим раз и навсегда подобные дискуссии. Лучше подумаем, кто со мной пойдет. Уйду я на недельку, не больше. Возьму, во-первых, деда Макуху, — его никто не заменит. А остальных двух выделяйте по своему усмотрению.

...Через час две группы покинули лагерь. В одну сторону отправились верхами посыльные к Якимчуку, в другую — Пушкарев в сопровождении трех партизан.

Погода не улучшалась. По-прежнему стоял густой туман, падал снег вперемежку с дождем. На проселочных и лесных дорогах стояла невылазная грязь.

— И куда его только понесло? — сказал Зарубин, когда коренастая фигура Пушкарева скрылась из виду. — До чего же беспокойный человек! И этого старика Макуху все таскает с

собой. Замучил его окончательно.

— Ну, это ты брось, — возразил Добрынин. — Макуха сам кого угодно замучит. У него энергии, что у молодого. Они друг другу под стать. Что Иван Данилович, что Макуха. Оба неугомонные.

— Кстати, Федор Власович, кем был до войны дедушка Макуха? — спросил Зарубин, входя в землянку. — Ведь ты его давно знаешь?

— Командиру положено знать своих солдат, — подмигнул Добрынин. — А такого, как дед Макуха, тем более. Преинтересный человек!...

Добрынин с удовольствием принялся рассказывать о деде Макухе. Знает он его давно. Макуха — старый кадровый рабочий, стеклодув. Вместе они работали на стекольном заводе. Года за два до войны Макуха похоронил свою жену. Она тоже работала на заводе — вахтером в проходной. Была у них единственная дочь, дали они ей образование, она стала инженером-химиком, вышла замуж. В начале войны она погибла вместе с мужем от немецкой бомбы.

Макухе предлагали эвакуироваться вместе с заводом, но он наотрез отказался. Заявил, что будет партизанить. Переубедить его в чем-либо очень трудно. Если что вбил в голову — сделает по-своему.

Плохо только, что Макуха не учился и остался малограмотным. И нельзя сказать, чтобы он не желал учиться, — просто не клеилось у него дело с учебой. «С науками у меня разногласия», — часто говаривал сам дед.

Малограмотность, конечно, мешала ему стать передовым человеком в полном смысле этого слова. Он и сам это чувствовал. Но рабочий он был примерный и достигал многого упорством, природной смекалкой, большим опытом.

В партию Макуха вступил давно, в девятнадцатом году, а сторонником большевиков стал еще раньше, в годы Первой мировой войны, на фронте.

В семнадцатом году военно-полевой суд приговорил Макуху к расстрелу, но товарищи помогли ему бежать. Судили его за нанесение оскорбления царскому офицеру, какому-то штабс-капитану. Тот на глазах у Макухи стал избивать своего денщика, а Макуха не стерпел, вступился и основательно потрепал офицера.

В годы Гражданской войны Макуха служил в Красной армии. Белогвардейцы однажды схватили его под Ростовом при попытке пробраться в город для связи с подпольщиками. На допросе он ничего не сказал, хотя его жестоко избивали. Когда его повезли на расстрел, он бежал, на этот раз сам, безо всякой помощи, воспользовавшись тем, что его не связали.

— Вот он, значит, каков, дедушка Макуха! — сказал Зарубин, выслушав рассказ комиссара. — Теперь ясно, почему Пушкарев его постоянно с собой берет...

4

Партизаны, посланные к Якимчуку, вернулись на третий день вечером. Якимчук прислал с ними письмо, где отвечал на все вопросы. Он писал: «Эшелон готов к отправке на завтра. Состоит из двадцати семи вагонов. Первый вагон — с охраной. Солдат приблизительно человек двадцать. В трех вагонах около ста мужчин. В каждом вагоне вооруженный солдат. Дальше идут платформы, нагруженные разбитыми самолетами и танками. Машинист наш. Пароль: "Брянск". На паровозе одна фара будет гореть даже днем. Встречайте на подъеме, за тридцатым километром. При въезде на тридцатый километр машинист даст четыре коротких гудка. Учтите, что между двадцать девятым и тридцатым километром есть бункер с немецкой охраной».

Зарубин посмотрел на часы. Стрелка подходила к девяти. Составили расчет времени. Наметили на карте маршрут движения. Потом Зарубин приказал накормить партизан и готовиться к выступлению.

...Буран, хозяйничавший в лесу двое суток, прекратился внезапно в полночь, когда отряд остановился на отдых у лесной опушки.

— Какая красота! — произнес Зарубин, оглядываясь вокруг и шумно вздыхая.

На очистившемся небе мерцали ясные звезды. Свежевыпавший снег, сухой, пушистый, покрыл толстым слоем землю, замел все дороги, тропы.

Партизаны развели костры и сутились вокруг них, подвешивая на треногах котелки со снегом. Отогревали банки с консервами. В лесную тишину ворвался шум голосов, смех. Дрожащее пламя костров тянулось вверх, с треском разбрасывая вокруг снопы искр. Отсветы огня трепетали на вороненой стали пулеметов и автоматов.

До железной дороги оставалось восемь километров.

— Можно поспать, — распорядился Зарубин.

Вокруг костров быстро вырастали постели из хвои. Командиры собрались в сторонке, возле Зарубина.

— Селифонов!

— Слушаю, — отозвался тот, подходя к Зарубину.

— Люди готовы?

— Готовы.

— Кого берешь с собой?

— Все отделение Грачева.

— Веди прямо на бункер. Надо охрану убрать без шума. Полотно разберешь после того, как пройдет нужный нам эшелон. Он будет идти с одной фарой и на тридцатом километре даст четыре коротких гудка. Проверь на всякий случай, не идут ли от бункера телефонные провода. Инструмент взял?

— Взял. Два лома, ключи и все прочее.

— Поднимай ребят и веди. Когда уберешь охрану, ко мне пришли связного.

— Все понятно.

— Действуй.

Через несколько минут группа Селифонова тронулась в путь, потянув за собой волокуши с инструментом.

— Кого ты посылаешь? — спросил Зарубин Рузметова.

— Багрова и с ним пару бойцов.

— Опять Багрова, — поморщился Зарубин.

Рузметов пояснил, что еще в лагере получил приказание выделить лучшего подрывника, а Багров и есть лучший.

Зарубин не питал симпатии к Багрову, — его пугало прошлое этого партизана, но на доводы командира взвода он не возразил.

— Ну давай его сюда, — махнув рукой, сказал он.

Рузметов побежал к одному из костров и тотчас же возвратился с Багровым. Это был партизан уже не молодой, лет под сорок, невысокий ростом, но широкоплечий и крепкий. С лица, изрезанного редкими, но глубокими морщинами, смотрели большие темно-карие глаза. Несмотря на странные обстоятельства, предшествовавшие его появлению среди партизан, он за трехмесячное пребывание в отряде показал себя бесстрашным и опытным подрывником.

Багров стоял перед командиром отряда навтыяжку, как и полагается бывалому солдату. Разговор с Зарубиным был очень короткий.

— Задачу знаете?

— Так точно.

— Не сорвете дело?

— Никак нет.

— Действуйте. Желаю успеха.

Багров козырнул и, повернувшись через левое плечо, тяжело побежал по снегу.

Группе, которую возглавлял Багров, как и группе Селифонова, предстояло разобрать железнодорожное полотно. Одна из этих групп выдвинулась на север, другая на юг. Обе группы должны были приступить к работе лишь после того, как услышат четыре свистка

паровоза — сигнал, что эшелон вошел в зону операции. На языке партизан это называлось «блокировкой» и предпринималось с определенной целью. На ближайших разъездах, справа и слева, немцы держали под парами бронепоезда. Надо было перед нападением на состав разобрать путь с двух сторон и этим самым лишить возможности фашистские бронепоезда оказать помощь охране эшелона.

Отправив обе группы, Зарубин посмотрел на часы: время приближалось к двум.

Партизаны лежали вповалку вокруг костров. Одни спали, другие бодрствовали, тихо беседуя о чем-то.

— Давайте и мы погреемся, — сказал Зарубин.

Вместе с Добрыниным, Костровым, Рузметовым он устроился у ближайшего костра. Партизаны подали им котелки с кипятком.

— Георгий Владимирович, — обратился Зарубин к Кострову, — а где Дымников? Что-то я его не вижу.

Костров посмотрел по сторонам.

— Спит, — ответил за него Рузметов и показал рукой. — Вон...

— Это хорошо, — сказал Зарубин, — ему досталось больше всех. Пусть хорошенько отдохнет.

Сергей Дымников спал, свернувшись калачиком, спиной к огню. Кто-то из друзей накрыл его плащ-палаткой. Он и в самом деле устал больше всех, так как шел впереди отряда, по бездорожью, глубоким, доходившим до колен снегом.

— Крепкий парень, — заметил Зарубин, беря обеими руками котелок с кипятком.

— Парень замечательный, — подтвердил Добрынин. — На отца похож. Тот, говорят, тоже был такой же горячий, неугомонный.

— Посмотрим, что день грядущий нам готовит... — сказал Зарубин. — Пока что нам везло.

— Повезет и сегодня, — отозвался Добрынин. — Нам должно обязательно везти. На то мы и партизаны.

Он выплеснул недопитый кипяток, отставил котелок и прилег, вытянув ноги к костру.

По обе стороны от него примостились Зарубин и Рузметов.

Не лег лишь Костров. Обхватив руками колени, он сосредоточенно смотрел на горящие поленья. Уж сколько времени он находится в отряде, и, кажется, пора бы привыкнуть к лишениям, а он все никак не может. Вот, например, сколько раз он пытался в походе, на привале, как другие, лечь у костра и уснуть. Спят же люди! Но у него ничего не получалось. Сон не шел. И сейчас то же самое.

Отведя взгляд от огня, Костров всмотрелся в темноту. Поодаль шагали два часовых в белых маскировочных халатах. Снег поскрипывал под их ногами. Костров сладко зевнул и, подняв воротник полушубка, прилег.

Но уснуть не удалось. То мерзли пальцы на ноге, то кололо где-то в боку, то казалось, что воздух слишком холодный и именно это мешает спать. Костров прикрыл нос и рот шерстяным шарфом. Но стало трудно дышать. Он отбросил шарф. Мысли упорно лезли в голову, отгоняя сон. Вспомнился недавний разговор с Дымниковым. Костров не мог понять, какими таинственными признаками руководствовался Дымников, ведя отряд лесом по бездорожью, ночью, по глубокому, целинному снегу. Он спросил Дымникова, когда расположились на отдых: «Не раз, видно, ходил здесь?» Тот улыбнулся, стряхнул снег с ушанки и ответил: «Нет, товарищ капитан, в этом месте еще ни разу не был».

Костров был поражен. Он бы наверняка сбился с дороги. Разве что по компасу...

Да, не дается ему это искусство. Он может пройти мимо путаной строчки следа, оставленного лисой на дороге, в то время как Добрынин обязательно заметит этот след; он не обратит внимания на мох, глядя на который подрывник Багров скажет, что недалеко болото; он не увидит гроздьев рябины, усыпанных снегом, к которым на ходу уже потянулась рука Зарубина; он не сможет, как Дымников, быстро отыскать едва журчащий лесной родник, отличить на лету глухаря от тетерева или в дождь моментально разжечь костер.

Дымников или дедушка Макуха смеялись, когда кто-либо заговаривал при них о том, что в

лесу можно заблудиться, а Костров при этом краснел, вспоминая, как ему однажды, в первые дни партизанской жизни, пришлось одному возвращаться в лагерь из леспромхоза. Он заблудился и не на шутку перепугался. Пришлось обращаться к карте и компасу. Он потратил на дорогу времени в три раза больше обычного. Добрынин, встретивший его у землянки, с едва заметной улыбкой спросил: «Что, на ягоды напал, Георгий Владимирович?» Костров смутился и ничего не ответил.

Послышались чьи-то шаги, и к огню быстро подошел партизан — связной из группы Селифонова.

Костров тронул рукой спящего Зарубина. Тот моментально проснулся и вскочил, будто и не спал совсем.

Связной доложил, что в основном все в порядке.

— Почему в основном? — спросил Зарубин.

— Грачев ранен, — ответил тот.

— Докладывай подробно, — приказал Зарубин.

— В бункере оказалось пятеро солдат, — рассказывал партизан. — Мы навалились сразу гурьбой и всех подмяли. Грачев двоих прибил, а третий вырвался и пырнул его ножом в шею, вот сюда.

— Как он сейчас?

— Не скажу точно. Когда я сюда побежал, его Селифонов с хлопцами перевязывали. Он хрипел, ругался. Его подвезут сюда на волокуше, а то оставлять там несподручно.

Добрынин нашел спящего фельдшера, растолкал его, приказал идти вместе со связным навстречу раненому Грачеву — быстрее оказать ему помощь.

— Кроме этого, все в порядке? — спросил Зарубин связного.

— Все как следует... Выбрали место, где путь разбирать. Трупы упрятали, ожидаем. Уже прошел в город один состав со снегоочистителем.

Около пяти часов Зарубин поднял отряд, приказал накинуть капюшоны маскировочных халатов и затушить костры.

Огонь забросали снегом. Вокруг сразу потемнело. Дымников, готовый тронуться в путь, стал впереди. Когда партизаны начали выстраиваться, из лесу показался фельдшер, тянувший за собой волокушу с лежащим на ней Грачевым.

— Как? — коротко спросил Зарубин.

— Кончился, — тихо ответил фельдшер и устало вздохнул. — Ему, видимо, сонную артерию повредили. Я уже не застал его в живых.

Партизаны окружили тело товарища, откинули капюшоны, сняли шапки. Зарубин опустился на колени, взял холодную руку Грачева и долго молча смотрел на его застывшее, залепленное снегом лицо.

Ему вспомнилось заседание бюро окружкома, когда разбирали поведение Грачева, вспомнилось, как обещал Грачев исправить свою ошибку, искупить вину. И вот его уже не стало. Он погиб при выполнении боевого задания.

Высвободив из-под головы покойника капюшон, красный от крови, Зарубин закрыл ему лицо и встал.

— Бойко, — негромко сказал он командиру взвода. — Выделите двух человек... Пусть отвезут Грачева в лагерь и не хоронят до нашего возвращения. А мы, товарищи, — вперед.

Начинало светать. Предутренний мороз крепчал. Партизаны лежали на снегу, зарывшись всугробах, по обе стороны железнодорожного полотна. В белых халатах они были почти неотличимы от снега. Дули на озябшие руки, подергивали и постукивали костяными ногами.

Добрынин лежал у самой стены леса, метрах в сорока от дороги, и поглядывал в бинокль. Зарубин сказал, что скапливаться всем у полотна не следует и что кому-то надо наблюдать издали за всем участком операции. Комиссар не стал возражать.

Сам Зарубин с капитаном Костровым сидел на корточках поодаль от полотна, за штабелем

полусгнивших, заметенных снегом шпал. На шпалах ничком лежали два партизана-наблюдателя.

— Ну и прохватывает!... — пожаловался один.

— Да, мороз, что надо, правильный, — согласился второй. — Ты нос потри снегом, а то он у тебя назавтра отвалится. Какой из тебя будет партизан без носа!

Партизан с побелевшим носом уже хотел выполнить совет товарища, но вдруг, взглянув на полотно, приглушенно вскрикнул:

— О! Гляди!

Вдали, в предрассветной мгле смутно забелел свет.

Ветер дул навстречу составу, и шума его движения не было слышно. Партизан, заметивший поезд, быстро скатился со штабеля и, крикнув от холода, бойко доложил:

— Показался, товарищ капитан. Ползет. Определенно он. С одной фарой на левой стороне. Сейчас погреемся, а то, кажется, у меня печенка уже замерзла, — и, похлопывая руками, он принялся вытанцовывать на месте.

Зарубин и Костров надвинули капюшоны, поднялись и стали наблюдать.

Тишину прорезали четыре коротких, тревожных свистка паровоза. Уже явственно доносился шум приближающегося поезда.

Зарубин энергично толкнул в бок Кострова и коротко бросил:

— Давай!

Костров, пригнувшись, спустился в канаву. Тотчас от снега отделилось несколько белых фигур с ломami, клещами, веревками. Они подползли к полотну, и закипела работа.

Остальные, забыв о холоде, прикинули к земле в ожидании команды.

Преодолевая крутой подъем, начинавшийся на тридцатом километре, состав тянулся так медленно, что можно было, идя шагом, не отстать от него. Он был уже весь на виду.

Паровоз натужно пыхтел. Вот он миновал контрольный столб, въехал на место, где рельсы только что освободили от креплений, и вдруг, загрохотав по шпалам, остановился, окутанный клубами пара.

— Вперед, товарищи! — громко крикнул Зарубин и с автоматом в руках бросился к паровозу.

С обеих сторон полотна с криками: «Ура!», «За родину!» — устремились к составу партизаны.

Из паровозной будки один за другим вылетели вниз головой два человека в зеленых немецких шинелях. Глухо ударившись о землю, они остались недвижимы. Вслед за тем выпрыгнул машинист. Набирая пригоршнями снег, он стал обтирать руки.

— Пароль! — потребовал Зарубин, приближаясь к нему.

— «Брянск!» — ответил тот. — Видишь вот, двух «помощников» сразу ухлопал. — И добавил: — Привет от Якимчука.

Затрещали пулеметы, автоматы. Лес наполнился грохотом, криками, стрельбой. Вагон с охраной расстреляли в упор из ручных пулеметов. Потом в окно швырнули несколько противотанковых гранат. Взрыв! Горбом встала крыша, вылетела дверь. Подрывники Рузметова торопливо закладывали взрывчатку под колеса и котел паровоза.

— В топку бы, в топку... — советовал машинист.

— Людей выводите, людей, прямо в лес, — раздавался голос Зарубина.

Из вагонов выскакивали люди. Они бежали к лесу с узлами, мешками, чемоданами, еще не отдавая себе ясного отчета в том, что произошло.

— Поберегись! — крикнул Рузметов, отбегая от паровоза.

Грохнул взрыв, в воздух полетели куски железа. Паровоз накренился набок, постоял так мгновение, как бы в раздумье, и повалился под откос.

— Гитлер капут! — объявил Дымников.

— Прекратить огонь! — раздалась команда Зарубина. — Печки из вагонов на волокуши! Поджигайте состав — и все к лесу!

Печки выбрасывали в снег, из вагонов полз густой черный дым. Из-за поворота дороги

показалась группа Селифонова. Партизаны собирались у леса, разговаривали с освобожденными. Кое-кто нашел уже знакомых.

...Народу прибавилось, и на обратном пути хвост партизанской колонны терялся где-то в изломах лесной дороги. Пройдя быстрым маршем километров десять, Зарубин остановил отряд и приказал построить освобожденных людей. Подсчитали. Оказалось девяносто шесть человек.

— Куда вас везли, вы все сами знаете, — обратился к ним Зарубин. — Теперь слово за вами. Кто хочет домой — пожалуйста. В полукилометре отсюда — шоссе, ведущее в город. А кто хочет драться с фашистами...

Ему не дали договорить, зашумели.

— Все хотим. Все!

— Спасибо, товарищи партизаны!

— С вами пойдём!

— А кто хочет драться с фашистами, — продолжал Зарубин, — и быть партизаном, ко мне шагом марш!

Колебаний не было. Все устремились к Зарубину. Многорукая толпа подхватила его, и он вместе с автоматом мгновенно оказался в воздухе. Дружное «ура» огласило лес, перекатилось эхом. Когда Зарубина опустили на землю, он сказал, поправляя ушанку и улыбаясь:

— Ну что ж! Будем считать, что нашего полку прибыло. Перекур пятнадцать минут!

В канун нового сорок второго года комиссар отряда Добрынин возвращался один в лагерь с передовой заставы.

Пройдя девять километров, Добрынин не чувствовал никакой усталости и шагал так же бодро и ровно, как и при выходе из лагеря.

Последний день декабря выдался на редкость ясный, морозный. Снег блестел под солнцем так, что глазам было больно. Зима как бы наверстывала упущенное вначале, — мороз крепчал и крепчал.

Умолкли ручейки, улетели беспокойные разноголосые птицы, не слышно под ногами шелеста валежника. Лес спал под снегом, точно зачарованный, как в сказке. Застыли в зимней спячке обнаженные лиственные деревья, и лишь огромные сосны да пушистые ели красуются своим зеленым нарядом.

Добрынин любил свой край, эти западные леса. Он не представлял себе жизни без леса. Что может быть лучше, чем бродить по такому лесу с ружьем за плечами, часами сидеть у чистой заводи, всей грудью вдыхать лесной воздух, насыщенный запахами хвои и папоротника, любоваться ивой, окунающей свои ветви в тихую воду реки, и радоваться набежавшему невесть откуда ветерку, вздувшему мелкую рябь на зеркальной поверхности!

А ночи! Ночи, проведенные в лесу, в наскоро раскинутом шалаше или под открытым небом! Что может быть лучше?!

По твердому убеждению Добрынина, каждая ночь, проведенная в лесу, удлиняла жизнь человека по меньшей мере на месяц. И комиссар часто говорил партизанам: «Мы должны быть самыми здоровыми людьми. Лес от всех болезней лечит».

Добрынин вышел на просеку, ведущую к лагерю, уверенно обошел мины, поставленные Рузметовым еще осенью, и, взглянув на часы, вспомнил, что сегодня решено встретить Новый год.

Правда, это будет необычная встреча. Никто не подымет традиционного бокала, — пить нечего, да и с закуской бедно, но собраться решили обязательно. Надо в теплой боевой семье, в товарищеской обстановке оглянуться назад, на пройденный путь, заглянуть вперед, в новый грядущий год. Поговорить о делах, о людях.

Новый год отметят и на заставе, с которой возвращался Добрынин. Там партизаны дежурили по десять человек, сменяясь каждую неделю. Большая, глубоко сидящая в земле и тщательно замаскированная землянка давала возможность собраться всем партизанам заставы сразу.

«Пошлю туда Бойко, — решил про себя Добрынин. — Пусть поговорит с народом. А у нас

надо будет поручить кому-нибудь из командиров беседу провести. Придется посоветоваться с Зарубиным».

...А в это время Зарубин, заложив руки в карманы стеганых ватных брюк, расхаживал по землянке от стены к стене, изредка останавливаясь и поглядывая на лежащую на столе карту. В просторной штабной землянке стояли большой стол и два широких топчана, на которых попарно спали Пушкарев и Добрынин, Зарубин и Костров. Была еще одна землянка, более вместительная, «окружкомовская», но в ней стоял только стол, а топчанов не было, и никто там не жил. Землянка предназначалась для заседаний бюро.

Зарубин с полчаса тому назад отпустил Рузметова и сейчас находился под впечатлением его доклада. Командир подрывников два дня провел в отдельном взводе, которым теперь командовал Толочко. Зарубина поразила обстоятельность доклада Рузметова, его подход к событиям, людям, четкий анализ боевой деятельности взвода, смелость в постановке новых боевых задач, знание обстановки.

«Вот тебе и младший лейтенант! — размышлял Зарубин. — Откуда он набрался всего этого? Так впору рассуждать служилому, образованному командиру. Вот как растут люди в наше время. Ему взвода сейчас мало. Определенно мало».

«А что, если сейчас поговорить с ним самим? — мелькнула у Зарубина мысль. — Пусть скажет: удовлетворяет его командование взводом или нет?»

Землянка, в которой жили Рузметов, Багров и еще четверо подрывников, находилась на краю лагеря. Железная труба, торчавшая из-под снега, не дымила, и когда Зарубин переступил порог землянки, там было так же холодно, как и снаружи. Командир отряда вспомнил, что все люди Рузметова ушли на задание и топить некому.

Рузметов спал на низких нарах, натянув на голову трофейную немецкую шинель.

«Не стоит будить, — решил Зарубин. — Устал. Путь у него был долгий и опасный».

Его внимание привлекла раскрытая записная книжка, лежащая на крохотном квадратном столике.

Зарубин подошел, машинально взял ее в руки и стал перелистывать.

«У ребят Селифонова автоматы грязные. Рубашки на гранатах поржавели. Надо подсказать».

«Передовую заставу лучше вынести из просеки, — увеличится обзор».

«Старик Макуха очень интересен, беседы с ним доставляют удовольствие. Он прикидывается простачком, но умен и хитер».

«Диверсии на железной дороге надо коренным образом перестроить. Желательно, чтобы на сорокакилометровом участке в разных местах ежедневно бывали взрывы. Поговорить с командиром отряда».

«Вынести на бюро окружкома вопрос о связи с соседними партизанскими отрядами. Варимся в собственном соку. Надо предпринять что-то решительное».

«Почему не выпускается ежедневно разведсводка для командного состава? Обсудить вопрос с Костровым».

«Не вижу смысла в том, что каждый взвод беспокоится о приобретении себе продуктов. Не лучше ли создать специальное подразделение, поставить во главе толкового командира и возложить на него заботу об обеспечении всего отряда продовольствием. Это тоже боевая работа. А совмещать диверсии на железной дороге и разведку с налетами на склады и обозы не совсем удобно. Надо бы поднять такой вопрос... Тем более, что заготовительная группа не справляется со своими обязанностями».

Рузметов пошевелился, и Зарубин невольно вздрогнул. Ему стало неловко, что он залез в чужие записи. Но Усман не проснулся. Зарубин положил книжку на стол и тихо вышел. Постояв недолго около землянки и взглянув на небо — высоко ли еще солнце, — он зашагал к южной заставе.

Вернувшись в лагерь, Добрынин нашел землянку пустой. Дрова в железной печурке догорали. Примостившись на корточках против печи, он подложил несколько сухих поленьев. Огонь жадно охватил их. Печурка загудела, задрожала. От нее потянуло жаром. Приятно было после долгого пребывания на морозе ощущать на руках, на лице ласкающее

тепло. Когда печка раскалилась докрасна, Добрынин поднялся, стянул с плеч стеганный ватник и подошел к столу, на котором лежала раскрытая карта. Упершись локтями в стол, комиссар склонился над ней. Все знакомо ему здесь. Вот этот кружочек обозначает лагерь. Удачное место. Здесь отряд обосновался с первых дней своего существования и надолго врос в землю крепкими, домовитыми землянками. Место Добрынин выбрал сам. Сначала отрыли восемь землянок, а теперь их уже девятнадцать, не считая трех застав. А вот поселок, где он родился. Добрынин склонил голову ниже, упорно всматриваясь в четко обозначенные кварталы, и усмехнулся. Ему хотелось найти на карте родной дом, который, возможно, и сейчас стоит на месте. Вот стекольный завод, когда-то принадлежавший купцу Шараборову. Сюда он пошел работать после двухлетней учебы в поселковой школе. В соседнем поселке у Шараборова также был завод, довелось Добрынину и на нем поработать. Прежде чем стать начальником цеха стекольного завода, Добрынин сменил множество профессий. Он в молодости слыл за непоседу и часто переезжал с места на место.

Работал мальчиком на побегушках в конторе завода, сезонником по ремонту путей на железной дороге, лесорубом, сцепщиком вагонов, сторожем на помещицкой пасеке, лесным объездчиком. Революция застала его на заводе — он работал кочегаром в котельной. Добрынин ушел в Красную гвардию и вернулся только в двадцать втором году. Демобилизовавшись, он стал настойчиво добиваться, чтобы его послали учиться в техникум. Жажду знаний в душе молодого Добрынина заронил товарищ по фронту, впоследствии ставший видным партийным работником.

«Смотри, Федор, — предупреждал он, — время пойдет сейчас другое. Мы будем руководить государством. Ты, я и такие, как мы. Вот ты теперь коммунист, тебе доверят серьезный участок работы, а какой из тебя руководитель, когда ты читаешь по складам и еле расписываешься! Ты должен будешь других учить, а сам слепой, как котенок. Какая же от тебя польза партии, рабочему классу?»

В техникум Добрынина сразу не приняли. Он два года просидел в школе для взрослых, два года на рабфаке и лишь потом попал в техникум. В родные края он вернулся новым человеком, женился, обзавелся детьми и «прикипел» к заводу.

Добрынин перевел глаза на восточный край карты. Где-то здесь, недалеко, — линия фронта, а там за нею, в небольшом городке со странным названием — Раненбург — были теперь его жена, дочь и сын.

Теплые воспоминания охватили комиссара. Ему представилось, что он находится сейчас среди своих близких, видит ласковое лицо жены, слышит голоса детей... Он так углубился в воспоминания, что не заметил, как вошел Зарубин, и вздрогнул, когда командир отряда кашлянул.

Зарубин посмотрел на комиссара и понимающе улыбнулся.

— Ничего, комиссар, все переживем, — бодро сказал он. — Сейчас я горяченького добуду. Подживи-ка огонек. — И он, быстрый, стремительный, вышел из землянки.

Через десять минут на столе появились котелки с кипятком, хлеб, консервы. Сидя против командира отряда и осторожно прихлебывая кипятком, комиссар вдруг сказал:

— Вот что я думаю, Валентин, нет у тебя настоящего, оперативного помощника...

Зарубин поднял брови и внимательно посмотрел на Добрынина.

— Мы же не те, что были, — продолжал комиссар. — Отряд вон как разросся. И смотри, что получается: над картой думай сам, дневник составляй, план операции ты же составляешь и ты же проводишь в жизнь. Ушел на задание — оставить за себя некого. Так и закрутиться можно. Начальник штаба нам нужен. Мы самостоятельная воинская часть, так я думаю.

Не раз уже Добрынин удивлял Зарубина своей сметкой в военных делах. Не раз он подсказывал командиру ценные мысли. По совету Добрынина был создан взвод подрывников, по его предложению взвод Грачева — Толочко вывели за шоссе и железную дорогу и этим усилили контроль за обеими магистралями врага.

— Мысль хорошая, Федор Власович, — отозвался Зарубин. — И нужен именно начальник штаба, а не адъютант, не канцелярист... Но кого? Кого?

— А как ты смотришь на Рузметова? — спросил Добрынин.

Зарубин широко раскрыл глаза, вышел из-за стола и рассмеялся.

— Чего тебя разобрало? — добродушно проворчал Добрынин.

Зарубин подошел к комиссару и обнял его за плечи.

— Интересно получилось. Ведь я сегодня о том же думал. А ты меня опередил.

Зарубин рассказал об обстоятельном докладе Рузметова, о записях в его полевой книжке.

— Конечно, его надо выдвигать, — подхватил Добрынин. — Бывает же так в жизни: человек вырос из своего костюма — и брючонки уже выше щиколотки поднялись и рукава короткие, а сам он этого не замечает — привык. Ну, а со стороны видно, что пора новый костюм готовить. Так и с Усманом. Я думаю, что не ошибемся. Подготовка у него хорошая — два курса вуза...

— Я тоже думаю, Федор Власович, что не ошибемся, — согласился Зарубин.

Ночью, после встречи Нового года, вновь поднялся разговор об организации типографии и выпуске подпольной газеты. Этот вопрос был предметом постоянных споров на каждом собрании. Особенно беспокоился по этому поводу секретарь окружка Пушкарев. Он не мог смириться с мыслью, что отряд и подпольная организация города не в состоянии наладить выпуск газеты.

— Какие же мы партизаны и подпольщики! — с возмущением говорил он Зарубину, Добрынину и секретарю парторганизации — командиру взвода Бойко. — На своей земле, в своем городе не можем газету выпустить.

Спокойный, рассудительный Добрынин пытался доказать, что выпуск газеты вещь не такая простая, как кажется.

— Одно дело — поставить задачу, а другое — осуществить её.

— Ты, батенька мой, ерунду городишь, — кипятился Пушкарев. — Что это, невыполнимая задача, что ли? Мы, большевики, таких задач перед собой не ставим. Мы ставим такие, которые можно и нужно выполнить.

Добрынин умолкал. Он прекрасно понимал, как нужна газета, но отдавал себе отчет и в том, какие трудности надо преодолеть. Кроме Найденова, бывшего наборщика, сейчас работающего в городе с Беляком, у партизан никого, знающего типографское дело, не было. Да и у Найденова опыт в полиграфическом деле невелик, и он не может дать совета, что именно надо приобрести, с чего надо начать, чтобы сдвинуть с мертвой точки «типографскую проблему».

Добрынин и Бойко собирали командиров взводов, коммунистов, комсомольцев, поручали им побеседовать с народом и выявить всех, кто имел хотя бы какое-нибудь отношение к печатному делу. Но таких не оказалось.

Когда страсти немного успокоились, спор утих и все уже собирались ложиться спать, кто-то за дверями попросил разрешения войти.

— Можно! — громко сказал Зарубин.

Вошел Рузметов. Он был в шинели, накинутой на плечи.

Пушкарев вопросительно уставился на позднего гостя.

— Я по делу зашел, — пояснил Рузметов. — Советую поговорить насчет типографии с командиром отделения Багровым.

Все насторожились.

— Вот тебе новое дело! — рассмеялся капитан Зарубин. — Оказывается, Багров не только подрывник, связист, разведчик, но еще и печатник. Он у тебя, Рузметов, просто феномен какой-то!

— Никак нет, товарищ капитан, — спокойно возразил Рузметов. — Он не печатник, но думаю, что поговорить с ним надо.

— Давай! Веди его сюда! Сейчас же веди! — вскочив с топчана, загорячился Пушкарев. — Сам буду говорить с ним, а вы не мешайте.

Ключие глаза его заблестели из-под косматых бровей, он забегал по землянке, и в ней сразу стало как-то тесно.

Рузметов привел Багрова. Тот козырнул и поздоровался.

— Садись и рассказывай, чем можешь помочь, — предложил Пушкарев. Он уселся рядом с Багровым и положил свою руку на его колено.

Багров сообщил, что сам он в типографском деле ничего не смыслит, но в городе живет его тесть, около пятидесяти лет проработавший в типографиях Минска, Смоленска, Брянска. Старик ушел на пенсию в сороковом году из-за ревматизма.

— Он большой специалист, честный человек и может быть полезен в нашем деле, — закончил Багров.

— Сколько же ему лет? — недоверчиво спросил Зарубин.

— Да, пожалуй, около семидесяти.

Зарубин свистнул и лег на топчан, закинув руки за голову.

— Но он дело свое хорошо знает. Настоящий профессор, — добавил Багров.

Пушкарев косо взглянул на Зарубина, некстати вмешавшегося в разговор, и обратился к Багрову:

— Где он живет?

— Живет все время в рабочем поселке, в своем домишке. Куда ему деваться?

Багров вызвался пробраться в город, повидаться и переговорить со стариком.

— Ну, ладно, иди отдыхай, а мы посоветуемся, — сказал Пушкарев, отпуская Багрова.

Поднялся спор: связывать ли Багрова с Беляком или поручить ему самому вести переговоры с тестем? Зарубин возражал против вовлечения в это дело Беляка. Остальные считали, что связать их необходимо. Так и решили.

— Ты не прав, товарищ Зарубин, — сказал Пушкарев, укладываясь на топчан. — Я верю Багрову и считаю, что он нас не подведет. Письмо к Беляку я напишу сам.

— Ладно, посмотрим, — буркнул Зарубин и повернулся лицом к стене.

5

Только в конце января при содействии Беляка удалось организовать поездку Багрова в город. Багров направился в деревню Гряды и недалеко от нее встретился с Беляком. Тот приехал в деревню по делам управы и привез Багрову документы, с которыми можно было появиться в городе.

Багров, со своей стороны, передал ему письмо Пушкарева, в котором тот просил Беляка познакомиться и переговорить с тестем Багрова, проверить его и обо всем подробно уведомить бюро окружкома.

В город они въехали часа в четыре дня на одной подводе, как «попутчики». Беляк показал Багрову свою квартиру и отпустил его, договорившись встретиться вечером.

Часам к восьми за столом у Беляка собрались Багров, Найденов и Микулич. На случай, если появится непрошенный гость, на столе перед ними лежали карты и стояла тарелочка с деньгами.

— Твой тесть — местный? — спросил Беляк.

— Нет, он родом из-под Орла — из города Кромы. Но в наших краях уже давно живет.

— Как его звать?

— Михаил Павлович Кудрин.

— Кудрин? — переспросил Найденов.

Выяснилось, что Найденов хорошо знает тестя Багрова. Они около трех лет работали вместе в типографии, в Минске.

— Как же, как же, знаю! — сказал Найденов. — Стоящий у тебя тесть. Хороший человек и большой знаток дела. Давненько я его не видел. Сыны-то где у него?

Багров рассказал, что оба сына старика находятся на той стороне, за фронтом, и Кудрин живет вдвоем с женой.

Выяснилось также, что домишко Кудрина находится совсем недалеко от квартиры Беляка.

— А придет он сюда, если позовешь? — спросил Беляк.

— Придет, — заверил Багров. — Он меня уважает. Да и предупредил я его: сказал, что предстоит серьезный разговор.

— Ну и перепугал старика, — ворчливо заметил Микулич.

— Он не из пугливых, — бросил Багров.

— Правильно, — подтвердил Найденов, — в пятом году в каталажке насиделся. Видел старик виды. Его на испуг не возьмешь.

— Ну, а ты кто же будешь, как сроднился с Куприным, как попал в партизаны? — поинтересовался Беляк. — Расскажи-ка.

Пришлось Багрову, уже в который раз за последние три месяца, рассказывать подробно о себе. Тяжело было обо всем этом говорить, но нужно. Багров понимал, что он имеет дело с честными и суровыми людьми, которые ежедневно, ежечасно ставят свою жизнь на карту. Тут недомолвок быть не должно. Тут надо было выложить все без утайки, начистоту. Эти люди, прежде чем действовать сообща с ним, должны знать его и верить ему.

— Хвалиться мне нечем. Проштрафился я перед советской властью и перед всеми, — тяжело вздохнув, начал Багров и опустил голову. — На фронт я не гожа оказался, не взяли меня. Хоть и силы у меня во! — И он сжал кулаки. Его могучая грудь, широкие плечи и большие, сильные, немного неуклюжие руки свидетельствовали о долгих годах физического труда. — Да и лета не вышли, еще не стар. Но грыжа меня измучила. Три раза резали. Я всю жизнь бревна грузил в лесхозе да на лесозаводе — там и нажил грыжу. Ну вот и послали вместо фронта окопы рыть под Брянск, а я оттуда и удрал. Дезертировал. Сбил меня с пути один сволочной тип. Попадись он мне сейчас, вывернул бы я его наизнанку... Ну, да и сам я оказался с червоточинкой...

История Багрова была такова. В Брянске он узнал, что немцы подходят к его родным местам. Произошло это в момент посадки в поезд, шедший на станцию Унечу. На Унече люди должны были выгрузиться и начать земляные работы. В вагоне подсел к Багрову малоприметный пожилой человек в поношенной фетровой шляпе, с большой шишкой ниже левого уха. Познакомились, разговорились. Сосед рассказал, что немцы распускают колхозы в захваченных ими районах.

— И могу заверить вас, — шептал он захлебываясь, — что не пропадем и без колхозов.

Они сидели на нижних местах. Окна были замаскированы, и в переполненном вагоне стояла духота. Резкие запахи человеческого пота и табачного дыма стойко держались в воздухе. Единственная свеча, тускло освещавшая вагон, догорела, потрескала немного и погасла. Стало темно.

— Вы понаблюдайте, какая кругом неразбериха, паника, — продолжал сосед. —словно Содом и Гоморра, а война-то ведь лишь два месяца, как началась.

Он настойчиво доказывал, что советский фронт лопнул по всем швам, что германская армия движется неудержимо, что сопротивляться нет смысла да и невозможно.

— А что немцы захватили, того они никогда не отдадут, — уверял попутчик. — В этом будьте уверены. Я вот не пойму, куда и зачем бегут мирные жители? Чего они этим хотят достигнуть? Бросают насиженные углы, хозяйство, имущество, несутся очертя голову куда-то на Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию. Я бы хотел спросить: кто их там ожидает? Кому они нужны? Ну, я понимаю, коммунисты, комсомольцы бегут, — с этими у немцев разговор короткий. А вот рабочие, колхозники, рядовые служащие, зачем им бежать?... Непонятно. Непостижимо. Наслушались сказок о зверствах и потеряли рассудок. Что касается меня, то уж извините... Дураков нет. Бросать жену, детей или тащить их куда-то с собой не собираюсь. Жил неплохо, а жить буду еще лучше...

В Унече Багров не явился на сборный пункт, а направился в сторону дома, на запад.

Первая его встреча с немцами произошла в маленькой деревеньке, в пятнадцати километрах от родного села. Багров заночевал у старика колхозника, а когда проснулся, в деревне были гитлеровцы.

Перепуганный старик запихивал что-то в мешок, собираясь бежать в лес, и звал с собой Багрова. Тот отказался. Коль скоро он возвращался в родные места, куда уже пришли немцы,

то зачем же бежать от них? Надо было знакомиться. Он быстро поднялся с полу, натянул сапоги и вышел во двор. Три здоровых солдата с расстегнутыми воротниками кителей, потные и запыленные, входили с улицы во двор.

— Хальт! — рывкнул один из них, и все трое направили на Багрова автоматы.

Багров не понял, что от него требуют, сказал на всякий случай «здравствуйте» и подал паспорт. Солдат, не обратив никакого внимания на документ, тычком ударил Багрова в лицо. Тот покачнулся, но устоял. Только в голове загудело, запрыгали искры перед глазами.

— Сволочь! Русиш! — крикнул фашист и теперь уже с маху ударил Багрова по лицу раз, другой, третий.

Багров упал и очнулся, когда солдаты уже ушли.

К родному селу, где жили жена Марфа и шестнадцатилетняя дочь Анюта, Багров подошел на седьмые сутки поздней лунной ночью. В селе стояла глубокая тишина, поразившая его. Ни лая собак, ни крика петухов. Оставалось пройти сосновый перелесок, подняться на пригорок, а с него все село было как на ладони. Багров перевел дух, посмотрел кругом, легко взбежал на пригорок и остановился. Он хотел крикнуть, но голоса не было и горло сдавили спазмы; хотел двинуться, но ноги точно вросли в землю и отказались идти. Села не было, оно сгорело. Багров со стоном опустился на землю. Он посидел так несколько минут, глядя немигающими глазами на пепелище. Исчезло более двухсот дворов, остались груды пепла, да, как могильные памятники, стояли кирпичные печи с устремленными вверх длинными шеями дымоходов. Только справа, под черной стеной леса, белели две-три уцелевшие избышки.

Тяжело поднявшись и покачиваясь, он побрел к уцелевшим домам. По пути он пытался отыскать глазами хотя бы следы своего дома, но огонь сделал неузнаваемым даже само место, где стояло село.

В избе, к которой Багров приблизился, было очень тихо. Он толкнул дверь и шагнул в темноту. Послышались шорохи, шепот. В комнате стояла духота. Кто-то чиркнул спичкой и зажег коптилку. Багров огляделся. Изба, состоявшая из одной комнаты, была битком набита женщинами и детьми. Они спали на полу, на скамьях, на печи, на единственной кровати. Негде было даже повернуться, сделать шаг, и Багрову пришлось стоять у входа не двигаясь. Женщины рассказали, что село сожгли эсэсовцы дней двенадцать назад. Жена и дочь Багрова ушли в леспромхоз.

Багров облегченно вздохнул и, не чувствуя уже никакой усталости, зашагал дальше.

В леспромхоз немцы редко заглядывали, им там нечего было делать. Все население леспромхоза состояло из полусотни человек, преимущественно женщин. Делами здесь вершил назначенный немцами староста Полищук, которому перевалило за шестой десяток. Собственно говоря, и дела-то все его сводились к заготовке и вывозке дров в город по нарядам управы. У Полищука были два помощника — полицаи, дезертиры из Красной армии. Трудно сказать, как повел бы себя дальше староста, если бы партизаны не взяли под контроль его деятельность. На второй день после назначения Полищука старостой около его дома в сумерки появились пять верховых. Двое слезли с коней и смело вошли в дом, трое остались с лошадьми. Никого из вошедших Полищук не знал. Произошел очень короткий разговор.

— Мы партизаны! — отрекомендовался один из гостей.

Полищук вздрогнул, но ничего не сказал.

— Нам известно, что ты не по доброй воле согласился быть старостой, — тебя назначили помимо твоего желания. Но коль уж ты стал старостой, слушай наши условия: делай свое дело, но людей не обижай. Загубишь хоть одного советского человека, записывай себя в покойники...

— Что вы, что вы, товарищи! — замахал руками Полищук и, бледный, опустился на скамью.

— Смотри! — строго предупредил гость. — Был до этого честным человеком, будь таким до конца. Не продай свою совесть. Мы тут хозяева, а не немцы. Понял?

Полищук испуганно закивал головой.

— Вот и все!

Партизаны исчезли так же внезапно, как и появились.

Это были начальник разведки Костров и командир взвода Рузметов со своими подрывниками. Заехали они сюда неспроста. В леспромхозе жила Анастасия Васильевна Солоненко, истопник, вдова сторожа леспромхоза. Она оказывала большие услуги партизанам с первого дня борьбы. Через нее поддерживалась связь с городом и, в частности, с Беляком. Анастасию Васильевну надо было сохранить во что бы то ни стало.

Полицук доводился Багрову дальним родственником, и когда к нему прибежали из сгоревшего села Марфа и Анюта, он приютил их и определил жить в пустовавшую избенку. Марфа пошла, как и все женщины леспромхоза, работать на заготовке дров, а Анюта устроилась в городе и жила у деда — Михаила Павловича Кудрина. Там их и застал Багров. Сам он тоже пристроился в леспромхозе. Работы всем хватало, жизнь как будто налаживалась.

Но вот в конце сентября произошло событие, окончательно решившее судьбу Багрова.

Как-то вечером из города неожиданно приехала на попутной крестьянской подводе Анюта. Бросившись к отцу на шею, вся в слезах, она рассказала, что ее хотят угнать на работу в Германию.

Всполошилась и мать.

Багров пытался успокоить жену и дочь, хотя сам волновался не менее их.

— Все обойдется, — говорил он. — Уехала, и хорошо. Живи тут. Не будут они за тобой гоняться.

На всякий случай он пошел к Полищуку и рассказал обо всем.

Староста забрал повестку, которая обязывала Анну явиться на сборный пункт, и сказал, что уладит все через управу.

Прошли спокойно ночь и день, а в сумерки второго дня к дому старосты подкатили на телеге двое солдат. Один не стал слезать с подводы, а другой, поговорив о чем-то с Полищуком, вместе с ним направился к избе Багрова. Первым вошел солдат, а вслед за ним Полищук. Староста стал за спиной фашиста и развел руками, давая понять, что он бессилен чем-нибудь помочь. Гитлеровец осмотрелся и, увидев Анюту, заговорил на ломаном русском языке:

— Барышня! Марш! Фьють! — и он жестом руки предложил следовать за ним.

Анна стояла в углу неподвижно, сложив руки на груди.

— Марш! — крикнул солдат и, шагнув к девушке, схватил ее за руки.

— Не пойду... не поеду... ни за что... умру лучше, — рыдала, вырываясь, Анна, а фашист тянул ее к двери.

Вмешалась мать. Худощавая, сухонькая, ростом не больше дочери, она вцепилась в гитлеровца и запричитала во весь голос.

Обозленный фашист громко выругался, высвободил руку и с силой толкнул Марфу в грудь. Та глухо охнула, отлетела в сторону и, падая, с силой стукнулась головой об угол печи. Распластавшись на полу, она вздрогнула и замерла. Из рта струйками побежала кровь.

Озадаченный гитлеровец подошел ближе и, упершись руками в колени, стал смотреть на неподвижную женщину, не зная, что предпринять.

— Мама! Мамочка! — дико вскрикнула Анна и повалилась на мертвую мать.

У Багрова, сидевшего в оцепенении на кровати, кровь застыла в жилах. Смертельно бледный, он тихо поднялся, схватил стоявший у стены колун с длинной рукояткой и с полного взмаха, обеими руками, как колот полено, опустил его сзади на голову убийцы.

Отбросив колун в сторону, он медленно повел вокруг налитыми кровью глазами, схватил дочь за руку и выбежал с ней из избы, сбив с ног стоявшего у порога старосту... Так он оказался в отряде.

— Вот теперь я весь перед вами, — тихо закончил рассказ Багров. Несколько мгновений царил молчание.

— Ну и как тебя приняли партизаны? — спросил Микулич.

— Я рассказал все, как на исповеди, комиссару Добрынину, а он заявил, что спрос с меня

вдвое больше, чем с любого партизана. Я принял это как должное.

Багров не знал, что Зарубин долго возражал против зачисления его в отряд и спорил по этому поводу с Добрыниным. Только вмешательство Пушкарева помогло решить вопрос в пользу Багрова. Когда месяц спустя Рузметов предложил назначить Багрова командиром отделения в его взводе, Зарубин тоже был против, несмотря на то, что Багров уже имел в это время на своем счету шестнадцать убитых немцев, три подорванных моста и две сожженные автомашины. Лишь после того как Багров по заданию Кострова пробрался в леспромхоз и заставил активно работать на партизан не только старосту, но и двух его помощников-полицаев, Зарубин подписал наконец приказ о назначении его командиром отделения.

— Где сейчас дочь? — спросил Беляк.

— В отряде, санитаркой... В разведку все просится...

— А как же староста выкрутился у немцев? — поинтересовался Микулич.

— Хорошо выкрутился, — усмехнулся Багров, и лицо его немного оживилось. — Старик он оказался сметливый, понял, что если следы останутся, петли ему не миновать. Взял да и прибил второго фашиста. А потом погрузил обоих на телегу, сел, да и за мной по дороге. Догнал. Вот мы с дочкой и прикатили к партизанам на подводе и с двумя гитлеровцами. Правда, долго блукали по лесу, но потом наскочили на партизан.

— Староста сейчас не виляет, работает? — спросил Найденов.

— Работает, — вместо Багрова ответил Беляк. — Он даже продуктами помогает отряду. Молодец старик! Ну что ж, бывает... всяко бывает, — как бы считая вопрос исчерпанным, заключил он. — Зовут тебя как?

— Герасим.

— Так вот, Герасим, главное, что ты осознал, что поступил плохо. Голова у тебя на плечах есть, силенка тоже, злобы к фашистам, поди, накопилось. — Беляк пытливо взглянул своими темными глазами в глаза Багрова. — Насолили они тебе здорово, а потому будешь крепко драться... А теперь иди-ка за тестем, а то мы и так долго засиделись.

Багров встал.

— Через четверть часа приведу.

Когда дверь за Багровым закрылась, первым заговорил Найденов:

— Вот это мужик! Побольше бы таких. У Добрынина глаз наметан, недаром он за него уцепился. Хороший парень!...

Беляк задержал свой взгляд на Найденове, и тот смолк.

— Чудной ты человек, Андрей Степанович, — заметил Беляк. — Все тебе хороши, и сразу ты делаешь окончательные выводы. В таких делах нельзя торопиться. Время покажет. Поработаем — увидим.

Найденов мотнул головой, улыбнулся.

— Слабость у меня такая к людям, Дмитрий Карпович, люблю я их...

— Я тоже люблю, но надо знать, кого любить и за что...

— Это ты, пожалуй, прав, — согласился Найденов.

Андрей Степанович Найденов, в прошлом наборщик типографии, а перед войной слесарь авторемонтных мастерских, занимался сейчас ремонтом примусов и керосинок, чтобы прокормить себя и жену. Всем сердцем преданный делу, дисциплинированный подпольщик, он удивлял Беляка своим неразборчивым отношением к людям. Во всех он видел честных советских патриотов, считал, что каждого из горожан можно привлечь к работе подполья.

Беляк, наоборот, привык тщательно присматриваться к людям. Он не раз напоминал Найденову, что работа подпольщика требует особого, крайне осторожного подхода к каждому человеку.

Поднявшись со стула и поправив маскировку на окне, он подошел к Найденову и спросил:

— Ты видел кинокартину «Ленин в восемнадцатом году»?

— Видел, и не раз, — ответил Найденов. — Стоящая картина! Я ее себе вот как сейчас представляю. — И он показал ладонь.

— Я о ней вспомнил потому, — продолжал Беляк, — что ты сказал «хороший парень». А

помнишь, когда Максим Горький пришел к товарищу Ленину ходатайствовать, кажется, насчет какого-то профессора и на вопрос Ленина, что он за человек, ответил: «Хороший человек». Ну-ка, вспомни, что ему сказал Владимир Ильич насчет слова «хороший»?

— Помню, помню, Дмитрий Карпович, — закивал головой Найденов.

— То-то и оно! Я тоже всегда помню. «Хороший — понятие растяжимое и неопределенное».

— Беляк помолчал немного. — Герасим мне тоже нравится, — продолжал он. — Мужик неглупый, и хорошо, что себя перед нами вывернул наизнанку. А характеристику мы ему дадим попозднее и по заслугам. Вот, кажется, он опять жалуется, — закончил Беляк, услышав шум шагов и голоса в передней.

Открылась дверь, вошел Багров, а следом за ним его тесть. Это был высокий, худой, опиравшийся на костыль старик, с лицом бледным, изможденным, исчерченным глубокими морщинами. Глаза его, сохранившие живость, светло-голубые и добрые, выдавали в нем хорошего, прямого человека. На нем было поношенное пальто на вате с потертым каракулевым воротником, низенькая шапчонка из какого-то рыжего меха.

— С того времени, как под немцем живу, первый раз на свет божий вылез, — объявил старик, переступив порог и тяжело шагая к стулу. — Фу! Устал. А может, это к добру. А? — Он улыбнулся. — Ну, здравствуйте, добрые люди!

Голос у него был сильный, не по-стариковски звонкий, и если бы кто-нибудь услышал его из другой комнаты, непременно сказал бы, что этот голос принадлежит молодому человеку.

От располагающей улыбки старика и его простого приветствия сразу пропало напряжение, которое всегда сопровождает первые минуты знакомства.

Беляк помог гостю снять пальто и усадил его поближе к печке.

— Ну что ж, начнем с биографии, — рассмеялся старик коротким звонким смешком. — Герасим говорит, что обязательно придется выложить всю родословную. А?

Все от души рассмеялись шутке гостя, а он, на секунду задумавшись, опустил седую голову и уже серьезно продолжал:

— Кудрин я, Михаил Павлович Кудрин. Мне семьдесят лет. Пятьдесят три года провел в типографии... Знаю все секреты печатного дела. И вон его, — он кивнул в сторону Найденова, — Андрея знаю. Напрасно ты, Степаныч, бросил печатное дело. Напрасно. Я вот, например, скучаю. Да и вообще печатники передовой народ, что и говорить... О себе еще могу сказать... есть у меня два сына, и оба коммунисты. Хорошие хлопцы, в ладу мы жили. Один, старшой, на Дальнем Востоке — пограничник, другой — в Саратове, на заводе работал. Семейные оба. Внучат мы имеем со старухой, а вот дочку Герасим не уберег. — И он покачал головой.

Багров сидел хмурый, опустив голову, и смотрел сосредоточенно в одну точку. Невольно вспомнилась ему маленькая, всегда тихая Марфа, с которой он прожил семнадцать лет, никогда не ссорившись. Вспомнилась такой, какой он видел ее в те сентябрьские сумерки, последний раз, на полу, с прикрытыми глазами, со струйками крови, разбегающимися от головы по полу. Багров закрыл глаза, скрипнул зубами, потом, вздохнув, сильно тряхнул головой.

Беляк решил говорить с Куприным прямо, без обиняков. Все равно старик сразу поймет, к чему клонится дело. Недоверие могло только обидеть его.

— Вся надежда на вас, Михаил Павлович, — сказал Беляк. — Помогите, посоветуйте, как нам организовать типографию. Позарез нужна...

— Так... так... — Кудрин задумчиво улыбнулся и подергал рукой седой ус. — Вот зачем вам старик понадобился? Значит, прямо из архива да в дело. Одобряю! Правильно! Это по моему. Я уж почуял — что-то затевается, когда меня Герасим в гости стал звать... Ну что ж, давайте потолкуем. При желании все можно организовать, не только типографию. Не такие дела вершили в свое время...

— Молодые были, Павлыч, молодые, — вставил Найденов, — а сейчас старики.

— Не согласен, — объявил Кудрин и решительно замотал головой. — Не согласен, Андрей Степанович. Не в годах дело. Кто имеет дух и силенку, тот всегда молод. До самой смерти.

Вы, я вижу, тоже все не пионеры, а вот затеваете что-то и меня вытащили. Так что возраст тут ни при чем...

Разговор принял деловой характер. Желая знать, какую типографию хочет иметь окружком, Кудрин задавал множество вопросов, но на большинство из них ни Беляк, ни Найденов, ни другие не могли ответить. Они знали только, что окружком решил выпускать подпольную газету и листовки. Хорошо, что хоть Беляк, со слов Пушкарева, знал, какого формата газету предполагается печатать.

Куприн попросил дать ему два-три дня для того, чтобы «пораскинуть мозгами». Он обещал набросать перечень всего необходимого для будущей подпольной типографии.

Договорились, что через три дня Беляк сам зайдет на квартиру к Кудрину. Тот заверил, что дом его совершенно безопасен и никого, кроме жены, не будет.

Уже в полночь Беляк проводил гостей. Остался только Микулич. Ему надо было доложить о результатах проверки владельца комиссионного магазина Брынзы.

— Предательская душа, — сказал Микулич. — Он ходит по вечерам на квартиру к немцу, обер-лейтенанту Бергеру, а тот служит в гестапо. Три раза был и сидел у него чуть не по часу. Теперь ясно, что это за птица.

В противоположность Найденову Микулич был очень осторожный и хитрый человек, с врожденными качествами конспиратора. Он обладал, по мнению Беляка, каким-то пятым чувством, позволяющим ему разгадывать «нутро» каждого человека. С виду малоприметный, тихий и даже будто рассеянный, он интересовался всем происходящим вокруг. Раз поговорив с человеком, он составлял о нем свое определенное мнение, которое потом ему было очень трудно изменить. Он все слышал, все примечал, запоминал, обдумывал. Кто-либо другой на месте Микулича, возможно, и не придавал бы никакого значения тому факту, что в его присутствии назвали фамилию Беляка. Что тут особенного? Мало ли кто может знать человека, живущего в городе полтора десятка лет? Нельзя же придавать каждой мелочи важное значение. А Микулич сразу насторожился. Сердце подсказало ему, что к Брынзе надо присмотреться.

Его сообщение встревожило Беляка. Проводив Микулича, он улегся на кровать, но долго не мог заснуть.

«В чем дело? — думал он. — Чего надо от меня этому типу? Почему он так любезно со мной разговаривал? С кем он мог беседовать обо мне? Кто эти два типа, о которых говорил Микулич?»

Можно было предположить всякое. Двое неизвестных могли быть сотрудниками управы и посетить Брынзу в связи со взиманием с него налога. В управе все знали Беляка.

«Надо выяснить завтра, кто имеет касательство к комиссионному магазину, — решил Беляк. — Может быть, это прольет какой-нибудь свет...»

Заснул он уже под утро, окончательно измученный мрачными мыслями и предположениями, и спал чутко, беспокойно.

С утра шел ровный, сухой снег, смягчивший крепкий мороз, державшийся больше недели. К вечеру, когда Беляк возвращался из управы домой, погода изменилась. Холодные снежинки щекотали лицо, вызывая у Беляка тревожное, волнующее чувство. Каждый раз, как только снег покрывал землю, он вспоминал родную Сибирь, где провел свою юность. Вот так же засыпаны улицы, такие же снежные шапки торчат на трубах, так же воробьи копошатся на мостовой в поисках пищи. Прошло уже немало лет с тех пор, как Беляк перебрался в здешние края, но о Сибири он вспоминал часто.

Сблизившись на подпольной боевой работе с Микуличем, Беляк нередко делился с ним воспоминаниями, рассказывал о своих молодых годах, когда он партизанил в Сибири в отряде дедушки Каландарашвили, знакомил старика с обычаями людей сурового севера. «Ты бы посмотрел, где я родился и вырос, — говорил он вдохновенно. — Представь себе реку, такую, как Днепр, да еще и пошире. Один берег высокий, крутой, и на нем, у самого обрыва, прилепилась деревенька в одну улицу. Небольшая деревенька, чистенькая, домики один в один, точно орешки. Тайга стеной подходит к ней, теснит и, кажется, готова столкнуть ее в

воду. Наша изба стояла у самого края деревни, вплотную к лесу и отличалась от других. Сложил ее мой дед своими руками по-старинному, с углами, срубленными не в лапу, а в чашу. К летней избе пришел зимнюю. Там такой порядок. И вот встанешь, бывало, осенью до света, возьмешь ружьишко — и в тайгу. Тишина, безветрие. Чувствуешь каждой жилкой, как дышит тайга. Любил я наблюдать рассвет. Дед меня приучил к этому. Он говорил, что человек, не видевший восхода солнца, никогда не будет иметь в жизни счастья. Вот выберусь, бывало, я на полянку и поджидаю солнышко, а кругом тайга непроходимая, мохнатая. Сосны в три-четыре обхвата, черноплечие красавицы лиственницы, густолапые ели, пушистый кедр, нежные березки, заросли таежные. А зверя и птицы там, а рыбы в реках!... Ну, как не любить такую сторону! Как ее забыть!»

Шагая по городу, Беляк мечтал: «Хорошо бы сейчас зайчишку потревожить или тетерку подкараулить!» И вздыхал: не до охоты пока.

После обеда Беляк хотел, по обычаю, прилечь на часок, отдохнуть, но в дверь кто-то громко постучался. Он вышел в переднюю, отбросил крючок — и едва не вскрикнул от удивления. Перед ним стоял и улыбался запорошенный снегом Брынза.

Этот неожиданный визит смутил Беляка. В голове мгновенно промелькнуло множество тревожных догадок. Зачем он явился? С чьим поручением? Неужели кто-то из подпольщиков попал в поле зрения гестапо? Но кто же: Микулич, Найденов, он сам или новые друзья — Кудрин, Багров? Беляк смотрел на улыбающегося Брынзу и не знал, что сказать.

Брынза, очевидно, заметил смущение хозяина и начал первый:

— А я к вам, господин Беляк. Можно?

— Прошу, — коротко ответил Беляк и пропустил в дом нежданного гостя. «Закрою дверь получше, на всякий случай», — подумал он, накинул дверной крючок, щелкнул ключом и спрятал его в карман.

Брынза быстрыми маленькими глазками оглядел комнату, потом, не спросив разрешения, прошел во вторую и, убедившись, что в квартире, кроме них двоих, никого нет, спросил:

— Обе ваши?

— Да, мои, — ответил Беляк, начиная приходить в себя. В душе он уже ругал себя за слабость и минутную растерянность.

— Замечательно! Скромно и уютно, по-холостяцки. Вы, Дмитрий Карпович, конечно, удивлены моему приходу?

— Да, удивлен немного, — ответил Беляк и подумал, что другого сейчас, пожалуй, и нельзя было сказать. — Прошу садиться.

Беляк зажег свечу в подсвечнике. Сели за стол. Освещенный свечою Брынза оказался еще более неприятным. Под глазами висели тяжелые мешки, лицо обрюзгшее, какого-то свинцового цвета, нос большой, мясистый, иссиня-багровый. «Выпить, видимо, не дурак», — подумал Беляк и спросил гостя:

— Чем могу служить?

— Видите ли, любезный Дмитрий Карпович, я буду с вами откровенен. Я в прятки играть не намерен.

Брынза показал явную осведомленность как о самом Беляке, так и о его служебных делах. Он польстил ему тем, что начальство и, в частности, заместитель бургомистра Чернявский о нем хорошего мнения. Но дело в том, что Беляк, как местный человек, «абориген», — так именно и выразился Брынза, — хорошо знающий город и его округу, да к тому же и охотник, может принести еще больше пользы германскому командованию. В полной лояльности Беляка к существующему порядку он, Брынза, не сомневается, в противном случае он бы и не пришел.

Беляк начинал догадываться о цели визита. Это его успокоило окончательно, к нему вернулось обычное самообладание.

Догадки его вскоре подтвердились. После длинного предисловия Брынза предложил Беляку сотрудничать с гестапо, ссылаясь на собственный опыт, уже приобретенный им на этом поприще.

Беляк быстро оценил ситуацию и мысленно набросал для себя план действий.

— Я хочу знать, господин Брынза, от кого исходит инициатива облечь меня таким доверием? — спросил он гостя.

— Как от кого? — вопросом на вопрос ответил Брынза и сделал удивленное лицо. — Конечно, от меня.

— Кто еще знает о вашем намерении привлечь меня к такой секретной работе?

Брынза пригнулся к столу и сказал:

— Боже упаси! Никто, никто не знает и пока не должен знать.

— В таком случае я согласен, — спокойно сказал Беляк.

— А почему так, смею спросить? — поинтересовался Брынза. Ответ был уже продуман. Беляк объявил, что он не считает себя вполне подготовленным к такой серьезной роли и, пожалуй, не согласился бы принять предложение, если бы оно исходило не от самого Брынзы, а, допустим, от его начальства.

— Уж если работать, так работать, — сказал Беляк. — Начальство должно вначале получить какие-то результаты, а потом уже узнать, с кем за них надо расплачиваться. Я считаю, что лучше побыть в тени, поработать, а потом уже показаться на глаза начальству и сказать, кто ты таков. А вообще хорошо ему и вовсе не показываться. Я предпочитаю роль подпевалы, а уж вы, как человек искушенный и умудренный опытом, будьте запевалой.

Все это Брынзе понравилось.

— Вы знаете, Дмитрий Карпович, — произнес он, захлебываясь от радости, — у меня от этого разговора душа сразу просветлела, точно после исповеди.

— Еще одно неперемное условие, — продолжал Беляк. — Я буду помогать вам не один, а со своими приятелями, людьми вполне надежными и очень нуждающимися.

— Сколько их? — спросил Брынза.

— Двое, — ответил Беляк.

— Замечательно! Просто великолепно! Лучшего я не мог ожидать, — восторгался Брынза.

Удовлетворенный результатами беседы, он разоткровенничался и за рюмкой самогона, предложенного Беляком, кое-что выболтал.

Оказалось, что его шеф, обер-лейтенант Бергер, особо доверенный работник гестапо и непревзойденный специалист по партизанским делам.

— Он очень отзывчивый человек, — расхваливал Брынза обер-лейтенанта, — и хотя весьма требователен, но денег не жалеет и за хорошие дела расплачивается щедро.

Брынза рассказал далее, что надеется съездить в Европу — в Германию и Францию. Эту поездку ему обещал устроить Бергер.

— Экскурсия, так сказать, — пояснил Брынза. — Неплохо прокатиться по свету, себя показать и людей посмотреть. Поедем вместе с женой.

Жена у Брынзы, по его словам, была молодая, двадцати пяти лет, в то время как ему пятьдесят два.

— Но жизни ее, — похвалялся Брынза, — может позавидовать любая княгиня. В доме у меня полнейшее благополучие, всегда полно гостей, и не хватает лишь птичьего молока. Теперь, надеюсь, и вы, Дмитрий Карпович, будете моим постоянным гостем?

Беляк молча поклонился в знак согласия.

Беседа затянулась допоздна. Условились снова встретиться завтра вечером. Беляк пообещал познакомить Брынзу со своими друзьями, а Брынза должен будет ввести всех в курс предстоящих дел.

Как и в предыдущие ночи, Беляк долго не мог заснуть, но теперь уже иные мысли беспокоили его.

Следующего дня вполне хватило для того, чтобы тщательно, во всех деталях, подготовиться к встрече. В подготовке принимали участие Микулич и Багров. Последнего Беляк привлек как человека, не живущего в городе, почти никому не известного и к тому же обладавшего внушительной внешностью и недюжинной силой.

— У тебя-то хоть оружие есть? — спросил он Багрова.

Багров полез под рубаху, вытащил из-за пояса и показал парабеллум.

— Надежная штучка, — сказал он, скривив губы в улыбке. — Но в городе я больше доверяю кулакам.

— Вполне одобряю, — согласился Беляк. — Но на всякий случай неплохо иметь и «штучку».

— А если он будет кочевряжиться? — поинтересовался Микулич. — Тогда что?

— Тогда и решим, — коротко ответил Беляк и, немного подумав, добавил: — Мы, конечно, рискуем. Мы рассчитываем на то, что Брынза никого не посвятил в переговоры со мной, а если об этом известно третьему лицу, тогда...

— Да, это наше слабое место, — буркнул Микулич.

— Ничего, братцы, — бодро заметил Багров, — партизанам без риска нельзя работать. Кому же тогда и рисковать!

День пробежал незаметно, особенно для Беляка, занятого на службе. Не успел он, придя домой, пообедать, как появился Брынза.

— Вот и я, — объявил он и, уже как старый приятель, фамильярно похлопал Беляка по плечу. — Вы готовы?

Беляк, не торопясь, стал собираться. Ему незачем было спешить, он, наоборот, хотел, чтобы темнота сгустилась. Пока Дмитрий Карпович убирал со стола посуду, обувался и одевался, Брынза расхаживал по квартире, приглядывался к картинам, висящим на стенах, щупал скатерть, занавески и что-то мычал себе под нос.

Микулич и Багровожидали их в кладбищенской сторожке и нервничали, хотя и старались этого не показать друг другу. Они поочередно косились на «ходики», посматривали в оконце и старались говорить о вещах, не имеющих никакого отношения к тому, что должно было произойти с минуты на минуту.

Наконец появились Беляк и Брынза.

— Вот и друзья, о которых я вам говорил, Евсей Калистратович, — представил Беляк Микулича и Багрова, — знакомьтесь и раздевайтесь. Уж здесь нам никто не помешает поговорить по душам. — И он мигнул Микуличу.

Тот вышел из сторожки. Следовало проверить, на месте ли Найденов, которому поручено вести наблюдение за входом на кладбище. Через несколько минут Микулич возвратился. Уселись за стол и приступили к делу.

— Мы должны оформить нашу договоренность документально, — предупредил друзей Брынза, и физиономия его расплылась в улыбке.

Никто не возражал, но Беляк попросил рассказать вначале о задачах, стоящих перед ними. Брынза согласился.

Он начал пространно объяснять, что именно интересует гестапо, в частности, оберлейтенанта Бергера. Все сводилось к выявлению активных советских патриотов, ведущих борьбу против оккупантов. Брынза подчеркнул, что не все лица привлекают внимание Бергера. Те, например, которые только ругают гитлеровцев и этим ограничиваются, — а таких, по мнению самого Бергера, очень много, — его совершенно не интересуют. Они в данное время не опасны. А вот сведения о лицах, ведущих активную борьбу против нового порядка, господину Бергеру очень нужны.

— Если бы мы с вами, — полушепотом проговорил Брынза, — смогли добраться до тех, кто организовал взрыв гостиницы, Бергер нас озолотил бы.

Микулич заерзал на стуле. Беляк пристально посмотрел на него, и он успокоился.

Наибольший интерес для Бергера представляли, оказывается, партизаны. Они виновники всех бед.

— Вылавливать их не так уж и трудно, — сказал Брынза, — необходимо только желание и терпение.

— Почему же он их не ловит, если нетрудно? — с ухмылкой спросил Беляк. — Не из таких, видно, партизаны, в руки не даются. А?

Брынза сделал протестующий жест. Он относил партизан к числу трусов, способных лишь

прятаться по лесам, по норам.

— Они там, в лесу, с голоду подымают, — энергично жестикулируя, уверял Брынза, — и если бы не вожаки-коммунисты, их можно на кусок хлеба, как на приманку, всех выудить. Да, да... Я-то уж знаю. Пусть вот сюда в город они пожалуют, кишка тонка!...

— А вы думаете, тут их нет? — спросил Беляк, едва сдерживая смех. Ему захотелось посмотреть, какое будет выражение лица у Брынзы через несколько секунд.

— Что вы! Пх! — Брынза замахал руками.

— А за кого же вы нас принимаете — меня, моих друзей? — спросил Беляк и сделал знак Микуличу. Тот поднялся и встал у двери, опершись о косяк и заложив ногу за ногу.

— Как? Я что-то не понял?... — удивленно спросил Брынза.

Беляк повторил вопрос.

— Шутник вы, господин Беляк! — хихикнул Брынза. Он обвел всех взглядом, потер пухлой белой рукой лоб, и тут вдруг его маленькие глазки провалились куда-то вглубь и стали еще меньше.

— Руки вверх! — приказал Беляк подымаясь. — Обыщи его, Герасим.

Насмерть перепуганный Брынза поднял дрожащие руки.

Багров тщательно обшарил его карманы и поочередно передал Беляку: бельгийский пистолет, записную книжку со множеством занесенных в нее адресов и фамилий, исписанный лист бумаги, ключи от магазина.

Беляк перелистал книжку и покачал головой, затем прочел содержание бумажки. В ней шла речь о женщине — жительнице города, которую якобы навещают подозрительные люди.

Брынзу допросили. Он рассказал, что на службу к гестаповцам пошел добровольно, сразу же после прихода оккупантов в город, и работал у них под кличкой «Викинг», что выдал много советских людей, получив за это кучу денег и подарков.

Беляк решил вернуться к вопросу, который поднял вчера, в начале беседы с Брынзой. Он считал, что сегодня Брынза должен сказать правду, так как заинтересован в своем спасении.

— Кто тебя подослал ко мне? — обратился он к Брынзе.

— Никто... никто... по собственной инициативе... — залепетал тот.

— Кто знает о твоих сношениях с нами?

— Никто... никто...

— Как никто? — спросил Микулич, угрожающе надвигаясь на предателя. — А откуда тебе стало известно, что Беляк работает в управе?

Брынза потер рукой лоб, силясь вспомнить, и выпалил:

— Так мне рассказал об этом помощник господина... э... товарища Беляка, фининспектор Прохорчук... Он частенько бывает в магазине... по части налога.

Прохорчук действительно работал вместе с Беляком. Беляк посмотрел на Микулича и продолжал допрос:

— А что Прохорчук мог рассказать обо мне?

— Он говорил, что при желании вы можете налог уменьшить.

— Кому ты сказал, что отправился ко мне?

— Никому... ни одной душе.

Беляк попросил Микулича дать ручку, чернила и лист бумаги. Все это было приготовлено уже заранее и тотчас появилось на столе.

— Пиши то, что я буду диктовать, — приказал Беляк. — Ясно?

— Ничего мне не ясно... Я все рассказал... Писать ничего не буду, — запротестовал было Брынза.

— Будешь! — прикрикнул Багров. — Пиши!

Брынза взял ручку, обмакнул ее в чернила и вдруг завизжал во весь голос:

— Не могу!... Не буду... Я все рассказал... Вы отвечать будете... Я жить хочу...

— Пиши, не доводи до зла, — грозно предупредил Багров.

Лицо Брынзы покрылось испариной. Он снова обмакнул перо и начал писать под диктовку Беляка. Лицо его то бледнело, то краснело. Окончив писать, он взглянул на Беляка глазами,

налитыми животным страхом, и поставил внизу свою подпись.

— Не все, — покачал головой Беляк. — Тебя в гестапо больше знают как «Викинга». Напиши и это разбойничье слово. Вот так! Теперь давай сюда. Посмотрим, как выглядит твой диктант. — И он медленно прочел вслух:

«Господин обер-лейтенант Бергер! Мне стало не по себе. Уж больно много сделал я пакостей на земле, на которой родился, и просит она меня досрочно к себе. Совесть мучает меня. Тени погубленных мною безвинных людей преследуют меня по ночам и не дают покоя. Не хочу больше болтаться по свету. Мое последнее предупреждение — не верьте коменданту города майору Реуту. Я знаю много про него, но уношу все с собой в могилу. Он продает вас. Поверьте покойнику. Я не говорил о нем, опасаясь, что мне не поверят. Вот и все. До счастливого свидания на том свете. Надеюсь, что оно не за горами. Брынза (Викинг)».

— Как будто ничего, — заключил Беляк.

Письмо уложили в конверт, запечатали. Брынза написал адрес: «Обер-лейтенанту Бергеру. В собственные руки».

— А теперь пойдем в комиссионный магазин, — объявил Беляк. — Это ключи от него?

Брынза промямлил что-то, кивнув головой.

— Пойдешь посередине, между нами, — предупредил Багров, — и будем о чем-нибудь мирно разговаривать... А если что-нибудь взбредет тебе в голову, фантазия какая-нибудь, прощайся со своей душой. Понял? Пошли.

Наутро по городу поползли слухи, что директор комиссионного магазина покончил жизнь самоубийством. Его нашли повесившимся в магазине. На прилавке лежало письмо, адресованное обер-лейтенанту Бергеру.

6

Секретарь окружкома Пушкарев и начальник разведки Костров сидели в предбаннике в ожидании своей очереди. Жарко горела маленькая железная печурка. Когда порывы ветра на секунду приоткрывали узкую дощатую дверь предбанника, дым из печурки валил клубами, лез в глаза. Второй день стояла непогода, — опять хозяйничала вьюга, частый гость в этих краях.

Во второй комнате, то есть в самой бане, мылась группа партизан. Шум голосов, плеск воды, шутки и одобрительное побрякивание моющихся явственно слышались за бревенчатой стеной.

Сережа Дымников доказывал кому-то, что в лесу партизанам немецкие минометы не страшны.

— Да я не про то говорю, — возражал кто-то. — Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему. Я говорю, минометы страшны на передовой, на фронте, а ты ведь там не был.

— А тут тебе не фронт?

— Тут особая статья.

— Ну, это правильно, что особая, — согласился Сережка. — А мины я тоже видел. Мне довелось мост охранять, когда наши отходили. Наши обозы только на мост вкатились, а немцы давай мины пускать. Одна совсем рядом со мной упала. Дня три после этого ничего не слышал. Мины на фронте — это правильно...

— Вот видишь!... Про то я и говорю, — успокоился его собеседник.

Дымников пришел в лес, когда немцы были уже в городе. В качестве бойца истребительного батальона он вместе с другими прикрывал отход частей Красной армии и участвовал в подрыве моста. Сережа гордился тем, что до прихода в отряд был уже «обстрелян», первые дни важничал и в разговоре с молодыми партизанами бросал: «Ты еще, милок, порошу не нюхал, а уже болтаешь». На молодежь это производило впечатление, а старики посмеивались. Авторитет Сережи возрос еще больше после того, как они с комиссаром Добрыниным первыми открыли боевой счет партизанского отряда. На третий день пребывания в лесу комиссар в сопровождении Дымникова вышел на разведку к шоссе и

устроил засаду, в которую попали несколько вражеских мотоциклистов. Добрынин был вооружен своей неизменной «ижевкой», Сережа — малокалиберной винтовкой. Они убили четырех фашистов, одного взяли живьем и принесли с собой в лагерь три автомата, четыре пистолета, бинокль, несколько гранат. Это были первые трофеи партизан.

— Мойтесь побыстрее, ребята, — слышался за стеной голос Дымникова, — там же ожидают. — Вася! Ну я же тебя прошу, — молил кто-то тоненьким голоском, — потри мне спину, будь человеком!

— Отвяжись ты, пискун! И так хорош будешь, — отвечал спокойный густой бас.

— А хороша банька получилась, — обратился Пушкарев к Кострову, который сосредоточенно чинил свою зажигалку.

— Лучше нам и не надо, — отозвался Костров.

По лесным партизанским условиям баня действительно получилась хорошая. Построили ее по настоянию Пушкарева. Баня нужна была отряду до зарезу. Партизаны, ложась спать, снимали, как правило, только обувь. Раздеваться не позволяла тревожная обстановка, требовавшая повседневной, ежеминутной готовности. Белья сменного для всех не хватало. Летом и осенью в теплую погоду еще кое-как сушили на солнце. Другое дело зимой. Когда надо было отдавать единственную пару в стирку, приходилось надевать верхнее платье прямо на голое тело.

Был объявлен воскресник. В боевых условиях само это слово звучало как-то странно. Однако воскресник себя полностью оправдал. В нем приняли участие почти все партизаны, не занятые в этот день боевой работой. За день на пустом месте, у обрыва, возле небольшой речушки появилась просторная теплая баня, с паром, где сейчас с наслаждением мылись и плескались, точно дети, и бойцы и командиры.

И все же постройка бани дорого обошлась партизанам. Появление одного из главных, как говорил Пушкарев, «банных агрегатов» — каменного очага — было связано с героической смертью двух партизан: белоруса Толочко, младшего брата того, который возглавлял сейчас взвод, и татарина Набиулина — молодых, жизнерадостных ребят.

Восемь партизан взялись достать кирпич для кладки очага в бане. Кирпич надо было вывезти из школьного сарая в поселке, где стояли немцы. Партизаны соорудили вместительные волокуши, уложили на них брезент, чтобы не растерять груз, и вышли на «кирпичный промысел». Ходили в поселок парами по очереди. Когда одна пара с нагруженной волокушей возвращалась в лес, на смену ей отправлялась другая к сараю. Сходили все по одному разу, а когда Толочко и Набиулин пошли вторично, их обнаружили. Гитлеровцы окружили сарай и предложили партизанам сдаться. Толочко и Набиулин заперлись изнутри, залегли, открыли огонь и уложили трех солдат. Фашисты рассвирепели и начали обстреливать сарай, потом облили его бензином и подожгли. Они надеялись, что теперь уж партизаны сдадутся, но Толочко и Набиулин предпочли смерть. Продолжая отстреливаться, патриоты запели «Интернационал». Они пели до тех пор, пока пылающая крыша не рухнула и не похоронила их под собой.

Сейчас, сидя в теплом предбаннике и прислушиваясь к веселым голосам за стеной, Пушкарев невольно вспомнил о погибших и тяжело вздохнул.

Из бани стали выходить помывшиеся, распаренные партизаны.

— А на дворе-то что делается, матушки мои!...

— Завертывайся поплотней, а то как бы насморк не поймать!

— Это черт с богом драку затеяли. У них тоже война.

Дымников выскочил в предбанник последним и доложил:

— Печку для вас раздул на славу и пару подбавил.

— Спасибо, Сережа, — сказал, поднимаясь, Пушкарев. — Пойдем, Георгий Владимирович, косточки попарим.

Перед вечером Усман Рузметов в своей землянке инструктировал партизан, отправлявшихся на железную дорогу и в села, занятые немцами. Подрывникам предстояло произвести взрывы на железной дороге одновременно в шести точках. Рузметов проверил заготовленные

подрывниками мины, взрыватели, запалы. В это время вошел посыльный.

— Товарищ младший лейтенант! В штабную требуют, — доложил он.

— Ну, все, — сказал Рузметов подрывникам. — В вашем распоряжении час. Через час, чтобы ни одного из вас в лагере не было. Как возвратитесь, прямо ко мне. Счастливо! — Он отпустил людей. — Кто меня требует? — спросил он посыльного, убирая со стола карту и складывая ее в полевую сумку.

— Капитан.

Оправив стеганку, потуже затянув поясной ремень и повесив автомат на шею, Рузметов вышел вместе с посыльным. Еще не дойдя до штабной землянки, он услышал громкий голос Зарубина. Посыльный сказал, понизив голос:

— Дает жизни капитан. Там один сволочуга отыскался из вашего взвода.

Рузметов прибавил шагу.

Землянка была полна народу. Тут были Пушкарев, Добрынин, Костров, дед Макуха и еще несколько партизан. Зарубин отчитывал бойца из взвода Рузметова — подрывника Редькина. Это был высокий, длиннорукий человек тридцати лет, с острым скуластым лицом, с редкими рыжеватыми волосами, зачесанными назад. Во взводе его почему-то недолюбливали, да и сам Рузметов не питал к нему симпатии, хотя причин к этому как будто и не было. Редькин исправно нес службу, ходил, как и остальные, на задания, но с товарищами не дружил и держался всегда обособленно. Рузметов объяснял это его угрюмым характером.

— Вот, товарищ командир взвода, — резко сказал Рузметову Зарубин, — полюбуйтесь своими людьми. — И, глядя с холодным презрением на стоявшего перед ним Редькина, добавил: — Такие бойцы нам не нужны! Ты опозорил имя и честь партизана! Доживем до конца войны, судить тебя будем.

Редькин стоял ссутулившись и с безразличным видом смотрел в маленькое окошко землянки. Можно было подумать, что речь идет о ком-то другом, а он лишь является свидетелем всего происходящего.

— Иди! — сказал Зарубин и проводил Редькина негодующим взглядом.

— Никак не предполагал, что среди нас может оказаться такой подлец, — с сердцем произнес он, когда дверь закрылась за Редькиным. — Вот что значит беспечность и благодушие. Думаем, что одного названия — «партизан» — достаточно для того, чтобы верить человеку. Для нас это серьезный урок, товарищ Рузметов. Сделайте для себя вывод. У меня к вам до этого не было претензий, хочу, чтобы и дальше так было.

— Товарищ капитан, — заговорил Рузметов, — я ведь ничего не знаю.

— Вот и плохо, что вы не знаете, — подхватил Зарубин. — В том-то и беда, что мы не знаем того, что нам следует знать. Тут вина и моя и комиссара, но в первую очередь — ваша. Непосредственный начальник должен знать своих людей не только по именам и фамилиям. Он обязан знать, чем живут, чем дышат его люди, как проводят свободное время, с кем дружат, на что каждый из них способен. А вы — командир взвода и не знаете, какие гадости творит ваш Редькин. Да я, когда командовал взводом, даже лошадей знал по кличкам, знал, какая из них хромает, у какой набита холка. А вы людей своих не изучили. Спасибо товарищу Макухе. Хоть один человек бдительный нашелся. Немедленно же отправьте Редькина на северную заставу и пусть там сидит бессменно.

Рузметов молчал, — он все еще терялся в догадках, какой проступок мог совершить этот долговязый Редькин.

Дело началось, как это часто бывает, с мелочей. Старик Макуха, страдавший бессонницей, заметил, что по ночам, когда все в землянке спят, Редькин тайком грызет сахар, которого уже очень давно никто из партизан не видел. Так продолжалось две ночи. Это вызвало подозрение у деда Макухи, и он решил проследить за Редькиным. На третью ночь, когда все заснули, Макуха сделал вид, что тоже спит. Редькин встал, оделся и бесшумно покинул землянку. Макуха осторожно последовал за ним. Они шли в сторону от лагеря по дороге, затем по проторенному следу свернули в чащу. Но вот Редькин остановился и, опустившись на корточки, стал копать в снегу. Он что-то доставал из-под снега и прятал в карманы.

Макуха тихонько подкрался к увлеченному своим занятием Редькину и обнаружил, что тот возится с парашютным мешком. Тогда, сдернув с плеча автомат, Макуха скомандовал: «Руки вверх!»

Из допроса Редькина выяснилось, что мешок был выброшен на парашюте в ту ночь, когда отряд совершил налет на эшелон с молодежью, угоняемой в Германию. Редькин в операции не участвовал и слышал, как самолет несколько раз пролетел над расположением лагеря. Не заметив никаких сигналов, летчик пустил две ракеты.

По звуку мотора Редькин догадался, что самолет советский и прилетал он не напрасно. Редькин начал обшаривать все вокруг и вскоре нашел парашютный мешок. Он не сказал никому о находке, — решил сам воспользоваться ею.

Немного успокоившись, Зарубин вытряхнул на стол содержимое мешка. Там оказались медикаменты, свертки газет, пачки табака, запалы и взрыватели, патроны к автоматам, а на самом дне небольшой конверт на имя капитана Кострова и в нем маленькая зашифрованная записка.

Всех охватила радость.

— Значит, кто-то из наших посланцев добрался до командования и выполнил задачу, — сказал Пушкарев и, взяв в руки листок, испещренный двумя рядами цифр, стал вертеть его в руках.

— В этом сомнения быть не может, — уверенно заметил Зарубин. — Если бы груз предназначался не нам, то в нем не было бы этого конверта.

Шифром владел только начальник разведки Костров. Он немедленно удалился в пустую окружкомовскую землянку и, не обращая внимания на холод, стоявший там, принялся расшифровывать письмо.

Уже через несколько минут он убедился, что с расшифровкой что-то не получается: то ли он забыл ключ, то ли в тексте письма что-то было спутано. Он применял разные варианты, переставляя цифры, пытался разобраться по смыслу, но безуспешно. Когда кто-либо заходил к нему с вопросом, начальник разведки только отмахивался и не говорил ни слова. Он отказался от обеда и лишь приказал растопить в землянке печь.

— Вот не везет, так не везет, — досадовал Пушкарев. — Хоть волосы на себе рви.

— Побереги волосы! — шутил Добрынин. — У тебя их и так на полторы драки осталось.

Хотя комиссар и не показывал виду, но он тоже нервничал и расхаживал по землянке, покусывая ус.

В самом деле, обидно получалось. Ведь важнее всего было не содержимое мешка, а именно содержание коротенькой записки, не поддававшейся расшифровке: возможно, там шла речь об условиях дальнейшей связи или было какое-нибудь предупреждение.

Когда день подходил к концу, в штабную землянку быстро вошел Костров.

— Вот пока все, что мог разобрать, — объявил он. — Мешков сброшено два. Надо искать второй. Это какая-то шарада, а не депеша. У меня уже мозги набекрень.

Зарубин немедленно приказал поднять всех людей и разослать на поиски.

— Пойдемте все, — обратился он к Пушкареву и Добрынину. Те не возражали.

— Голубчик, Георгий Владимирович, — просительно сказал Пушкарев Кострову, — а вы уж поломайте голову еще... Вдруг еще пара словечек прояснится, — и, схватив автомат, он выбежал из землянки.

Костров вышел, набрал пригоршню снега, потер лоб и снова отправился в окружкомовскую землянку.

Поиски, закончившиеся поздно ночью, ничего не дали. Партизаны вернулись усталые, с пустыми руками.

— Что делает Костров? — спросил Зарубин, проходя мимо окружкомовской землянки, в которой мерцал тусклый огонек. — Давайте заглянем.

— По-прежнему мозгами ворочает, — сказал Добрынин.

Они вошли в землянку. Костров сидел за столом и дремал над злополучным письмом.

Рано утром, до восхода солнца, когда мороз особенно пробирает, на передовую заставу

пришел неизвестный человек в лохмотьях, худой, обросший, почти разутый. Он потребовал, чтобы его отвели к самому большому начальнику.

На заставе на всякий случай обыскали его, а потом привели к Зарубину. Человек рассказал, что недалеко от своей деревни, в лесу на сосне, он обнаружил парашют с грузом, снял его и спрятал.

— Видать, для вас это гостинец, — спокойно заключил он.

— Далеко отсюда? — оживился Зарубин.

— Верст пять, не боле...

— А как ты нас нашел?

Крестьянин ухмыльнулся, шмыгнул носом, утер его рукой и ответил:

— Мы тутошные, знаем про вас.

— Сам-то ты кто? — вмешался в разговор Пушкарев.

— Колхозник я был, из колхоза «Верный путь», а сейчас так, никто, пришей-пристебай.

— А почему ты не партизанишь?

Крестьянин задумался на мгновение, потоптался на месте, потрогал рукой коротко стриженную бороденку.

— Не с руки мне, товарищ, восьмой я в доме. Пятеро детей, а старшему двенадцать, старик со старухой... Так что и рад бы в рай, да грехи не пускают...

— А жена?

— Угнали куда-то... идолы!... Да вот вас я знаю, — оживился мужик, кивая на Пушкарева.

— Фамилии не знаю, а звать знаю как: Иван Данилович.

— Откуда же ты меня знаешь? — поинтересовался Пушкарев.

— А вы у нас в деревне собрание проводили... насчет танковой колонны...

Гостя накормили, обули в новые валенки, Добрынин отдал ему свой пиджак. Наделили его махоркой и с группой конных партизан отправили к месту, где был спрятан парашют.

Возвратились ребята под вечер с тяжелым мешком. В нем были сухари, сахар, соль, табак, спички, белая мука и такой же, как и в прошлый раз, небольшой конверт.

— Ну, Георгий Владимирович, не осрамись, постарайся, дорогой, — необыкновенно ласково попросил Пушкарев. — А где же этот мужичок? — спохватился он вдруг.

Кто-то из партизан сказал, что крестьянин, доведя их до места, распрощался и ушел.

— Вот это да! Это не нашему Редькину чета! Это человек с большой буквы! Напрасно отпустили. Надо было его основательно отблагодарить. А фамилию-то хоть узнали?

— Узнали, товарищ Пушкарев. Сурко его фамилия. И где живет, знаем.

— Ну, хорошо, — успокоился Пушкарев. — Таких людей забывать нельзя.

В этот день настроение у всех было приподнятое. Но больше всех радовался и одновременно тревожился Пушкарев. На его ответственности лежало не только руководство отрядом Зарубина. Ему была поручена организация подпольной работы во всех смежных районах, и он, пожалуй, особенно остро ощущал отсутствие связи с Большой землей. С нетерпением ожидая результатов расшифровки, Пушкарев беспокойно прохаживался по лагерю, от штабной землянки до окружкомовской.

Он ясно представлял себе, что даст отряду и окружкому связь со своими. Во-первых, сразу станет ясным положение на фронтах; во-вторых, он получит новые указания Центрального Комитета партии; в-третьих, через Большую землю, возможно, удастся наладить контакт с другими партизанскими отрядами; в-четвертых, можно будет организовать прием самолета, осуществить эвакуацию раненых, инвалидов, детей, вывезти партийные документы и, наконец, удастся регулярно сообщать командованию разведывательные данные, добываемые партизанами.

«Вот когда мы развернемся во всю ширь. Держись только», — проговорил он, шагая по протоптанной лагерной тропке.

— Ты чего, Данилыч, бормочешь?

Пушкарев невольно вздрогнул. Перед ним стоял дед Макуха, маленький, сухонький, с седыми волосами, со светлыми, какими-то прозрачными глазами. На губах старика, как

всегда, играла озорная улыбка.

— А ты, хитрюга, подслушиваешь? — притворно сердитым тоном сказал Пушкарев.

Макуха, подмигнув, беззвучно рассмеялся и помотал головой.

— Ой, и суматошный ты, Данилыч. Чего зря бегаешь?

— Ладно! Давай лучше закурим, — предложил Пушкарев и, обняв старика за плечи, повел к лежащему в сторонке свежесрубленному дереву.

Табак секретарь окружка носил в масленке с двумя горлышками. И все знали, что в одном отделении хранилась махорка, в другом — табак. Пушкарев подал Макухе тоненький листок рисовой бумаги. Старик кашлянул и многозначительно посмотрел на секретаря. Тот отвинтил одну из крышек масленки и насыпал Макухе и себе легкого, отливающего желтизной табака.

— По случаю сегодняшнего дня, — пояснил Пушкарев. — Есть возможность пополнить неприкосновенный запас.

— Понятно, — заметил Макуха.

В это время из окружкомовской землянки выскочил без шапки и ватника капитан Костров. Его густые русые волосы были всклокочены, он махал бумажкой и бежал в «штабную».

— Георгий Владимирович! — Пушкарев вскочил с места.

— Сюда! Сюда! За мной! — откликнулся тот.

Пушкарев поспешил за ним.

— Оказывается, не я виноват, — объявил запыхавшийся Костров. — В том письме и в самом деле шифр был перепутан. Слушайте: «Последний четверг января принимайте на сброс человека и шесть мешков грузов. Время двадцать три. Сигналы пять костров конвертом».

Воцарилось молчание. Все взволнованно глядели друг на друга.

— Да ведь сегодня последний четверг, — вспомнил Зарубин.

Лагерь всполошился. Через несколько минут не было в отряде человека, который не знал бы о том, что сегодня с Большой земли прилетит самолет.

Все были радостно возбуждены, гадали, спорили. Высказывались различные предположения. Кто выбросится с парашютом? Что окажется в шести мешках? Не изменится ли погода? Какой прилетит самолет?

— Шесть мешков и человек — это не шутка, — рассуждал дед Макуха. — Должно, большой самолет пришлют.

— Да, «утенок» столько не поднимет, — соглашались партизаны.

В пять часов вечера на поляне, посередине лагеря, секретарь парторганизации отряда открыл объединенное партийно-комсомольское собрание и предоставил слово Добрынину.

Комиссар рассказал о преступлении партизана Редькина и о поступке колхозника Сурко.

— Вот вам два человека, — говорил он. — Один живет вместе с нами в лесу, носит оружие и честное имя народного мстителя, другой прямого отношения к нам не имеет, связан по рукам и ногам семьей, обременен заботой о куске хлеба, и ему, голодному, разутому, интересы дела оказались дороже, чем члену нашего боевого коллектива. Давайте поговорим о Редькине и сделаем выводы...

Собрание сурово отнеслось к поступку Редькина.

— Сорную траву с поля вон. Предлагаю судить партизанским трибуналом, — внес предложение коммунист Снежко.

— Это волк в овечьей шкуре. Что с ним делать? Не можем мы посадить его под арест и держать. Нужна охрана. Да и кормить его задаром нет никакого смысла. Я за то, чтобы расстрелять, — закончил свое выступление Сережа Дымников.

Его поддержали еще несколько выступавших.

Никто не находил оправдания поступку Редькина, никто не смягчил его вины.

Слово взял командир отряда Зарубин. Он сказал, что мог бы без суда и следствия расстрелять вора — Редькина, но не поступил так потому, что не потерял еще веры в его исправление.

— О нем, о Редькине, кроме этого случая, плохого ничего сказать нельзя...

Голоса партизан прервали Зарубина:

— И хорошего тоже нечего сказать. Ни рыба ни мясо...

— Чего с ним церемониться, гнать его из отряда...

Зарубин поднял руку. Все смолкли.

— Я счел возможным отправить его на северную заставу, — продолжал он, — пусть там посидит с месяц бесшумно.

Потом выступил дед Макуха. Он был за то, чтобы не расстреливать Редькина, а назначить его в команду заготовителей.

— Умел красть отрядное добро, пусть теперь узнает, как его доставать по крохе. А расстрелять никогда не поздно.

— Бывает и поздновато, — бросил кто-то.

Последним говорил секретарь партийной организации, командир взвода Бойко. Он призвал коммунистов повысить бдительность, дисциплину и выразил уверенность, что случай с Редькиным, позорящий отряд, исключение и подобных ему не будет.

Тотчас после окончания собрания раздался голос командира взвода Селифонова:

— Кто выделен на встречу самолета, становись! Пойдем дрова готовить.

7

Встречать самолет Зарубин вывел половину отряда, — он боялся растерять груз. Людей расставил в радиусе двух километров, учитывая возможность сноса парашютов ветром.

«Хотя сегодня этого не должно приключиться, — успокаивал Зарубин сам себя. — Одно дело бросить груз на авось, другое — когда есть сигналы. Разница большая».

Зарубин без усталости бродил по поляне, заметенной снегом, проверял, сухие ли заготовили дрова, есть ли спички, бензин. Добрынин лежал на снегу, поглядывая на командира, и вспоминал тот день, когда он впервые встретился с Зарубиным. Это произошло за неделю до прихода оккупантов в город. К этому времени Добрынин уже вступил в должность комиссара отряда, тогда еще фактически не существовавшего. Было сколочено лишь небольшое ядро из тридцати человек.

В этот день Добрынина и Пушкарева вызвали в горком и объявили, что утвержденный командиром отряда работник Осоавиахима во время бомбежки ранен и почти в безнадежном состоянии эвакуирован.

Секретарь горкома, видя, что его сообщение встревожило Пушкарева и Добрынина, поспешил их успокоить:

— Ничего, не отчаивайтесь. Нас вот бригадный комиссар выручить хочет. Познакомьтесь. — И он представил им пожилого высокого человека с гладко выбритой головой — члена военного совета армии.

— Раз дал слово, значит, выручу, — подтвердил бригадный комиссар. — Хорошая кандидатура есть. Капитан, пограничник, боевой, проверенный, дрался с врагом и знает, как его колотить. Сейчас он сам здесь будет.

В дверь постучали. Высокий, стройный, затянутый ремнями, молодой капитан с орденом Красного Знамени на груди вошел в комнату. Это был Зарубин.

— Садитесь! — предложил член военного совета. — Говорил с вами начальник штаба?

— Так точно.

— Согласились?

— Согласился. Не вижу разницы, где бить фашистов: на фронте или у них в тылу. Я думаю, работы здесь будет не меньше.

— Ну, тогда знакомьтесь, — сказал бригадный комиссар, представляя капитана Пушкареву и Добрынину.

В этот день они втроем долго сидели в квартире у Пушкарева, обсуждая план действий. А вечером за чаем Зарубин рассказал своим новым товарищам о себе.

Он участвовал в боях на границе с первых же часов после нападения гитлеровцев. А когда

подошли армейские части и пограничников отвели в тыл, он заехал домой, где оставил жену и мать. Вместо большого красивого дома, заселенного семьями пограничников, он нашел лишь груды развалин. Артиллерийским огнем дом был разнесен в куски, и осталось неизвестным, кто погиб под развалинами. Ни матери, ни жены Зарубин не нашел.

— Погибли, видно, — тихо сказал Зарубин, и глаза его потемнели. — Женщины из соседних домов сказали мне, будто никто не успел спастись.

— Раньше времени не горюйте и не хороните их, — сказал Пушкарев. — На войне всякое бывает.

В городе Зарубин провел сутки. Ему представили Кострова, Бойко, и с ними он на другой день отправился в лес. Надо было спешно закладывать продовольственные базы, выводить лошадей, принимать различное имущество, вооружение. Добрынин до прихода гитлеровцев появлялся в городе еще не раз, а Зарубин неизменно находился в лесу, осваиваясь с новой обстановкой, изучая местность.

«А теперь вот друзья, водой не разольешь, — подумал Добрынин, — хоть ему тридцать, а мне пятьдесят».

Разница в годах не мешала дружбе. Их сближала не только взаимная симпатия, не только то, что они делили пополам все тяготы суровой партизанской жизни, радости побед, горечь поражений и потерь. Дружбе этой, по-видимому, помогала и противоположность характеров командира и комиссара. Они как бы дополняли друг друга. Зарубину не хватало еще жизненного опыта, спокойствия, выдержки — всего того, чем отличался Добрынин. Капитан был вспыльчив и резок, иногда даже без достаточных оснований. Зато Добрынин мог позаимствовать у него богатые знания военного дела, поучиться военной четкости, дисциплинированности, высокой требовательности к себе и подчиненным, умению организовать и воодушевить людей.

Зарубин подошел к комиссару и стал хворостинкой сбивать снег со своих валенок.

— Не подведет нас авиация? — обратился он к Добрынину.

— Не думаю. Да и причин нет к этому. Посмотри, какое небо! — Зарубин запрокинул голову. Все небо было усыпано яркими звездами.

— Как будто все в порядке. — Он посмотрел на часы. — А где же Иван Данилович?

Добрынин рассмеялся.

— Где-нибудь в лесу бродит. И Кострова с собой потащил. Он боится, что груз не попадет на поляну, вот и сторожит. Что, ты его не знаешь?

— Неугомонный человек. Откуда у него столько энергии берется, я просто удивляюсь. Вчера мне говорит вечером, — Зарубин опустил на корточки возле комиссара, — надо побывать во всех ближайших населенных пунктах и выяснить точно, сколько там мужчин призывного возраста. «Зачем?» — спрашиваю. «Проведем, — говорит, — мобилизацию». Я посмеялся, а потом задумался. Ведь и на самом деле, почему не провести? Представляешь себе, как это будет выглядеть — в тылу врага происходит мобилизация!

— Со мной он тоже беседовал по этому поводу, — сказал Добрынин. — Затея, конечно, не легкая, но очень важная. Надо будет дать в его распоряжение нескольких коммунистов и комсомольцев.

— Подожди-ка, Федор Власович! — Зарубин поднялся и прислушался.

— Летит, летит...

— Наш, по звуку чую, — раздались голоса.

Добрынин поднялся. Уже не надо было напрягать слух, чтобы услышать рокот мотора, доносящийся с северо-востока.

Самолет появился над лесом на пятнадцать минут раньше срока и, когда вспыхнули пять костров, разложенных в форме конверта, снизился, прошел над поляной и сделал два захода, чтобы сбросить груз. Мешки с парашютами опустились удачно, на поляну. Потом самолет сделал еще два круга, поднялся выше, выпустил ракету, и тотчас же за ней выбросился парашютист. Он приземлился у самого края поляны и забарахтался в снегу, путаясь в стропях.

Встать парашютисту не довелось. Десятки рук подняли его вместе с парашютом и с радостными криками потащили по поляне, освещенной кострами. Партизаны горячо обнимали первого гостя с Большой земли, тискали его, жали ему руки, не спрашивая ни фамилии, ни имени. Знакомиться начали позже.

Парашютист назвался Семеном Топорковым. Это был белокурый паренек, маленький, щупленький, с лицом, густо усыпанным веснушками. Когда он снял с себя меховой комбинезон, то оказался совсем еще подростком.

За ночь Топорков перебивал почти во всех землянках, начиная со штабной. Уже под утро его затащили в землянку взвода Бойко. В нее никогда не набивалось столько народу.

Топорков, устало моргая, сидел у края стола. Через плечо его был перекинут широкий ремень, на котором держалась портативная радиостанция в чехле.

А народ в землянку лез и лез.

— Да пустите же! — просился кто-то у входа.

— Дайте хоть глазком взглянуть, говорят, совсем дитенок...

На Топоркова сыпались самые различные вопросы: дошел ли немец до Москвы и как его встретили, кто каким фронтом командует, знают ли там, в нашем тылу, о делах партизан, какие города бомбит противник, как обстоит дело с продовольствием, работает ли Большой театр, продолжается ли стройка метро и прочее и прочее.

У Топоркова смежались веки. С грустной детской улыбкой он отвечал на все вопросы.

— Замучили хлопца, — сжалился наконец кто-то. — Довольно! Завтра доскажет остальное, никуда он не денется.

Через минуту радист уже спал сидя, держа в руках недокуренную папиросу. Партизаны бережно уложили его на нары.

— Замаялся, бедняга! Не чувствует даже...

— Наглотался нашего воздуха лесного... с непривычки.

— Да мы его и покормить-то забыли! Вот идола непутевые...

— Ничего, переживет... Завтра двойную порцию получит...

— Теперь весь день храпака давать будет.

А в землянке заготовительной группы шла разборка груза. В присутствии комиссара Добрынина командир группы Спивак сортировал груз и составлял опись. В мешках оказались крупа, сухари, соль, концентраты, консервы, мыло, маскировочные халаты, белье, ракеты с ракетницами. И в довершение ко всему — пять литров водки в маленьких бутылках.

— Это мерзавчики, — пояснил дед Макуха. — Так их раньше называли. Кто-то по-хозяйски подошел к делу... И до чего же аккуратненькие! Тут в каждом ровнехонько сто двадцать пять граммов.

— Ладно, ладно, — буркнул Добрынин. — Довольно любоваться. Клади в сторону.

В девять часов, когда все жильцы штабной землянки, уснувшие около шести утра, еще спали, Зарубина кто-то толкнул в бок. Не двигаясь, командир приоткрыл один глаз. Перед ним стоял радист Топорков в большом авиационном шлеме.

— Две радиограммы принял, — доложил он тихо. — Если у вас что будет — подготовьте... сеанс в одиннадцать.

Сон как рукой сняло. Зарубин быстро вскочил.

«Когда же он успел выспаться? — мелькнуло у него в голове. — Вот молодчина!»

Топорков подал командиру два маленьких листочка из блокнота, убористо исписанных ровным, круглым, ученическим почерком. Зарубин быстро пробежал их глазами и крикнул:

— Эй, товарищи, а ну, поднимайтесь! Царство небесное проспите!...

Пушкарева, Добрынина, Кострова как ветром сдуло с топчанов.

— Слушайте телеграммы! Первая: «Поздравляем установлением двусторонней регулярной связи точка Гордимся вашей отвагой преданностью родине запятая желаем успехов боевой работе точка Сообщите чем остро нуждаетесь точка». Вторая: «Найдите в вашем городе майора Шеффера запятая прибывшего фронта запятая при возможности выкрадите его точка

Сообщите количество боевых транспортных самолетов аэродрома южной стороне города точка».

Пушкарев поднялся, взял из рук Зарубина листки, прочел еще раз про себя и, насупив брови, взволнованно заходил по землянке.

— Мне разрешите идти? — спросил Топорков.

Зарубин, пристально посмотрел на радиста и сказал:

— Нет, не торопись. Садись-ка вот сюда, поговорим немного.

Топорков сел рядом с командиром отряда.

— Сколько лет тебе? — поинтересовался Зарубин.

— Через месяц будет восемнадцать...

— Так, — сказал Зарубин и прищурил один глаз. — Комсомолец?

Топорков кивнул головой.

— Откуда сам?

— Из Тулы.

— Родители есть?

По лицу паренька пробежала тень. Он помедлил немного с ответом, потер ладонями колени, потом стал рассказывать. Он родился в семье врача. Отец — хирург, с первых дней ушел на фронт и погиб под Черниговом. Мать — тоже врач, работает сейчас в госпитале. Младшая сестра, Надя, живет в Свердловске, у тетки. Сам он не успел до войны закончить десятилетку. Работать в тылу противника пошел добровольно. Окончил трехмесячные курсы радистов и вот сейчас переброшен сюда...

Окончив свой короткий рассказ, Топорков посмотрел на всех, как бы ожидая новых вопросов, но их не было.

— Доволен, что попал к нам? — спросил Добрынин.

Паренек пожал плечами и неопределенно сказал:

— Посмотрим. — И, оживившись, добавил: — Я вам ежедневно в начале первого буду давать сводку Совинформбюро, могу даже в двух-трех экземплярах, я специально прихватил копировальной бумаги.

— Это будет очень хорошо, — сказал Зарубин.

— Потом можно подумать насчет радиофикации лагеря... Я посмотрел... Это несложно, только хорошо бы наушники достать.

— Обязательно достанем, — с улыбкой обещал Зарубин. — Из-под земли выроем, а достанем... — И, немного подумав, обратился к Пушкареву: — Давайте его поселим в окружкомовской землянке. А? Ему никто не должен мешать, да и вообще рация — святая святых.

— Правильно, товарищ капитан, — бодро подтвердил Топорков.

— Приветствую, — сказал Пушкарев.

— И дадим ему для охраны Дымникова. Пусть живут вместе... — продолжал Зарубин. — Как ты смотришь, Федор Власович?

— Не возражаю; — ответил Добрынин.

Когда радист вышел, Пушкарев еще раз прочел обе радиограммы, постоял в раздумье и проговорил:

— Теперь мы заживем по-иному. Определенно, по-иному. А ты говорил, Валентин Константинович...

— Что я говорил? — спросил удивленный Зарубин.

Пушкарев нахмурился и махнул рукой.

— Ничего ты не говорил. Это я заговорился! Дай вот я тебя лучше поцелую, — неожиданно предложил он, облапил изумленного Зарубина, крепко поцеловал его в губы и, махнув рукой, быстро вышел из землянки.

Сцена эта всех взволновала. Все сидели несколько минут в молчании...

— Горячее у него сердце, — тихо сказал Добрынин. — Только работой и живет... хочет заглушить свое горе. Понаблюдайте: он никак не может оставаться один, все стремится быть

на людях. Тяжко ему одному, а ведь молчит.

— А какое у него горе? — поинтересовался Костров.

— Я тоже ничего не слышал, — удивился Зарубин. — Он никогда не говорил сам, и никто мне не рассказывал.

— Никто и не знает: только я да он. Да и мне не он сказал, а секретарь горкома, в последний день перед отъездом. Ведь у него жена и сын сгорели.

— Как сгорели? — переспросил Костров.

— Так сгорели... в вагоне, под Карачевом. Поезд шел, на ходу его подожгли самолеты, и полсостава сгорело...

— И это точно установлено? — взволнованно спросил Костров.

— Ну, а как же! Опознали их, похоронили...

Зарубин, казалось, не слушал; он стоял спиной к Добрынину и Кострову и пристально смотрел в маленькое, поднятое вровень с землей окошко землянки. Как много за войну ему довелось видеть чужого горя!... Как будто можно было уже и привыкнуть к этому. Но нет, каждый новый печальный случай неизменно растревал и его боль, заставляя его страдать вместе с теми, кого постигло горе.

...В середине дня, когда Зарубин и Костров подготовились уже к выходу на операцию, в землянку ворвался, как всегда шумный и энергичный, Пушкарев. За ним следовал Багров.

— На вот, читай, — сказал Пушкарев и подал Зарубину клочок бумаги.

Письмо было адресовано Пушкареву, и писал его Беляк. Командир отряда прочел:

«С такими людьми, как податель этой записки и его тесть, газету мы организуем. Прошу выслушать его и наметить план действий. Одному мне не под силу. Жду указаний. Дмитрий».

— Садись, товарищ Багров, и рассказывай, — дружелюбно предложил Зарубин и взглянул на часы.

Багров попробовал рукой прочность топчана, уселся, громко откашлялся и начал рассказ. Первым делом он сообщил о расправе с предателем Брынзой.

— Это надо же додуматься! — слегка улынувшись, сказал Костров. — Повесился!

— Ай да Беляк! — похвалил Зарубин.

Потом Багров рассказал о типографии. Здесь дело обстояло так: для печатания газеты в одну четверть листа нужна была или тигельная печатная машина, именуемая «американкой», или же простой тискальный станок «катушка». Кроме того, требовалось около тридцати килограммов текстового шрифта, восемьдесят килограммов заголовочного, килограммов пять-шесть пробельного типографского материала, четыре кассы для шрифта, краска, валик, мраморная доска, ну и, конечно, бумага.

Зарубин посмотрел на Пушкарева, сдержал улыбку и почесал затылок. Добрынин крикнул.

— Ладно, не крихти, — сердито буркнул Пушкарев. — МалOVERы!...

— Тестю моему известно, — продолжал Багров, — что в одном из районных центров в подвале бывшего здания типографии есть станок. Он говорит, что этот станок нас вполне устроит. А все другое, кроме бумаги, берется достать Беляк.

Все оживились.

— Вот это уже конкретно и интересно, — сказал Зарубин.

— То-то и оно! — нравоучительно заметил Пушкарев.

— Значит, станок этот подойдет? — спросил Добрынин.

— Тесть видел его еще до войны и говорит, что подойдет, — ответил Багров.

— Надо его оттуда выцарапать во что бы то ни стало, — стукнув кулаком по столу, заявил Пушкарев. — Где этот райцентр? Ну-ка, дай твою карту, Валентин Константинович. Станок этот тяжел?

— Пустыки, килограммов шестьдесят. Я могу на горбу притащить, — серьезно сказал Багров. Зарубин разложил карту. Все сгрудились у стола. Костров быстро нашел нужный пункт и курвиметром провел от него извилистую линию до лагеря. Получилось двадцать восемь километров.

— Расстояние небольшое, — поглаживая лоб, заметил Зарубин.

— Поручите мне это дело, я его обтяпаю, — предложил Багров.

— Возьмитесь-ка вы, товарищ Костров, за эту операцию, — как бы не слыша предложения Багрова, сказал Зарубин. — Нехорошо будет, если повторится та же история, что была с кирпичом. Станок надо взять, но так, чтобы никого не потерять. Предварительно тщательно разведайте подходы, выясните, сколько солдат там, какая охрана. Включите в это Рузметова, а Багров займется другим...

— Есть! — коротко ответил Костров и наклонил голову.

— А насчет бумаги я попрошу Большую землю. Бумага у меня будет, — решительно заявил Пушкарев.

Когда обсуждение вопроса закончилось, Зарубин подошел к Багрову и подал ему руку.

— Спасибо от всего отряда, — сказал он. — Ты сделал большое дело.

Багров взволновался. Глаза его вдруг заморгали, на скулах задвигались желваки. Он стоял молча, глубоко дыша.

Немного отдохнув, Багров снова встал на лыжи и пошел в леспромхоз. Надо было передать Анастасии Васильевне Солоненко сводку Совинформбюро и задание для Беляка — собрать данные об аэродроме и заняться розысками майора Шеффера.

8

Уже который день Беляк безуспешно ломал голову над вопросом: как отыскать майора Шеффера? Он понимал, что открыто проявить интерес к личности Шеффера рискованно. Под разными предлогами Беляк осторожно наводил о нем справки у сослуживцев по управе. Никто Шеффера не знал.

Но если не удавалось пока что найти майора, то вся остальная работа подпольной группы шла как будто успешно. Радиосвязь с Большой землей активизировала подполье. Родина, партия, фронт интересовались многим: положением в городе и окрестных районах; настроением населения; данными о проходящих к фронту немецких воинских частях; подготовкой населения деревень к весне; количеством людей, угнанных на принудительные работы в Германию. Все это надо было выяснять, проверять, обрабатывать и пересылать в лес.

Подпольщики работали самоотверженно. Подпольная группа постепенно разрасталась. Большинство патриотов не знало Беляка, но он знал всех. Знал девушку, работавшую официанткой на немецком аэродроме, учителя, надзирателя тюрьмы, телефонистку городской центральной станции, работника паспортного стола, старосту леспромхоза, часовых дел мастера и многих других. Ему через Микулича и Найденова, с которыми он часто встречался, было хорошо известно, как живет, как работает каждый подпольщик.

После долгих и упорных трудов целого коллектива разрешилась и «типографская проблема». Кострову и Рузметову удалось вывезти из райцентра станок. Как-то уже в сумерки староста леспромхоза Полищук пригнал в город восемнадцать саней с дровами для управы. Одни сани попали на кладбище, к Микуличу. В санях заваленный дровами лежал печатный станок. Сам Полищук об этом не знал. Укладывал станок Багров, он же и привез его к Микуличу.

Михаил Павлович Кудрин на другой день тщательно осмотрел станок и сказал: «Это то, что надо. Есть неисправности, но я починю».

По его указаниям Микулич и Найденов сколотили из фанеры четыре кассы для шрифтов, сделали верстатку, уголки, принесли даже шило для правки. Небольшую мраморную плиту, снятую с могилы, приспособили для растирания краски. Валик для наката принес Кудрин. Все это имущество Микулич и Найденов спрятали в надежное место.

Остановка была за бумагой, краской, шрифтами и пробельным материалом.

О бумаге хлопотал Пушкарев. На его просьбу Большая земля ответила, что выбросит нужное количество бумаги при первой же возможности. Но, невзирая на обещание, Пушкарев регулярно, через день, посылал в эфир короткие напоминания.

— У них там своих дел много, — говорил он, — чего доброго, забудут, упустят хорошую погоду.

А с краской, шрифтом и пробельным материалом дело обстояло хуже. Подпольщикам надо было самим искать выход из положения. Отряд им помочь не мог.

Правда, все необходимое можно было найти в достаточном количестве в типографии городской управы, но как это оттуда достать?

— Не пойдешь же просить займы у немцев, — шутил Кудрин.

Типография городской управы была заново создана оккупантами, все оборудование для нее завезли из Германии. Охранялась типография надежно, и находилась она в самом оживленном месте города — против комендатуры, так что налет на нее был невозможен.

Беляк, как сотрудник управы, мог под каким-нибудь благовидным предлогом проникнуть в типографию и посмотреть, что за народ там работает. Но этот вариант отклонили. Появление Беляка в типографии, к которой он не имел никакого отношения, будет замечено и может впоследствии навести гестапо на след.

Кудрин давно вышел на пенсию, и у него не было предложений для посещения типографии. Оставался Найденов. Решили послать его.

— Больше некого, Степаныч, — сказал Беляк. — Иди и просись на работу. Возьмут — хорошо, не возьмут — черт с ними! Важно, чтобы ты разведал, нет ли там знакомых.

Найденов сходил. Сверх ожиданий он был принят техноруком и даже представлен директору-немцу. Ему пообещали работу и попросили наведаться через месяц. Технорук записал на всякий случай домашний адрес Найденова. И этим все окончилось. Знакомых людей в типографии не оказалось. Разведка, по сути дела, ничего не дала.

Но тут опять выручил Кудрин. Он сказал, что экспедитором типографии, через руки которого проходят все выполняемые заказы, работает некий Працюк. Этого человека старик помнил еще по Минску, а потому и предложил «пощупать» его.

— Хитрая bestия, жулик, а трус, каких свет не видел, — характеризовал Кудрин Працюка.

Эта фамилия что-то напомнила Беляку.

— У него дочь есть? — спросил он.

— Вот этого не знаю, — ответил Кудрин. — Знакомство у нас было шапочное. Больше наслышан о нем, чем знал лично.

— В финансовом отделе управы на днях появилась девушка, тоже Працюк. Помощником фининспектора работает. Не его ли родня? — сказал Беляк.

— Возможно, — пожал плечами Кудрин.

На другой день Беляк установил, что восемнадцатилетняя Фаина Працюк, принятая с санкции Чернявского помощником инспектора, дочь экспедитора типографии Працюка.

План действий тотчас же возник в голове Беляка. Он в тот же день направил сообщение в отряд и попросил помощи. Через два дня пришел положительный ответ.

После этого Беляк представил заместителю бургомистра список финансовых работников управы, которые должны выехать в командировки по районам. Список был одобрен и утвержден. На другой день семь сотрудников, и в их числе Беляк, разъехались в различных направлениях. Фаина Працюк тоже отправилась в один из районных центров.

Два дня спустя, придя вечером с работы домой, экспедитор Працюк застал жену в слезах. Она подала ему письмо. Писала их единственная дочь Фаина. Она сообщала, что за деревней Клинки, где начинается лес, ее и возчика схватили партизаны и увезли в свой лагерь. Ее судьба зависит сейчас только от отца. Он должен взять в типографии все, что она перечисляет, и к вечеру 10 февраля доставить в условленное место. Ни в коем случае не позднее. Если же он вздумает показать это письмо кому-нибудь, то больше не увидит Фаину.

10 февраля ночью партизаны извлекли из заброшенного колодца два тяжелых, хорошо упакованных свертка. В ту же ночь свертки были переправлены в леспромхоз, а оттуда на кладбище, к Микуличу. В свертках, по-хозяйски обернутых мешковиной и тщательно увязанных шпагатом, оказалось все, что было нужно для типографии: шрифт, пробельный материал, банка с краской.

11 февраля Фаина вернулась домой и попросила родителей не вспоминать об этой истории. Капитан Костров, организовавший похищение девушки, и не думал, конечно, увозить Фаину Працюк в лагерь. Все эти дни она сидела в заброшенной лесной сторожке.

Подпольщики весело смеялись над своей проделкой, разбирая содержимое свертков.

— Вот шкура! — загорячился Микулич, открыв небольшую банку с краской. — Смотрите, сколько положил, Тут и на одну газету не хватит.

— А ну, дай сюда, — попросил Кудрин. Он попробовал краску пальцем и даже взял на язык.

— Краска из хороших сортов, — заявил он. — А насчет того, что не хватит, не беспокойся. Чтобы оттиснуть тысячу экземпляров такой газеты, как наша, понадобится не больше ста граммов. Понял? — Он весело подмигнул Микуличу. — А тут ее не меньше килограмма. Вот и подсчитай.

Дело было только за бумагой. Но для первого номера бумагу кое-как наскребли, хотя и не без трудов. Немного было в отряде, немного достал Беляк в управе, кое-что принесли другие подпольщики. И типография заработала.

Удалось подпольщикам и добыть сведения, которые запрашивала Большая земля. Наташа Горленко, работавшая на аэродроме, сообщила, что там находятся тридцать шесть немецких бомбардировщиков, пять транспортных самолетов и два — неустановленного типа. В трех больших штабелях вдоль железнодорожной ветки, ведущей к аэродрому, сложены авиабомбы. В тупике, на рельсах, стоят четыре цистерны с бензином. На территории аэродрома насчитывается до двух десятков автомашин. В единственном уцелевшем двухэтажном здании, где был раньше клуб летчиков, размещено общежитие летного и технического состава авиачасти. Обслуживающий персонал живет в деревянном бараке и в землянках. Аэродром бездействует вторые сутки. Все замечено снегом так, что у некоторых самолетов едва видны стабилизаторы. Из города пригнали людей и поставили их на расчистку подъездных путей к аэродрому.

Беляк переписал донесения, вложил в спичечную коробку и подал ее Микуличу.

— Иди к Куприну, там Герасим отлеживается, пусть быстренько несет в леспромхоз. Увидишь опять Наташу, спроси, не знает ли она Шеффера.

— Добре, — сказал Микулич.

9

Ксения Захаровна Карецкая появилась в городе за четыре дня до прихода оккупантов и поступила на работу в больницу, впоследствии ставшую госпиталем для гитлеровских офицеров. Она имела среднее медицинское образование, и ее назначили старшей сестрой хирургического отделения. О прошлом Карецкой сотрудники госпиталя почти ничего не знали. Ходила молва, что до войны она была коммунисткой, но якобы за отказ выехать на фронт ее исключили из партии. Случилось это не то в Бобруйске, не то в Гомеле. Одни болтали, что она внучка какого-то царского генерала и девица, другие говорили, что ее бывший муж офицер Красной армии, погибший в первых боях с фашистами у самой границы. Но за достоверность этих данных никто поручиться не мог.

Подлинную биографию Карецкой знал только секретарь горкома. Именно к нему Карецкая явилась сразу же по приезде в город. В письме, которое она вручила ему, горкому рекомендовалось оставить Карецкую в городе для подпольной работы. После продолжительной беседы с женщиной секретарь горкома познакомил ее с Пушкаревым и Добрыниным.

Добрынин связал Карецкую с Беляком, когда тот еще лежал в больнице.

Беляка он предупредил:

— Женщина преданная. Сама согласилась работать в тылу. Хорошо знает немецкий язык. Смотри не загуби ее. Первое время не встречайся. Пусть успокоится. Придет время, я тебе подам сигнал. Про наш отряд — ни слова, этого требует конспирация.

Сигнал был подан, когда отряд обзавелся радистом и Большая земля стала требовать

разведывательных данных. Беляк наладил связь с Карецкой и уже несколько раз встречался с ней.

Посещая ее, Беляк действовал осмотрительно и осторожно. Выбирал момент, когда вблизи дома никого не было, и заходил лишь после того, как обнаруживал отсутствие маленького фикуса на окне. Таков был условный знак.

Карецкая отлично знала немецкий язык, и это позволило ей быстро войти в доверие к гитлеровским офицерам. Вот почему, идя к Карецкой, Беляк надеялся, что она через раненых офицеров сможет узнать что-либо о таинственном майоре Шеффере.

Карецкая прежде всего передала ему собранные ею разведывательные данные. От нее не укрылось, что Беляк был озабочен и слушал ее рассеянно.

— Вы расстроены чем-то? — спросила она.

— Да, немножко, — сознался Беляк. — Мне нужен майор Шеффер, а я его никак не найду.

Карецкая подняла густые черные брови.

— Кто, кто? — переспросила она.

— Майор Шеффер, — повторил Беляк.

— Как его зовут?

— Пауль.

Карецкая, к удивлению Беляка, рассмеялась.

— Ищите топор под лавкой!

— То есть как?...

— Так. Ведь я его прекрасно знаю. Это мой надоедливый поклонник.

— Вот как! — удивился Беляк. — Это просто удача.

Карецкая тут же рассказала, что ей было известно о Шеффере.

...В ночь, когда произошел взрыв в гостинице, в госпиталь, в числе других раненых офицеров, доставили и майора Шеффера. Говорили, что он прибыл с фронта и имел «рыцарский крест». Шеффера привезли в тяжелом состоянии — с переломом руки, ноги, с осколками стекла в спине — и сразу же положили на операционный стол. После этого он несколько месяцев лежал в гипсе, а как только встал на костыли, начал ухаживать за Карецкой. Совсем недавно он покинул госпиталь и служит сейчас начальником какого-то отдела в танковой бригаде. После выхода из госпиталя он ежедневно искал встреч с Карецкой, предлагал ей поездки на автомобиле, приглашал к себе домой.

— Я окончательно растерялась и не знала, как мне быть, — сказала Карецкая. — Я почти не выходила из дому, никуда не показывалась. Меня спасло то, что я тогда жила при госпитале.

И вдруг неожиданно вмешался третий...

— Кто третий? — с беспокойством спросил Беляк.

— Сейчас расскажу подробно. — Карецкая, поджав под себя ноги, поудобнее уселась на маленьком диване.

...В конце января русский медперсонал госпиталя, как и все, кто служил в учреждениях оккупантов, проходил перерегистрацию в немецкой комендатуре. Пошла туда и Карецкая. Когда ее расспрашивал один из чиновников, в комнату вошел высокий худой немец в чине майора. Все встали. Майор подошел к Карецкой, спросил ее фамилию, имя, отчество, поинтересовался, где и кем она работает. Говорил он на чистом русском языке. Когда Карецкая ответила на все его вопросы, он попросил ее последовать за ним. Они поднялись на второй этаж, в хорошо обставленный большой кабинет.

— Так произошло мое знакомство с комендантом города майором Реутом, — сказала Карецкая.

Реут поинтересовался прошлым Карецкой и, видимо, оставшись довольным ее ответами, похвастался тем, что он сам отлично знает Россию и русский народ. До революции он якобы жил несколько лет на Дону, у дяди, владельца колбасной фабрики, а в годы советской власти бывал в России в качестве туриста. Майор был необычайно предупредителен и любезен. Узнав, что Карецкая живет при госпитале, в одной комнате с санитаркой, имеющей двух детей, он обещал, что обязательно подыщет подходящую квартиру.

— Я же вам говорила прошлый раз, — напомнила Беляку Карецкая, — что меня сюда вселил комендант.

— Да, да, — подтвердил Беляк, — но я тогда не придал этому никакого значения.

Знакомство с Реутом состоялось в пятницу, а уже в воскресенье Карецкую вселили в дом, принадлежащий старику-врачу, живущему вдвоем с женой. Хозяевами Карецкая осталась довольна, и они ей были рады. До этого в их доме по нарядам комендатуры останавливались немецкие офицеры. Карецкой предоставили две небольшие меблированные комнаты. Она пользовалась отдельным ходом. В этой квартире Карецкая уже вторично принимала Беляка.

— Но представьте себе, — продолжала она, — Шеффер отыскал меня здесь и был неприятно поражен, застав у меня коменданта. Они, конечно, были знакомы до этого и, видимо, симпатий друг к другу не питали. С этой же встречи, по-моему, между ними возникла острая неприязнь. Как нарочно, при вторичном визите Шеффер опять наткнулся на Реута, чему я несказанно была рада. Они пытались пересидеть друг друга, но я сказала, что должна идти в госпиталь. И вы подумайте! На второй день после этого Шеффер пожаловал в госпиталь и вызвал меня. Он упорно добивался, чтобы я его принимала не в обеденный перерыв, а вечером. Я сказала, что это невозможно, так как я поздно возвращаюсь с работы, устаю и к тому же не хочу компрометировать себя в глазах хозяев. Он ушел злой, и я думала, что роман окончен, а позавчера он опять явился, и не один, а в компании с гестаповцем Бергером. В полусерьезном, полушутливом тоне он предупредил меня, чтобы я не увлекалась Реутом, дабы не иметь в будущем неприятностей от его друга, Бергера. Вот вам и все, что я знаю о Шеффере, — закончила Карецкая.

— Он говорит по-русски? — спросил Беляк.

— Нет. И прямо бесится, когда Реут в его присутствии разговаривает со мной на русском языке.

Надо было обдумать план дальнейших действий. Беляк порекомендовал при первой же встрече с Реутом пожаловаться ему на назойливость Шеффера, сказать, что его ухаживания тяготят ее и, как бы невзначай, передать, что говорил Шеффер о нем — Реуте.

— Понаблюдайте, как он воспримет это известие, — говорил Беляк. — Скажите ему, что начинаете серьезно опасаться Шеффера, и спросите: сможете ли вы в случае надобности рассчитывать, что он оградит вас от этих ухаживаний. Поняли?

Карецкая кивнула.

— С Шеффером же придерживайтесь прежней тактики. Не вредно и ему дать понять, что вы бы не прочь сблизиться с ним, но побаиваетесь Реута, который постоянно посещает вас. Нам выгодно их окончательно перессорить. Кстати, не смогли бы вы сфотографироваться с Реутом?

Карецкая обещала подумать.

Когда Беляк собрался уходить, она нерешительно спросила его:

— Не смогли бы вы оказать мне... — Она замялась, как бы колеблясь. — Словом, это моя личная просьба. Не могли бы вы помочь мне?

Беляк вопросительно взглянул на нее.

— С удовольствием, — сказал он. — Если это в моих силах.

— Я понимаю... — заметно волнуясь, проговорила Карецкая. — Я понимаю... может быть, этого не надо говорить... Но я ничего у вас не спрашиваю. Просто, может быть, когда-нибудь... потом... не лично у вас, а у других... будет возможность связаться с фронтом, с Москвой. В общем речь идет о судьбе одного человека, офицера. Я ничего не знаю о нем и...

— Она замолчала, взволнованно подыскивая слова.

— Вы хотите послать запрос о судьбе близкого вам человека? — мягко подсказал Беляк.

— Да, — подтвердила Карецкая. — Если разрешите, я напишу вам его фамилию, имя, отчество... словом, все, что надо.

Она торопливо набросала несколько слов на клочке бумаги и передала его Беляку.

— Если только появится какая-нибудь возможность... — умоляюще повторила она.

Беляк медленно перечитал записку, как бы раздумывая, и с пристальным вниманием посмотрел в покрасневшее от волнения лицо женщины.

— Это мой муж, — просто сказала Карецкая. — Я знаю, что исполнить мою просьбу будет трудно, даже, наверное, невозможно, но... мало ли что случается.

Беляк аккуратно сложил записку и спрятал в карман.

— Обещать я вам, конечно, ничего не могу, — сказал он. — Но если возможность будет, попробуем.

Всю дорогу домой Беляк думал о том, как трудна роль, которую приходится играть этой женщине. Он мысленно ставил на ее место свою дочь Людмилу и пытался представить себе, как бы она держала себя.

Много мужества и стойкости, терпения и находчивости надо было проявлять в этой запутанной игре: с глубоко презираемыми людьми быть любезной, веселой, кокетничать с ними, сидеть за одним столом, принимать ухаживания.

Карецкая не жаловалась на трудность своего положения. И Беляк это особенно ценил. Сейчас он питал к ней почти отцовские чувства и, вспомнив предупреждение Добрынина, решил про себя: «Сберегу ее... Во что бы то ни стало сберегу! А если ей станет трудно, отправлю в лес».

В тот же вечер он послал через связного два донесения в отряд.

В одном он извещал Пушкарева, командование отряда и Кострова о своем разговоре с Карецкой. Другое донесение было адресовано лично Пушкареву.

А Карецкая в это время сидела на диване, зажав в руке маленькую фотографическую карточку, и заливалась слезами. Как сквозь туман, на нее смотрели молодые, полные жизни, смелые глаза мужа.

«Увижу ли я тебя, родной мой? — шептала она, сдерживая рыдания. — Помнишь ли ты обо мне или забыл уже? А вдруг его уже нет в живых? — приходила страшная мысль. — Нет! Нет! Не надо так думать! Не должно этого быть!»

...Ведь жизнь, по существу, только началась. Совсем недавно, при воссоединении с Советским Союзом западных областей Белоруссии, она, тогда еще комсомолка, была командирована на работу в Белосток. Там они познакомились, поженились. Это было в сороковом году, а вот теперь, меньше чем через год, от любимого человека у нее осталось только это — маленькая измятая фотокарточка.

Первые дни войны повергли ее в смятение. Она не могла освободиться от навязчивой мысли, что все рухнуло, пропало, что прошлое не вернется, она теряла веру в себя, готова была, закрыв глаза, бежать подальше от всех ужасов. Потом наступил перелом. Дочь потомственного днепропетровского рабочего-металлиста, воспитанная комсомолом и партией, она нашла в себе силы и сказала: «Довольно! Больше не может быть малодушия».

В обкоме партии, где она заявила о своем непреклонном решении остаться на оккупированной территории, вопрос решился не сразу. Ей говорили об опасностях, которые ждут в тылу врага, предупреждали о том, какую ответственность она берет на себя. «Я все продумала и все учла», — твердо сказала она. Но на прежнем месте оставить ее не решились. Ей выдали документы на другую фамилию и отправили в город, где она и встретилась с Пушкаревым, Добрыниным, Костровым, Беляком.

Знакомство с Беляком, умным и спокойным, чутким и строгим, укрепило душевные силы Ксении Захаровны. Она теперь в душе стыдилась своего прежнего неверия и дивилась тому, как могла она хоть на минуту допустить мысль, что врагу удастся сломить советских людей.

Она рвалась к работе. Чем сложнее оказывалась задача, которую ставил перед ней Беляк, тем энергичнее и решительнее она бралась за ее выполнение.

Но это новое задание, полученное сегодня, было не в пример труднее всех прежних. Она понимала, как много душевных сил, как много выдержки потребует от нее эта опасная игра.

«Родной мой! — шепнула она, глядя в фотографию. — Знай, что я тебя не подведу. Краснеть тебе за меня не придется».

В ночь на 21 февраля Беляк и Микулич, захватив с собой узелок с продуктами, вышли из сторожки. Постояв немного и всмотревшись в темноту, они направились к кладбищенской церкви. Над городом висело беспокойное, с мутными облаками небо. Было пасмурно, ветрено и холодно.

— Да... погода неважная, — буркнул идущий впереди Микулич.

— Погодка что надо! — тихо возразил Беляк. — Видно, под утро снежок опять посыплет. Пушкарев пишет, что ждет снега, как манны небесной. Это на руку ребятам.

Большим ключом Микулич открыл тяжелую, обитую железом подвальную дверь. В лицо пахло сырым, но теплым воздухом. Они шагнули внутрь, закрыли за собой дверь и, не зажигая света, держась за руки, ощупью опустились на несколько ступенек.

Микулич чиркнул спичкой и зажег свечу. По узкому коридору заметались большие длиннохвостые крысы. Подвал под церковью делился на ряд совершенно темных комнат. Они были завалены разным хламом, старой церковной утварью. Тут лежали железные кресты, покрытые толстым слоем ржавчины, надгробные каменные плиты, херувимы и ангелы со сломанными крыльями, полусгнившие деревянные бочки из-под лампадного масла, дрова для церковных печей.

Беляк и Микулич свернули налево, к крайней комнате, расположенной в конце коридора, и остановились перед массивной резной дверью с большими медными кольцами вместо ручки. За дверью была такая же, как остальные, небольшая комната, только в отличие от других не с каменным, а с деревянным полом. Она была заставлена кулями с цементом, старыми ведрами с засохшей краской.

Микулич расчистил середину пола и поднял деревянное творило. Разверзлась черная яма. Микулич и Беляк по каменным ступенькам сошли вниз и вновь оказались в небольшом коридоре, упиравшемся в дверь.

Микулич постучал в дверь тремя короткими ударами.

— Симпатичное местечко, — промолвил Беляк. — И ничего схожего с тем, что ты рассказывал.

— А это по первому разу, с непривычки, — как бы оправдываясь, сказал Микулич. — Потом все ясно станет. — Он постучал вторично.

Загремел засов, и дверь, скрипя петлями, давно забытыми про смазку, открылась. В комнате было светло. Возле стен на массивных гранитных пьедесталах стояли два железных, наглухо закрытых гроба. На них горело много свечей. Пламя бросало уродливые тени на стены, на низкий сводчатый потолок. В этом склепе основатель церкви, богатый горожанин, живший много лет назад, был похоронен вместе с женой согласно его завещанию.

Воздух в комнате стоял тяжелый, удушливый. В нос бил запах типографской краски.

Это была подпольная типография, в которой уже третьи сутки кряду безвыходно трудились над первым номером газеты «Вперед» Кудрин и Найденов. Сюда было снесено все: печатный станок, мраморная плита, кассы со шрифтом, доставленная из лесу бумага и остальной инвентарь.

— Тут же задохнуться можно, — встревожился Беляк.

— Тяжеловато, слов нет, — согласился Кудрин.

Он сидел на опрокинутом вверх дном ящике и растирал краску. Лицо у него было нездорового, пепельного цвета. Редкие седые волосы тонкими прядями прилипли к мокрому лбу. Не лучше его выглядел и Найденов. Без нижней рубахи, сухой, костлявый, он бережно снимал со станка оттиски и раскладывал их на полу, на гробах.

— А что же другое придумаешь?... — заметил Микулич и беспомощно развел руками.

— Что-нибудь надо придумать, — не мог успокоиться Беляк. — Это же невозможно так...

Ну-ка, распахни дверь, Демьян! Вот так. Иди теперь подними творило и открой дверь в коридор. Там воздуху больше.

Дышать стало сразу легче. Но Беляк не ограничился этим. Он послал вторично Микулича

наверх и предложил на десять минут открыть наружную дверь.

— Ничего опасного нет. Ночь — хоть глаз коли, — заявил он.

Воздух заметно освежился.

— Вот спасибо, Карпыч! — сказал Кудрин. — Выручил. Я, грешным делом, уже побаивался, дотянем до конца или нет, а бросать неохота. Так хорошо наладилось все!

Вернулся довольный Микулич.

— А ведь и правда помогло, — улыбнулся он. — Даже свечки поярче гореть стали.

— А ты говорил — не придумаешь, — упрекнул его Беляк. — Теперь корми рабочий класс. Ну-ка, бросайте работу!

Уставшие и изголодавшиеся, Кудрин и Найденов принялись ужинать. Сверх всяких ожиданий ужин оказался довольно разнообразный: кусок холодной вареной говядины, банка консервов — судак в маринаде, несколько кусков сахара, печеный картофель, две пшеничные лепешки и в довершение ко всему фляга водки.

— Закуска царская. Давно таких вещей не едал, — удивленно проговорил Кудрин.

— Спецпаек, Михаил Павлович, — весело отозвался Микулич. — Ничего не поделаешь — профессионально вредный труд...

Все рассмеялись.

— Пушкареву спасибо скажите. Самое ценное он прислал из своего неприкосновенного фонда, — пояснил Беляк. — Им вместе с бумагой еще кое-что сбросили...

Кудрин и Найденов ели с большим аппетитом. Беляк, сидя на корточках и опершись о стену, наблюдал за ними. У него было сейчас счастливое ощущение человека, успешно достигшего цели, причем цель эта достигнута раньше предполагаемого срока. Пушкарев просил выпустить газету хотя бы к апрелю. Сейчас же только вторая половина февраля, а свежие оттиски первого номера уже готовы.

«Что бы мы сейчас делали без него? — думал Беляк, поглядывая на Куприна. — По-прежнему толкли бы воду в ступе, планировали, гадали, спорили».

Ему хотелось сказать сейчас Кудрину и Найденову что-нибудь хорошее, ободряющее, но он, как назло, не мог подобрать подходящих слов и лишь спросил:

— Устали, дорогие мои?

— Ерунда! — махнул рукой Кудрин. — Если работа идет, устаешь меньше. Конечно, если она по душе. А мне эта по душе, ой как по душе! Как вспомнишь, что эти листочки будут читать наши люди, руки сами ходят и усталость не берет. Куда там, как молодой!

«Устал старик, — решил Беляк. — Устал, а крепится, не подает виду».

— Ничего, ничего, Карпыч, — бодро сказал Кудрин, как бы разгадав невысказанную мысль Беляка. — Не подведем!...

Найденов взял в руки флягу, отвинтил крышку, прищурил один глаз и понюхал.

— А-а! — крикнул он. — Любопытно бы сейчас по махонькой пропустить.

— Ну-ка, дай сюда, — потребовал Кудрин и, получив в руки флягу, завернул колпачок. — Ни-ни!...

— По капельке, — взмолился Найденов. — По крохотушечке...

Кудрин погрозил ему пальцем и сделал строгое лицо.

— Понюхал и хватит. Оставим на шаш, — сказал он. — Разопьем у меня дома. Идет?

— Что же делать, — ответил Найденов, почесав в затылке. — Не возражаю, если твоя половина приклад хороший поставит.

— Хорош будешь и без приклада, — отшутился Кудрин. — Огурец соленый найдется, и достаточно.

Они приступили к работе.

Беляк знал, что после того как газета будет отпечатана, предстоит еще много хлопот. Газету надо было распространить не только в городе, но и по окрестным селам. Эта задача лежала на отряде, на его партийной и комсомольской организациях: завтра должны были приехать в город за газетами Багров и партизан Снежко. Микуличу, Найденову, Крупину было поручено расклеить газеты в городе. Все было уже обдумано, распланировано.

— Когда же нам явиться? — поинтересовался Беляк.

— Часа за два до свету, — не задумываясь, ответил Кудрин. Беляк и Микулич начали выбираться наружу.

Замкнув дверь, они остановились в удивлении, — с востока приближался и быстро нарастал гул самолетов.

— Неужели наши? — сказал Беляк и взглянул на небо.

— Конечно, наши, — уверенно подтвердил Микулич. — Разве немцы в такую ночь поднимутся?

Микулич оказался прав. Надрывно завывала сирена, и по небу беспокойно забегали лучи прожекторов. Они беспомощно натыкались на мутные облака, ломались, скрещивались, вновь расходились в стороны. Беспорядочно захлопали запоздавшие зенитки, затарахтели пулеметы, прорезая тьму светящимися строчками трассирующих пуль. Невидимые с земли, укрытые низкими облаками, самолеты спокойно проплыли над городом, развернулись и пошли в сторону южной окраины, к аэродрому. И стало вдруг светло как днем. В небе повисли огромные светящиеся шары: от них отрывались и стекали вниз огненные струйки.

Земля качнулась. Беляк и Микулич перебежали поляну и встали около сторожки. Вдали грохотало, земля тряслась от разрывов бомб. Зенитки продолжали остервенело стрелять, но прожекторы уже погасли.

Советские самолеты бомбили аэродром. Бомбежка продолжалась не больше двадцати минут и закончилась взрывами огромной силы, потрясшими весь город. Это взлетели в воздух штабеля авиационных бомб.

Потом самолеты ушли, и все стихло.

С утра 23 февраля город зашевелился, точно растревоженный муравейник. Почти на всех улицах, на столбах, на стенах домов и заборах была расклеена небольшая, аккуратно отпечатанная подпольная газета «Вперед» — орган бюро окружкома коммунистической партии.

На лицевой стороне газеты большими буквами были приведены слова: «Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом». «Все силы народа — на разгром врага! Вперед, за нашу победу!»

В передовице рассказывалось о том, как бьется с врагом доблестная Красная армия, остановившая наступление гитлеровских полчищ и нанеся им сокрушительные удары под Москвой, Тихвином, Ростовом-на-Дону, Ельцом. Сообщалось, какие потери понес враг, откатываясь на запад, теряя технику и усеивая дороги трупами своих солдат и офицеров. Статья призывала всех советских граждан в районах, оккупированных врагом, множить ряды народных мстителей, создавать новые партизанские отряды, истреблять фашистов.

«Наше дело правое! Победа будет за нами!» — этими словами кончалась передовая.

«Дорогие товарищи, поздравляем вас с двадцать четвертой годовщиной нашей родной Красной армии, борющейся за честь и независимость советской Родины!» — говорил лозунг.

В статьях шла речь о том, как живет в эти дни наше государство, описывались героические подвиги советских людей на фронте и в тылу.

Газета была подобна бомбе огромной силы, разорвавшейся посередине города. Оккупанты всполошились. Карательные, следственные, разведывательные органы гитлеровцев были подняты на ноги. Полицейские метались по городу, с ожесточением срывая расклеенные листки газет.

В управе, под председательством Чернявского, шло экстренное совещание. Заместитель бургомистра, взволнованный, бледный, информировал собравшихся.

— Эксперты точно установили, — говорил он, — что большевистская газета отпечатана шрифтом и красками типографии управы. Вы представляете себе, что это значит? Это дерзость, не имеющая границ! Нам никто этого не простит. За подобные вещи по головке гладить не будут. — Повысив голос до визга, он закончил: — И не только я один буду отвечать! Все, все вы со мной вместе!

Гестаповцы отправили в тюрьму почти весь русский персонал типографии и отстранили от работы директора-немца. Сорвался выход в свет двух очередных номеров газет оккупантов. «Зато наша вышла! — от всей души радовался Кудрин. — Пусть нашу народ почитает, она интереснее».

Он сидел у себя дома с Найденовым. На столе лежала фляга с водкой, оставленная «на шабаш».

— Ну, задали мы им хлопот, Михаил Павлович! — смеялся Найденов. — Долго теперь не успокоятся. Давай-ка по махонькой за наш первый номер. — Он взял флягу, бережно, чтобы не пролить ни одной капли, наполнил две граненые стопки. — За первый, но не последний!

Выпили, закусили огурцами: хлеба в доме не было. Поставив порожнюю стопку на стол, Кудрин задумался.

— Вот так, помню, в пятом году, — сказал он, покачивая головой, — сколько крови понапортили мы полиции! Как суббота, так листовки, неделя прошла — опять листовки. Чего только власти ни делали, — не помогает! Тоже ведь не лучше, чем сейчас, работали: по домам печатали, по чердакам, выносили за пазухой, в кошелках, с которыми бабы на базар ходят. Я как-то чуть не влип. Только принес в дом листовки, гляжу — полиция! Куда девать? А жил один, комнатка маленькая, сунуть некуда, знаю, что все вверх дном перевернут. Выскочил в переднюю — труба самоварная висит на стене. Взял да и сунул туда. Не успел вернуться в комнату — и пристав нагрянул. Слежка за мной, видать, была. Копались, копались они часа два, не меньше, а на трубу и внимания не обратили. Так и выскочил я. На другой раз умнее стал: как вхожу в дом, листовки в трубу.

Найденов, склонив голову набок, внимательно слушал Куприна. А в городе в это время шли обыски, производились облавы. В полдень немецкое радио объявило, что лица, у которых будет обнаружена коммунистическая газета, подвергнутся самому жестокому наказанию по всем строгостям военного времени. Все газеты жители обязаны были доставить в управу, но к вечеру, как выяснил Беляк, там набралось лишь двадцать пять экземпляров. Остальные шли своей дорогой, неведомой врагу.

Горожане при встречах ни о чем не говорили, а только радостно смотрели друг другу в глаза. Правда, написанная в газете, проникала в села, в глухие деревушки. Поздно ночью, плотнозанавесив окна и закрыв двери, люди с волнением, по нескольку раз перечитывали каждую строчку.

11

День быстро угасал. Сумерки обволакивали лес. Рузметов торопился в лагерь. Он знал, что там осталось всего несколько человек и в том числе больной Пушкарев. Шел он один, на лыжах, пересекая поляны, опушки, покрытые глубоким снегом, разрезая высокие причудливые сугробы, напоминающие замерзшие волны.

Настроение у Рузметова было хорошее: он удачно вывел к железной дороге две диверсионные группы, которым предстояло пересечь полотно, шоссе и добраться до отдельного взвода Толочко.

«Теперь они, наверное, уже перешли дорогу, а может быть, ожидают, пока совсем стемнеет, — прикидывал он. — Тогда наверняка переберутся незамеченными, без единого выстрела».

У Рузметова были еще и другие основания для хорошего настроения. Вчера ночью, перед выходом на задание, его вызвали в штабную землянку. Зарубин в присутствии Добрынина и Кострова объявил ему, что он назначается начальником штаба отряда.

— Потянешь? — спросил командир отряда.

— Приложу все силы, — ответил Рузметов.

— Ну, иди, желаю успеха. Обязательно успеешь вернуться к вечеру. Как только стемнеет, мы уйдем.

Рузметов козырнул и вышел.

«Начальник штаба, это не шутка, — размышлял сейчас он. — Это не взвод подрывников.

Число бойцов в отряде уже перевалило за три сотни!»

Он мысленно представлял себя в новой роли, о которой никогда раньше не мечтал. Да и можно ли было предполагать десять месяцев тому назад, что он, студент-химик, вдруг окажется начальником штаба партизанского отряда, будет водить людей на боевые операции, учить их, как совершать диверсии на железной дороге, подрывать мосты, автомашины, минировать просеки, тропы?

Он знал, с чего надо начинать в новой должности. Перед ним четко и ясно вырисовывались ближайшие неотложные задачи. Прежде всего, надо внести строгую плановость во всю боевую работу.

«Ни одной операции без плана, — говорил сам себе Усман. — Планы буду составлять сам, совместно с командирами взводов и отделений. Обязательное обсуждение итогов каждой операции со всеми участниками. Это повысит ответственность, дисциплину».

Ему хотелось, прежде всего, провести в жизнь свою идею о новом методе диверсий на железной дороге. Он считал необходимым ввести систему, при которой ежедневно по всему контролируемому отрядом участку производилось бы пять-шесть диверсионных актов, нарушающих плановое движение поездов.

Погруженный в свои мысли, он незаметно подошел к северной заставе — и вздрогнул от неожиданного басовитого окрика:

— Стой!

Рузметов остановился и сделал несколько глубоких вдохов. Он чувствовал, как по спине стекали капли пота. Он шел быстро.

— Пароль!

— «Сосны шумят», — ответил Рузметов. По голосу он узнал, что остановил его проштрафившийся Редькин, бывший партизан его взвода. «Почему же он здесь? — мелькнула мысль. — Ведь он должен быть в заготовительной команде».

Приблизившись к Редькину, Рузметов спросил:

— А ты как попал на заставу?

— По доброй воле, — ухмыльнулся Редькин. — Свободный от заданий день выпал, вот и решил постоять. Надо же свой грех заглаживать... На заготовке продуктов иной раз и фашиста не увидишь. А тут, гляди, он на мушку и попадетя... Вот так-то, товарищ младший лейтенант...

Рузметов удивился неожиданной разговорчивости обычно молчаливого и угрюмого Редькина, но ничего не сказал.

— Наши давно прошли? — спросил он, уже тронувшись с места.

— Часа три назад, — ответил Редькин.

Всегда шумный, оживленный лагерь сейчас показался Рузметову вымершим. Ни огонька, ни дыма, ни людского говора. Необычайная, глубокая тишина. В темноте вырисовываются белые, в маскировочных халатах, фигуры часовых; поскрипывает снег под их мерными шагами.

Рузметов отвязал лыжи, поставил их около своей землянки и направился к штабу. Из печной трубы тоненькой струйкой тянулся беловатый дымок. Стараясь производить как можно меньше шума, он открыл дверь и вошел внутрь землянки.

Пушкарев лежал на топчане навзничь, раскинув руки, с закрытыми глазами. Дышал он неровно, порывисто, изредка вздрагивая и бормоча что-то неразборчивое. За столом, освещенным скудным огоньком коптилки, с наушниками на голове сидел радист Сеня Топорков. По выражению его лица можно было определить, что он не работал, а просто слушал какую-то передачу. Его влажные пухлые губы были по-детски приоткрыты. Увидев Рузметова, он приложил палец к губам.

— Чш-ш-ш! — и, сняв наушники, щелкнул выключателем приемника. — Тише, — произнес он одними губами. — Только заснул...

— Температура? — спросил Рузметов. Топорков, не отвечая, взял со стола листок бумаги и протянул ему.

Это была запись температуры больного. Против семи часов вечера значилось — тридцать девять и семь.

— А где фельдшер? — поинтересовался Рузметов.

Топорков потянул его за руку подальше от спящего Пушкарева и на ухо сказал:

— Я его отпустил. Он вторые сутки глаз не смыкал...

Покачав головой, Рузметов вышел из штаба и тотчас же услышал возбужденные голоса около своей землянки. Он быстро направился туда.

— А вот и младший лейтенант, — сказал кто-то, — а мы вас шукаем. Опять тот чоловик, що парашют знайшов, прибиг до нас. Зараз тут будэ.

— Проведите его ко мне, — сказал Рузметов и скрылся в своей землянке.

Надо было снять промокшую от пота рубаху, сменить влажные портянки.

Едва он успел переодеться, как опять раздались голоса и в землянку ввели уже знакомого ему Сурко. Он тяжело дышал и, даже не поздоровавшись, заговорил:

— Дело срочное имеется. — И оглянулся назад, будто его кто-то подслушивал.

— Говори, — сказал Рузметов.

— Сынишка старшой на разъезде был, угли собирал и говорит, что там стоит эшелон с пленными нашими, а паровоз испортился и дальше тянуть не может. Немцы не знают, что делать.

— На каком разъезде?

— Сорок шестой километр...

— А откуда он узнал, что это наши пленные?

— Узнал. Вагоны с решетками и охрана ходит.

— Много охраны?

— Говорит, человек десять видел, не больше.

Рузметов достал карту и разложил на столе. Разъезд на сорок шестом километре от города был обведен у него красным кружочком, а против него стояла цифра «50». Это означало, что гарнизон там состоит из пятидесяти солдат. Рузметов задумался.

Сурко можно было верить. Он уже показал себя человеком, для которого интересы дела стоят выше его собственных. Но можно ли доверяться подростку, его сыну? Ведь он мог спутать, ошибиться, не разобраться в обстановке. Правда, случалось и раньше, что ребята сообщали отряду ценнейшие данные о противнике и даже выполняли задания партизан, проникая в запретные зоны, на охраняемые объекты.

— Сколько лет сыну? — спросил Рузметов, не отрываясь от карты.

— Тринадцатый идет... Паренек смысленый и глазастый. Кривить душой не буду, — верю я ему.

Рузметов вновь задумался, опустил на скамью и, постукивая пальцем по краю стола, не сводил глаз с карты — с красненького кружочка, которым был обозначен разъезд.

Он понимал, что предприятие было рискованным. Но ведь там, в вагонах, свои, военнопленные. Не выручить их — преступление. А как посмотрит на это Зарубин? Командир не любит своеволия и сурово расправляется с теми, кто нарушает заведенный им порядок.

«Но я же за него остался, — пришла мысль. — Я теперь не командир взвода, а начальник штаба!»

Он еще раз всмотрелся в карту. Дорога к разъезду шла лесом, и сам разъезд был окружен лесом. Не случайно немцы постоянно держали там воинскую команду.

Рузметов встал, вышел из землянки и позвал дежурного. Он поручил ему быстро выяснить, сколько в лагере боеспособных людей и как они вооружены.

— Есть хочешь? — спросил он Сурко, вернувшись к себе.

Тот замялся и пробормотал что-то не совсем понятное. Рузметов принял это за согласие.

Через несколько минут на столе появились лепешки, банка мясных консервов, холодная пшенная каша из концентрата и два котелка кипятку. Принялись за ужин.

Вошел дежурный и доложил, что в лагере боеспособных тридцать человек, а оружия — три

автомата, считая и тот, что принадлежит Пушкареву, пять винтовок, девять гранат.

Сурко уставился на Рузметова в ожидании, а тот прикидывал в уме:

«У меня автомат и пистолет... четыре гранаты... с дюжину зажигательных пакетов и, кажется, несколько бутылок с самовоспламеняющейся жидкостью».

— В общем, не густо получается, — проговорил он вслух и снова принялся за еду, напряженно соображая, как поступить.

Оставить лагерь без охраны — немыслимо, повести человек двадцать — мало, да и вообще напасть на разъезд с десятью стволами — рискованно. Но освободить пленных надо во что бы то ни стало!

— Кто в лагере из командиров? — спросил он дежурного, уже решив про себя, что идти на операцию необходимо.

— Командир отделения Багров... Только пришел из лесхоза.

— Зови его сюда.

Вошел Багров — уставший, со впалыми щеками, обросший многодневной щетиной и какой-то хмурый.

— Есть возможность отличиться, Герасим, — весело встретил его Рузметов и рассказал суть дела.

Багров оживился, в глазах его блеснул злой огонек.

— Без риска ничего не делается, — коротко заметил он и повернулся к Сурко. — Все в деревне маешься? Горюшко пьешь? — Тот сокрушенно покачал головой.

— Напился я его уже... Ой, как напился!...

— Попривык небось?

— К горю-то попривык, а к Гитлеру никак не могу привыкнуть.

Багров невесело усмехнулся и положил свою тяжелую руку на плечо Сурко.

Рузметов отдавал распоряжения. Он приказал собрать к землянке двадцать пять человек, а пятерых оставить в лагере. Раздав оружие, гранаты, он вынул из ящика, где лежали его запасы, три бутылки самовоспламеняющейся жидкости «КС» и шесть зажигательных пакетов. Больше ничего не было. Уже собираясь дать команду к выходу, Рузметов вдруг вспомнил, что в складской землянке хранится много отечественных трехлинейных винтовок, уже два месяца бездействующих из-за отсутствия патронов.

— Стой! Мысль появилась! Достать наши бездействующие винтовки! Хоть видом пугать будем. Все лучше, чем с пустыми руками. И чтобы люди все были на лыжах. Дойдем часа за три.

— Я знаю короткий путь, — сказал вдруг Сурко. — Я поведу через болота.

— Эге! — отозвался Багров. — Про эти болота и я слышал. Там, говорят, и зимой с санями да лошадьми окунаются. А?

— Не знаю, — ответил Сурко, — я не проверял, потому как ни саней, ни лошади не имею.

Рузметов рассмеялся.

— А насколько ближе? — спросил он Сурко.

— В два раза ближе...

Через полчаса двадцать восемь человек во главе с Рузметовым покинули лагерь и зашагали, вытянувшись длинной цепочкой. Впереди шел Сурко, за ним Багров, потом Рузметов.

«Вот тебе и предварительный план проведения операции, — подумал Рузметов и невольно рассмеялся. — Когда же его составлять? Но это, конечно, исключение, и так бывает очень редко», — успокоил он сам себя.

Сурко оказался прав. Уже через час сорок минут группа подошла к цели. Рузметов приказал бойцам залечь и выслал двух человек в разведку. Третьим напросился Сурко.

Вскоре разведчики вернулись, и Сурко смущенно доложил:

— Ошибся Петрунька... всего два вагона на путях и, правильно, с решетками. Охраняют четыре часовых, закутались, ровно бабы. Зато во дворе целое стадо коров, а на платформе мотоциклы в ящиках...

— Ну что ж, и то дело, унывать нечего, — сказал Рузметов. Он отрядил к вагонам Багрова с

автоматом и еще двух человек с незаряженными винтовками, а остальных решил вести сам громить барак, в котором располагалась караульная команда.

— До моего свистка ничего не предпринимай, — предупредил он Багрова, — а то весь план испортишь. Как свистну два раза, налетай.

Он поднял людей и, руководствуясь советом Сурко, повел их в обход разъезда.

Прошло десять, двадцать, тридцать пять минут, и, наконец, два пронзительных коротких свистка ворвались в ночную тишину. Тотчас за ними последовали автоматные очереди, крики «ура», гулкие разрывы. В двери и окна барака посыпались гранаты, зажигательные пакеты, бутылки с самовоспламеняющейся жидкостью. Через несколько минут языки пламени уже выбивались из окон, а партизаны, залегшие на путях, расстреливали в упор гитлеровцев, пытавшихся спастись бегством. Через полчаса восстановилась прежняя тишина, и лишь ярко пылающий барак свидетельствовал о налете партизан.

Не потеряв ни одного человека, освободив больше сорока пленных, прихватив восемнадцать коров и два мотоцикла, партизаны возвращались в лагерь.

Перед самым рассветом командир отряда Зарубин, шедший в голове длинной цепочки партизан, уже на подступах к лагерю вдруг остановился.

— Ты что? — спросил Добрынин, наткнувшийся на его спину.

— Что за чертовщина! — произнес Зарубин. — Куда мы попали?

— Как куда? — удивился Добрынин. — Сейчас северная застава будет.

— Какая там тебе северная!... — сказал Зарубин. — Ты слышишь?

Добрынин прислушался. Замолчали партизаны, шедшие сзади.

До слуха явственно донеслось мычание коров.

— Вроде как коровы... — неуверенно сказал Добрынин.

— Конечно, не тигры, — зло бросил Зарубин.

— Коровы...

— Точно, коровы, и не одна, — раздался голоса.

Все знали, что последнюю корову в отряде съели еще осенью, а тут мычала не одна, а сразу несколько коров.

«Неужели заблудились?» — мелькнуло в голове Зарубина. Он начал оглядываться по сторонам, но тут же убедился, что вел отряд совершенно правильно.

— Пошли! — скомандовал он и, взяв автомат в руки, быстро зашагал вперед.

На заставе часовые доложили, что в лагере все в порядке.

— Настоящий порядок, товарищ капитан, — добавил попрыгивающий с ноги на ногу часовой. — Рузметов с Багровым стадо коров пригнали, да и погонщиков прихватили никак с полсотни.

— Что за ерунда! — буркнул Зарубин и бегом заспешил к лагерю.

Уже у самых землянок он наткнулся на коров. В лагере все спали. Зарубин и Добрынин направились к землянке Рузметова. Командир отряда открыл дверь и осветил фонариком. Землянка была полным-полна людей. Все незнакомые. Спят.

— Сотворил наш Усман что-то! — заметил Добрынин.

— Получается так, — согласился Зарубин. — Да где же он сам?

Окружкомовская землянка оказалась также переполненной людьми, но Рузметова и там не было. Его нашли в штабе. Он спал в обнимку с Багровым на топчане Зарубина и Кострова. Положив голову на стол, дремал Топорков. В углу копошился Сурко, натягивая просохшие валенки. Ему надо было собираться домой.

От Сурко Зарубин и Добрынин услышали о ночном происшествии.

— Ну и голова! Вот голова! — подергивая ус, сказал Добрынин. — А где же мы с тобой, капитан, уляжемся?

Зарубин почесал затылок и улыбнулся.

— Смотри, какой! — шутливо произнес он. — Не успел стать начальником штаба, как уже в штабную землянку залез. Придется нам потесниться.

— Да, надо для него топчан тут соорудить. А выходит, мы с тобой не ошиблись в нем.

Верно?

— Конечно, нет, — пожал плечами Зарубин. — Я думаю, будить его сейчас не стоит. Устал он не меньше нас. Пойдем-ка, старина, на кухню. Там мы...

— Чш-ш, — комиссар прервал Зарубина на полуслове.

Зашевелился Пушкарев. Он что-то тихо прошептал, пошарил руками, сбросил с себя полушубок и затих. Зарубин подошел и осторожно укрыл его.

— Страшное дело, если сыпняк, — сказал он, выходя из землянки.

— Страшное, очень страшное, — отозвался Добрынин. — И — чего греха таить! — боюсь я за Ивана Даниловича. Он полный, подвижной, а такие редко выносят. Я помню, болел, так еле-еле выкарабкался. Подумать только, он четвертый день в себя не приходит!

Зарубин промолчал.

12

В середине марта пришла радиограмма о подготовке к приему самолета. В ночь на четверг Зарубин, Добрынин и Костров вышли к «аэродрому». На дальних подступах к нему, там, где всего вероятнее было появление гитлеровцев, выставили усиленные засады. На посадочной площадке разложили сухие дрова и отрыли ямы для костров. Партизаны расположились группами вокруг «аэродрома».

Ночь стояла тихая. Высоко в небе перемигивались холодные звезды, то угасая, то разгораясь вновь. Зима была на переломе. Днем пригревало солнце, мороз ослабевал, снег подтаивал, а ночью опять все сковывало холодом, снег покрывался твердым настом, и можно было ступать по нему, не проваливаясь.

Зарубин, Добрынин и Костров сидели под большим разлапистым дубом, сильно обнаженные корни которого горбом выпирали из-под снега. Все волновались. Возбуждение возрастало с каждой минутой, и чем ближе подходил назначенный срок, тем медленнее тянулось время.

— Вот грех-то! — взглянув на часы, проговорил Зарубин. — Как долго! Будто назло! Хотя бы погода не испортилась. — Он озабоченно оглядел чистое, спокойное небо.

— Еще сорок минут. Шутка сказать! — Добрынин покачал головой и тоже посмотрел на часы. — При условии, конечно, если летчик аккуратный... А меня, скажу прямо, пробирает что-то. — Он встал и зябко передернул плечами.

— Давайте пройдемся, — предложил Костров, — а то и в самом деле замерзнем.

Все поднялись и пошли на поляну по протоптанной за день узенькой стежке, которая темной полоской вилась по снегу.

На противоположном конце поляны, у самого леса, слышались шум и дружный хохот. Направились туда.

Оказалось, партизаны, чтобы согреться, придумали забаву: привязав к березе оседланного коня, они заходили сзади и с разбега прыгали на него, пытаясь попасть в седло. Немногим удавалось это. Большинство, ударившись грудью или животом о круп лошади, падало в снег. Хохот вспыхивал то и дело. Дымников шумел больше всех, но зато дважды удачно вскочил в седло.

— Что кричишь, Сережка? — спросил Зарубин.

— Весело, товарищ капитан! Голос пробую, — отшутился Дымников.

— Кавалеристы из вас неважные, — сказал Зарубин и начал было снимать полушубок, чтобы показать, как прыгают настоящие кавалеристы, но в этот момент на востоке послышался едва уловимый гул.

Все на мгновение замерли. Гул приближался. Опытное партизанское ухо уже улавливало рокот моторов советского самолета.

— К ямам! Зажигайте! — скомандовал Зарубин, застегивая полушубок и затягивая поясной ремень.

Партизаны засуетились на снежной поляне. Самолет был уже близко и начинал снижаться в поисках сигнальных костров. Летчик пустил белую ракету. Она на несколько секунд

осветила все вокруг, выхватила из темноты поляну, лес, мечущиеся фигурки людей, затем распалась на мелкие брызги и погасла. Тогда стало еще темнее. Но через минуты вспыхнули, быстро разгораясь, шесть больших, в два ряда, костров. Сделалось опять светло и празднично. Летчик сбавил газ и решительно повел машину на посадку в коридор между кострами.

— Закрывать костры щитами! — громко распорядился Зарубин, когда машина, покачиваясь на лыжах, побежала по поляне.

Опять стало темно. Из-под щитов за клубился дым. Самолет остановился.

Из него выпрыгнул человек, за ним другой, и оба стали плясать, стараясь согреться.

— Кто прилетел? — подбегая, спросил Зарубин.

— Подполковник Гурамишвили! — отозвался один из гостей. — Будем знакомы.

Но Зарубин сначала сам представился старшему, как требовал устав, и лишь после этого пожал протянутую руку.

— Со вчерашнего дня вы уже не капитан, а майор, — сказал Гурамишвили. — Есть приказ командующего.

Затем подполковник поздоровался с Добрыниным, Костровым.

Подкатили две пары саней.

— Теперь окончательно замерзнем, — как-то безнадежно сказал летчик, усаживаясь в сани.

— А это зараз побачимо, — задорно сказал партизан-возчик и отпустил вожжи. Застоявшиеся кони взяли с места, так что летчик едва удержался в санях, схватившись за плечо Кострова. — Одно дело в небесах, другое в лесу, — засмеялся партизан, подстегивая коней.

В окружкомовской землянке сегодня было особенно тепло и уютно. Ярко горели, свисая с потолка, две маленькие электрические лампочки под бумажными абажурами. Добрынин предложил гостям поужинать, но, к его великому разочарованию, они отказались от еды, ссылаясь на то, что основательно «заправились» перед вылетом, два часа назад. Зарубин и Костров переглянулись и рассмеялись. Гурамишвили вопросительно посмотрел на них.

— Да вот наш комиссар промахнулся. От обеда отказался сегодня — готовился основательно с вами поужинать, и не вышло, — объяснил Зарубин.

Смущенный Добрынин с укором покачал головой.

Подполковник добродушно рассмеялся.

— Что же, придется согласиться выпить чаю. На большее мы, к сожалению, сейчас не способны.

Деловая беседа началась уже за чаем. Гости не располагали временем. Не позднее четырех ночи их надо было проводить в путь, чтобы до рассвета они успели миновать линию фронта. Внимательно слушая доклад командира отряда, подполковник отпивал глотками кипятков и одновременно делал записи в своей полевой книжке. Это был типичный представитель солнечной Грузии: высокий, поджарый, с крупной головой: густая, повитая серебром шевелюра, широкий выпуклый лоб. Большие черные глаза смотрели уверенно, смело. Он изредка поглаживал рукой щеки, покрытые жесткой седоватой щетиной, и молча кивал головой.

Зарубин дал исчерпывающую характеристику состояния, боеспособности отряда, рассказал о возможностях партизан, отметил недостатки в боевой работе. Он доложил подполковнику и о потерях, понесенных отрядом, а потом коротко описал, как работают в городе Беляк и его товарищи.

По выражению лица подполковника можно было заключить, что доклад его удовлетворил.

С нескрываемым интересом выслушал он рассказ Зарубина об операции, проведенной Рузметовым, об освобождении пленных и захвате скота.

— Храбрецы! — похвалил Гурамишвили. — Замечательно! Правильно говорит наша пословица: «Если у воина железное сердце, то и деревянный меч в его руках — грозное оружие». Кто руководил операцией?

— Вновь назначенный начальник штаба отряда, младший лейтенант Рузметов, — ответил

Зарубин.

— Рузметов? — переспросил подполковник.

— Да, Рузметов Усман, — подтвердил командир.

Подполковник попросил познакомиться его с Рузметовым.

Нового начальника штаба нашли около большого Пушкарева и привели в землянку. Беседа сразу приняла непринужденный характер.

— Ты как же сюда попал, в леса? — запросто, как старого знакомого, спросил Гурамишвили.

Рузметов рассказал.

— Молодец! — одобрил подполковник. — Откуда сам?

— Из Хорезмской области Узбекской ССР...

Рузметов в нескольких словах изложил свою биографию. Он — сын колхозника-хлопкороба, в прошлом батрака. Комсомолец, потом коммунист. На родине живут отец, мать и две сестренки. Среднюю школу окончил в Ташкенте, служил два года в армии, после этого поехал в Москву, мечтал стать инженером-химиком.

— А стал начальником штаба партизанского отряда! — прервал его подполковник.

— Так точно.

— Ну, ничего, — бодро заметил Гурамишвили. — Инженером ты еще будешь. — Он рассмеялся. — А теперь расскажи, как ты отбил наших пленных. Все расскажи.

Усман подробно описал проведенную им операцию.

— Храбрецы! Настоящие храбрецы! Обязательно доложу командованию. Так всегда действуй! Инициатива, смелость! Если сабля коротка, шагни вперед — она удлинится. Этому учат мудрые воины. А кто же первый сообразил насчет винтовок? — поинтересовался Гурамишвили.

Рузметов ответил, что кто-то из партизан, но кто именно, он не помнит.

Вмешался Добрынин.

— Предложил никто другой, как он сам.

— Ты чего же меня обманываешь? — с напускной суровостью спросил Гурамишвили. — Обманывать у нас разрешается только врачам, да и то лишь, когда ложь спасает больного. Понял?

Рузметов молчал.

— Ладно, иди, — продолжал подполковник. — Еще встретимся...

А когда Рузметов ушел, он сказал:

— Знаки различия скоро можно будет сменить ему на лейтенантские. Представьте. Я поддержу. На всех участников операции, без исключения, написать наградные листы.

...Зарубин долго вынашивал мысль о выводе отряда в дальний рейд, по глубоким тылам противника. И теперь он поделился этой мыслью с подполковником.

Гурамишвили выслушал его внимательно, а потом немного резко сказал:

— Нельзя, товарищ майор, видеть только то, что торчит против носа. Это раз. Нельзя действовать вообще. Это два. Все должно быть подчинено интересам фронта.

Он убедительно доказал нецелесообразность рейда. Отряд нужен именно здесь, чтобы держать под постоянным ударом участки шоссе и главным образом два отрезка железной дороги, идущие к фронту. Любое крушение, и малое, и большое, каждая диверсия на железнодорожном полотне приобретают крупное значение. Враг вынужден сокращать движение, ездить только днем, ставить на охрану пути и железнодорожных сооружений войска, которые надо оттягивать с фронта.

— Вопрос этот больше не поднимайте, — сказал Гурамишвили. — Расскажите лучше, как обстоит дело с Шеффером. Из последней радиogramмы я понял, что его нашли. Командование в нем заинтересовано.

В этот день были получены дополнительные данные от Беляка, и подполковника проинформировали обо всем подробно.

Беляк сообщал, что оба майора — и Реут и Шеффер — сейчас отсутствуют: один вылетел в Берлин, другой — на фронт.

— Шеффер на фронт, конечно? — спросил подполковник.

— Да, — подтвердил Зарубин.

— Ну, там его не выкрасть. Это лиса хитрая. А Карецкая не подведет вас? Вы ее хорошо знаете?

Зарубин пожал плечами и посмотрел на Добрынина. Карецкую он не видел в глаза. Но Добрынин и Костров в один голос заявили, что ручаются за эту женщину.

— Это хорошо, когда людей знают и верят в них, — сказал Гурамишвили и попросил доложить ему план похищения Шеффера.

Докладывал начальник разведки Костров.

— Смело! Очень смело! — заметил подполковник, выслушав Кострова. — Кто предложил этот план?

— Беляк, — ответил Костров.

— Смело! — еще раз сказал Гурамишвили, но по тону его можно было понять, что он не совсем уверен в успехе задуманного предприятия.

— Впрочем, Беляку видней. Нам, а особенно мне, давать рецепты неудобно.

Когда окончили беседу, подполковник, знавший из радиограммы о болезни секретаря окружкома, захотел повидать Пушкарева.

В штабной землянке около больного дежурили Рузметов и фельдшер.

Пушкарев метался по постели. Воспаленные глаза его ничего не видели, он бредил. Грудь вздымалась рывками. Лицо, обросшее до ушей щетиной, было неузнаваемым.

Рузметов сидел у изголовья больного и старался удержать его за плечи.

— Плохо дело... боюсь, — доверительно сказал фельдшер на вопрос подполковника.

— Да, неважно, — заметил Гурамишвили. — Не уберегли вы такого человека. — Он обратился к фельдшеру: — Пойдемте, я захватил с собой кое-какие медикаменты, шприц.

С больным остался один Рузметов. Короткий разговор, который он только что слышал, окончательно расстроил его. Мучило предчувствие рокового, неотвратимого несчастья, и он спрашивал себя:

«Неужели именно теперь, когда наладилась связь с родиной, когда начинают вызревать плоды упорных трудов, когда отряд развертывает свою боевую деятельность, должно случиться это несчастье?...»

Вернулся фельдшер. В руках у него были шприц и ампулы с камфорой.

— Это то, что сейчас нужнее всего, — сказал он. — И хотя надежды мало — попробуем. Я больше всего опасаясь за его сердце. Вы сейчас мне поможете, товарищ Рузметов. — И он начал готовить шприц.

Улетел Гурамишвили с опозданием из-за совершенно непредвиденного случая. В четыре часа, когда подполковник уже собрался уходить и начал прощаться, в землянку вошел командир взвода, лейтенант Селифонов и обратился к нему с личной просьбой. Он просил взять письмо и опустить его в первый почтовый ящик.

— Пожалуйста! — сказал Гурамишвили и, пробежав глазами написанное на конверте, спросил с улыбкой: — Вы писали?

— Так точно, — ответил Селифонов.

— Надежда Васильевна — жена, невеста или только милая сердцу?

— Ни то, ни другое, — ответил Селифонов. — Надежда Васильевна — мать партизана из моего взвода, который подорвался на mine и ослеп. А письмо писал действительно я под его диктовку.

Гурамишвили смутился, сел и забарабанил по столу пальцами. Он не знал, что шутка примет такой оборот.

— Прости, брат, меня, — сказал он, — ляпнул я, не подумавши. И вот что... Письма я не возьму, а его самого, раненого, немедленно подготовьте.

— Опоздаем, товарищ подполковник, — напомнил летчик.

— Ему здесь делать больше нечего, — не обращая внимания на слова летчика, продолжат Гурамишвили. — Свое он сделал. Мы его вывезем. Действуйте! Я жду! — приказал он

Селифонову, достал трубку, табак и начал закуривать.

— Светло будет, — сказал летчик. — Могут сбить...

— Ничего, ты выше забирайся... — бросил Гурамишвили.

— Да и сидеть вдвоем в одной кабинке невозможно, головы поотморозите, — настаивал летчик.

— Усидим, — успокоил его подполковник.

Раненого подготовили в полчаса. Быстрые кони за несколько минут докатили всех к «аэродрому». Подполковник приказал сначала усадить раненого, а потом с большим трудом втиснулся сам, почти по грудь выдаваясь из кабины.

Партизаны засуетились около винта, и раздались обычные: «Контакт!», «Есть контакт!», «Включено!»

Загудел мотор, подняв облако снежной пыли. Самолет легко покатился по снегу и взмыл вверх. В половине пятого все отправились в лагерь.

У крайней землянки, где горел свет, Зарубин попросил остановить лошадей, сошел сам и пригласил с собой Добрынина и Кострова.

— Надо заглянуть, кому там не спится, — сказал он.

В землянке возились Веремчук и Дымников. Оба при входе командиров вскочили с мест.

— Чего не спите, полуночники? — спросил Зарубин.

— Заказ Беяка выполняем, товарищ капитан, — доложил Веремчук.

— Не капитан, а майор, — поправил Костров.

— Простите, — сказал Веремчук.

Уже четвертые сутки Дымников и Веремчук конструировали комбинированный взрывной заряд. Веремчук, новый человек в отряде, попавший в него с группой отбитых у немцев пленных, оказался замечательным парнем. Дед Макуха про него сказал: «Голова у него там, где ей положено быть». Рыжая копна волос украшала его беспокойную голову, из-под белесых бровей задорно блестели серые глаза, в которых светилась безоглядная удаль. Нос у Бориса Веремчука был вздернут и, по общему мнению, больше чем следует. Но это самого Веремчука нисколько не смущало.

В плен к немцам Веремчук попал в январе, будучи раненым. Дважды пытался бежать, но его ловили. Собирался бежать в третий раз, но, как он говорил, «помешали партизаны».

Лейтенант Веремчук командовал в армии взводом мотоциклистов, а потому и посоветовал Рузметову захватить с разъезда два мотоцикла. То, что в лагере не было бензина, его не смущало. На другой день после появления в отряде он с группой ребят из числа бывших военнопленных, с Сережей Дымниковым во главе, вышел на шоссе, а возвратившись, доложил, что «заправился на полгода». Партизаны притащили шесть немецких бидонов с бензином, которые Веремчук куда-то спрятал и с неохотой отпускал бензин не только на копилки, но даже на зажигалки. Результатом этой вылазки кроме бензина были еще пять подорванных автомашин. С этой же операции Веремчук притащил четыре аккумулятора и наладил освещение четырех землянок и кухни.

— Недоучел малость. Можно было так рвать, чтобы все пять аккумуляторов остались, — жалел он. — Впредь будем умнее.

Из одного мотоцикла он устроил «электростанцию»: ручную сирену, снятую с подорванной автомашины, укрепил на сосне возле караульной землянки.

— Уж эта штучка по тревоге всех поднимет. Будьте покойны!... — говорил он.

Веремчук вдобавок хорошо владел немецким языком, чему был очень рад начальник разведки Костров. Он поставил себе правилом при встречах с Веремчуком разговаривать только по-немецки.

К заряду, над которым сейчас трудились Веремчук и Дымников, предъявлялись особые требования: небольшой вес и объем, мгновенное, безотказное действие, большая сила взрыва и способность не поддаваться разрядке.

В первый день работа не ладилась. Когда Рузметов, ревниво относившийся ко всяким минам и взрывным зарядам, поинтересовался, как идут дела, Веремчук с досадой ответил:

— Никуда не годятся, товарищ начштаба. Как на аэроплане: и тошнит, и выпрыгнуть нельзя. Они выгнали всех жителей землянки, натаскали в нее взрывчатку всех видов, взрыватели разных систем. А сегодня конструкторские изыскания окончились пробой образцов. Три коротких и звонких взрыва, нарушивших вечерний покой лагеря, говорили о том, что ребята поработали не впустую.

Сейчас друзья устраивали ящик для заряда, потроша неведомо откуда попавшее в их руки старое Евангелие в хорошем, твердом переплете.

— Выйдет толк из этой штучки? — спросил Зарубин.

— Будьте уверены, товарищ майор! — немногословно ответил Веремчук.

Покинув землянку, Зарубин сказал:

— Рузметов, кажется, прав...

— Насчет чего? — поинтересовался Костров.

— Насчет того, что Веремчук наиболее подходящая кандидатура на командование взводом подрывников.

13

Костров, Беляк и Снежко шли лесом, затопленным талой снеговой водой. Отшумели бураны и вьюги. Уже целую неделю дул теплый ветер. Лес, утомленный долгой зимней спячкой, ждал тепла, света. В поля уже прилетели крикливые грачи. По утрам стелился туман, но как только поднималось и начинало пригревать солнце, он таял и исчезал.

— Вот и партизанская весна подошла, — сказал Беляк. Почти всю дорогу говорили о самых обыденных, мирных вещах: Беляк — об охоте, о таежных богатствах Сибири, о том, что зима в этом году была суровая; Снежко — житель Крыма, по специальности комбайнер — описывал прелести южной природы; Костров рассказывал о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве.

— Фашисты обещают покончить с нами, как только наступит весна. Разбросали листовки с самолетов... — проговорил Костров.

— А мы с ними только собираемся с весны начинать борьбу по-настоящему, — усмехнулся Снежко.

— Правильно, — согласился Беляк. — Я тоже весенние «сюрпризы» кое-кому подготовил.

Сначала друзья выбирали места посуше, стараясь держаться едва приметных прошлогодних тропинок, но их было очень мало, и пришлось шагать прямо по воде, залившей весь лес и доходившей местами до колен.

Идти было трудно. Мешала не только вода. Дорогу преграждали коряги, корневища, бурелом. Путники устали, промокли, продрогли и были безмерно рады, когда наткнулись на передовую заставу. Это означало, что до лагеря уже рукой подать. Партизаны, сидевшие в дозоре, пригласили их в землянку, но все трое дружно отказались — хотелось скорее добраться до тепла, разуться, раздеться и уснуть.

Оставшаяся часть пути показалась необычайно долгой, иссякали последние силы. Костров и Беляк едва передвигали отяжелевшие ноги.

У Снежко, самого молодого из трех, еще хватало сил болтать, шутить, подбадривать своих товарищей.

— Ничего, такая усталость не страшна, — весело говорил он. — От такой усталости не умрешь, а только крепче станешь. По себе знаю. Бывало, отмахнешься на комбайне сутки напролет, кажется, готов, конец подошел, ни рук, ни ног не чувствуешь. Повалишься под копну, часиков пять похрапишь, и опять как огурчик, будто только на свет народился. Так что все это пустяки, закалка своего рода.

А в лагере уже беспокоились. Костров и Снежко вышли навстречу Беляку два дня назад и должны были возвратиться с ним еще вчера вечером. Никто не предполагал, что распутица настолько задержит их. Зарубин уже хотел посылать людей на розыски. Но все трое,

наконец, благополучно прибыли в лагерь.

От еды они единодушно отказались и заявили, что о делах будут говорить после отдыха. Придя в окружкомовскую землянку, сейчас же повалились на топчаны и уснули как убитые. Проспали десять часов кряду и, возможно, спали бы еще, но Пушкарев не выдержал и разбудил их.

— Братцы, это уже кража времени среди бела дня. Куда годится! — взывал он еще не окрепшим после болезни голосом. — Надо и совесть знать...

Он погнал их умываться, завтракать и предложил через полчаса собраться в штабной землянке. Сам он, опираясь на свежевоструганную палку, побрел по лагерю. Глядя ему вслед, можно было подумать, что человек только учится ходить, — он шагал робко, как бы ощупывая землю, на которую собирался ступить, часто останавливался, опирался обеими руками на палку и озирался по сторонам. Но стоило кому-либо показаться на тропинке, как Пушкарев сейчас же выпрямлялся и продолжал путь, не желая показать свою слабость.

Еще совсем недавно никто не надеялся, что Пушкарев справится с тяжелой болезнью. Все ожидали трагического исхода. На запросы Большой земли по радио посылали короткие, скудные ответы: «Состояние тяжелое», «Улучшения не наблюдается». А дней десять назад, ночью, наступил кризис — температура поднялась за сорок один градус.

— Все, — сказал горестно Добрынин, дежуривший около больного. — Сгорит, не выдержит...

Это страшное предсказание тотчас же разнеслось по всему лагерю. У землянки столпились все свободные от заданий партизаны. Всем дорог был Пушкарев, все его знали, все уважали, любили. Больно и тяжело было расставаться со своим руководителем, со старшим боевым товарищем, отдавшим так много сил и энергии организации партизанского отряда.

У топчана сгрудились Зарубин, Добрынин, Костров, Бойко, Рузметов, Селифонов. Поодаль сидели, стояли партизаны. Пушкарев бредил, метался, звал жену, сына, кого-то ругал, выкрикивал обрывки фраз, потом затих.

Наступила сторожкая тишина, слышно было лишь тяжелое дыхание больного. Тусклый свет электрической лампочки освещал усталые, хмурые лица партизан... И вдруг тишину нарушил слабый голос больного:

— Кто это там стоит? Это ты, Макуха? Ах ты, хитрюга! Думаешь, что я уже отживший сучок... Нет, брат...

Лицо дедушки Макухи, стоявшего у дверей, как-то неестественно вытянулось и побледнело. Все затаили дыхание.

Сначала думали, что это последняя вспышка, последний взлет сил перед концом, но оказалось иное — миновал кризис. Через полчаса термометр показал тридцать восемь. Фельдшер дал снотворное и предложил всем освободить землянку.

Пушкарев выжил.

Беляк, обеспокоенный болезнью Пушкарева, был несказанно рад его выздоровлению.

— Перепугали вы всех, Иван Данилович, сразу руки опустились, — сказал он.

— Ты брось отсталые настроения высказывать, — добродушно проворчал Пушкарев. — Я тебе дам — руки опускать!...

Он вытер лоб, который у него то и дело покрывался испариной, и, покачав головой, сказал:

— Угораздило же меня прихватить этот тиф! Как только слег, ну, думаю, укатили сивку крутые горки, не доживу до победы. Ан нет, переборол, знать, есть еще силенка. — И он почему-то похлопал себя по опавшему животу, вызвав общий смех.

...Выяснилось, что у Беляка времени в образ и что ему послезавтра утром непременно надо быть в городе. Пушкарев предложил перейти к делу.

Вопросов накопилось много.

Прежде всего речь зашла о Шеффере. О нем снова запрашивали с Большой земли.

— С этими майорами настоящий водевиль получается, — сказал Беляк. — Уехали они из города с разницей на два дня, а заявили одновременно. Точно сговорились. Один из

Берлина, другой с фронта. Ну и, понятно, в тот же вечер оба к Карецкой пожаловали. И, конечно, поскандалили.

Он рассказал, как все произошло.

Первым пришел Реут. Он принес с собой и поставил на комод фотокарточку, на которой был заснят с Карецкой. Сфотографировались они перед самым отъездом Реута, а карточки отпечатал он в Берлине. Шеффер приехал попозже с большим ящиком закусок и вин. Ящик он с трудом вытащил из машины, сам внес и начал распаковывать. Бахвалился тем, что в его набор вошли экспонаты почти со всей Советской России: украинское сало, русское сливочное масло, знаменитое крымское вино из Массандры, астраханские селедки, керченские кильки, ейская зернистая икра, дальневосточный балык, клинцовские маринованные грибы, нежинские огурцы, тираспольские фруктовые консервы и прочее и прочее...

Настроение у Шеффера было хорошее, но стоило ему увидеть фотокарточку, как он побагровел. А когда Реут намекнул Шефферу на то, что он на фронте, видимо, имел много свободного времени, чтобы собирать коллекции закусок, тот вспылил и наговорил коменданту дерзостей. Реут ответил тем же. Завязалась ссора. Только вмешательство Карецкой предотвратило крупный скандал, и все закончилось тем, что майоры отправились по домам, так и не помирившись.

— В общем, грозные вояки, — рассмеялся Беляк.

— А коллекция как же? — поинтересовался Добрынин.

— Осталась у Карецкой.

— Фотокарточки у вас нет, где они засняты? — спросил Зарубин.

— К сожалению, нет. Реут принес ей один экземпляр, и брать его сейчас было бы неразумно, — пояснил Беляк, обменявшись взглядом с Пушкаревым.

На другой день после ссоры Шеффер зашел в госпиталь и пригласил Карецкую на прогулку. Выполняя указания Беляка, она согласилась. Они походили по окраине города. Карецкая объяснила Шефферу, что она снималась с Реутом против своего желания, и пожаловалась, что ухаживания коменданта ей надоели. Она, мол, убедилась, что Реут несимпатичный человек и хотела бы постепенно отделаться от него.

Шеффера это «постепенно» не устраивало. Он так прямо и сказал. Надо рвать решительно и немедленно. Но Карецкая объяснила, что Реут, как комендант города, всегда может причинить ей крупные неприятности: лишить ее квартиры, работы в госпитале, а то и выселить из города. Портить отношения с комендантом ей крайне невыгодно. Шеффер промолчал.

После этого Шеффер и Карецкая встретились еще раз и опять гуляли вместе. И, наконец, в последний раз, на днях, Шеффер приехал в госпиталь на автомашине, без шофера, и пригласил Карецкую проехаться с ним. Он был особенно самоуверен и навязчив, делал разные нескромные намеки, уговаривал Карецкую принять его дома.

— Дольше, по-моему, ждать нечего, — заключил Беляк. — Обстановка складывается как нельзя лучше. Он с ней поедет куда угодно. Да и Карецкая уже измучилась. Думаю, что вам должно быть понятно ее положение.

— Да... — заметил Зарубин, — ее роли завидовать не приходится. Это не каждому по плечу. Договорились похищение Шеффера провести в конце следующей недели. Наметили день, час. Поручить эту операцию решили Рузметову и Веремчуку, отрядив с ними пятерых конных партизан. Беляка просили поторопиться с присылкой документов, чтобы Рузметов и Веремчук могли скорее проникнуть в город.

Потом Беляк заговорил о Чернявском. Он нарисовал подробную картину преступной деятельности заместителя бургомистра. Чернявский лезет из кожи, стараясь угнать как можно больше молодежи в Германию. Он отправил группу девушек на фронт для солдатского дома терпимости. Никто другой, как Чернявский, арестовывал подростков за распространение подпольной газеты. Узнав, что большинство газет расклеено невысоко, не так, как наклеил бы их взрослый, Чернявский предложил арестовать всех подростков,

живущих в привокзальной части города, — там газет обнаружили больше, чем в иных местах. Он уже дважды ездил в Берлин представляться гитлеровским заправилам и получил награду «за преданную службу». Выдал дочь замуж за фашиста и отправил молодоженов в свадебное путешествие по оккупированным районам Белоруссии. Он окончательно сросся, сроднился с врагами.

— Сволочь! — сказал Пушкарев.

— Ведь он — один из немногих, которым гитлеровцы доверяют, — продолжал Беляк. — Оккупанты уже убедились, что никакой опоры среди населения у них нет. Служит им только разное отребье, отбросы общества, и немцы понимают, что такая «опора» ничего не стоит. Но Чернявского они уже считают своим. А он терроризирует население. Его боятся так же, как комендатуру и гестапо. Он знает все и всех в городе, и оккупанты с ним считаются. Он идет на любое преступление, чувствуя безнаказанность.

— Свое он получит, — твердо сказал Костров.

Все было ясно. Возмездие должно совершиться. Но неотложные боевые дела в отряде и намеченное похищение Шеффера не давали возможности заняться Чернявским в ближайшие дни.

— За каждый день жизни этого мерзавца, — горячо доказывал Беляк, — кровью и слезами расплачиваются десятки наших людей.

— Что ты уговариваешь? — сказал Пушкарев. — Нас убеждать не надо. Знаем, что он сволочь, что его надо убрать. Но рук не хватает. Понимаешь?

— Ты пошли ему пока «задаток», — предложил Добрынин. — Может быть, у него пыла поубавится.

— Правильно, — одобрил Зарубин. — Пусть знает, что он у нас на особом учете.

Под «задатком» имелось в виду предупреждение, которое часто посылали партизаны зарвавшимся немецким ставленникам. «Задаток» иногда оказывал действие. Были случаи, когда, получив предупреждение, предатели устранялись от дел и прекращали свое сотрудничество с оккупантами.

Чернявского включили «на очередь» после Шеффера.

— Как дороги подсохнут, — обещал Зарубин Беляку, — так возьмемся за него.

— Подбирай себе нового начальника, — пошутил Добрынин.

Когда обо всем договорились, Пушкарев вдруг спросил:

— У тебя, Карпыч, дочь есть?

От неожиданности Беляк побледнел. Он растерянно посмотрел на Пушкарева и каким-то не своим голосом ответил:

— Дочь?... Конечно, есть. Так вы же знаете?... Она училась в Москве... А почему вы спросили об этом?

— Значит, дочь есть? — не отвечая на вопрос, повторил Пушкарев. — А кто же думать о ней должен? Кто должен ей писать? Ты или я? — Беляк смущенно моргал, не понимая, в чем дело. — Кто ей отец? — продолжал Пушкарев. — Эх вы, родители! На, получай! — И он подал Беляку письмо. — Хотя оно мне адресовано, но я не читал. По обратному адресу вижу, что оно тебя больше касается...

Руки у Беляка дрожали. С минуту он сидел, держа в руках нераскрытый конверт, и о чем-то думал. Потом аккуратно вскрыл его, вынул небольшой листок бумаги и начал читать. Радостная улыбка озарила его лицо, оно сразу посветлело, помолодело. Прочитав письмо вторично, Беляк подал его Пушкареву.

— А ну-ка, вслух... всем!... — попросил он.

— Ты меня в секретаря своего превратить хочешь, — пошутил Пушкарев, но взял письмо и начал читать:

— «Милый, родной, старенький мой папка! Не знаю, как буду рада, если эти строки дойдут до тебя. А я почему-то глубоко верю, что дойдут. Боюсь за тебя и горжусь тобой. Горжусь и твоими боевыми друзьями, подобными товарищу...» — Пушкарев замялся. — Тут, кажется, дифирамбы по моему адресу. Восхваление моей личности... — пробурчал он.

Все единодушно предложили Пушкареву читать от строчки до строчки и без комментариев. Он продолжал:

— «...подобными товарищу Пушкареву. Не знаю, как отблагодарить этого чудесного человека, давшего весть о тебе. Ведь я так долго и тщетно тебя разыскивала. Папка! Расцелуй его за меня...» — Пушкарев вдруг поперхнулся, закашлялся и продолжал опять: «Я не окончила институт, но обязательно окончу. Годы мои не ушли. Сейчас работаю далеко от Москвы. Мы, как и вы, бьемся за победу и отдаем делу разгрома врага все свои силы. У нас здесь тоже фронт, с той лишь разницей, что нашим жизням ничто не угрожает. Дыхание войны чувствуется постоянно. Папка! Если бы взглянул на завод, где работает твоя дочь. А какие здесь люди, папа! Я совсем взрослая, и ты обо мне не беспокойся. Обязательно напиши. Передай горячий привет своим боевым друзьям от меня и моих товарищей по труду. Мы гордимся вами и вашей самоотверженной борьбой, а больше всех я горжусь тобой, мой родной. Обнимаю, целую. Твоя Людмила».

Беляк подошел к Пушкареву, обнял его и расцеловал.

— За дочь и за себя. Спасибо, Иван Данилович!

— Чтобы сегодня же ответ написал, — строго сказал Пушкарев, пытаюсь подавить охватившее его волнение.

Письмо взволновало всех. Начали вспоминать о том, как жили до войны, рассказывать о своих семьях, кое-кто доставал и показывал сохранившиеся фотокарточки.

Вынул из кармана фотографию и Пушкарев. Он долго держал ее в руке, не спуская с нее неподвижного, как бы застывшего взгляда, потом передал Кострову. С карточки смотрела милостивая пожилая женщина, а на плечо ей склонил головку мальчуган. Все молча смотрели и передавали друг другу карточку. Все знали о горе Пушкарева. А он сидел как-то неестественно прямо, и глаза его излучали такую тоску, что Зарубин не выдержал, поднялся и вышел из землянки.

Молчал окутанный мраком лес. Сквозь чашу его пробивался легкий низовой ветер. Он был теплый и, казалось, нес с собой весну. Чистое звездное небо предвещало хороший день. Но Зарубин ничего не замечал.

Еще в тот летний день, когда Зарубин стоял перед грудой щебня, похоронившей под собой семьи пограничников, он понял, что жизнь для него уже никогда не будет такой светлой и ясной, как прежде. Гибель жены отчасти повлияла и на его решение остаться в тылу у врага, где, как ему казалось, можно было полнее упиться борьбой, мстью. Поэтому он сразу, как в родную стихию, вошел в насыщенную опасностями и лишениями тревожную партизанскую жизнь и жадно искал встречи с врагом.

Ему трудно было смириться с мыслью, что он остался одиноким, что навсегда, на всю жизнь ушел человек, принесший ему столько радости и счастья. Он старался отогнать от себя эту мысль, но она появлялась снова и снова, особенно, когда товарищи заговаривали о своих семьях, о прошлом.

Зарубин вышел за черту лагеря, сел на мокрый пенек и поник головой.

Когда полчаса спустя он вернулся в землянку, там ужинали. Беляк и Добрынин состязались, рассказывая охотничьи истории, веселившие всех.

— А мою последнюю собаку звали Норка, — говорит Беляк. — И до чего же умный был сеттер, все диву давались. Подведет, станет в стойку, и я сразу определял по ее виду, что у нее перед носом: куропатка, перепел, тетерев... И стоит, не шелохнется, пока не подам команды. Бывало так: она станет, а я сяду, выну чарку, выпью, закушу, в зубах поковыряю, а она, как статуя, не шелохнется. Ну и псина была!... Но я хочу рассказать один эпизод...

— Только не привирай, — предупредил Пушкарев.

Зарубин сел за стол и внимательно посмотрел на Пушкарева. Глаза его смотрели грустно, даже когда он улыбался, а на лице, казалось, появились новые морщинки.

«Наверное, после болезни», — подумал Зарубин.

А Беляк продолжал:

— Расскажу сушную правду. Как-то после удачной вечерней зорьки сидим мы с Норкой у костра. Впереди озерцо. Перед сном мы решили поужинать. Вынул я хлеб, мясо холодное... Хватился, а ножа нет. А нож от отца остался. Отец тоже охотник был. Я туда, сюда, в ягдташ, за пояс, за голенище — нигде нет. Пропал! «Норка», — говорю. — «Чего?» — отвечает она. «Ножа-то нет!» — «Ну?»...

— Довольно! Довольно! Опять выдумываешь! — закричал Пушкарев.

— Без ножа зарезал, окаянный!... — хохотал Добрынин.

Смеялись все.

— В чем дело? — спросил Беляк недоуменно, будто он действительно не понимал, в чем дело.

— Выходит, что Норка заговорила человеческим языком, — отвечал ему Костров.

Вновь все захохотали.

— Заговорился... — Беляк с хорошо разыгранной досадой махнул рукой.

— Ну, хватит, — сказал Пушкарев. — Пойдемте, народ уже собрался. — И все отправились в окружкомовскую землянку.

Там уже были Бойко, Снежко, Рузметов, Селифонов.

Пушкарев открыл заседание бюро окружкома.

Сначала рассматривалось решение партийной организации отряда, принявшей в свои ряды кандидатом Дмитрия Карповича Беляка. Докладывал секретарь парторганизации Бойко.

О Беляке говорили Пушкарев, Добрынин, Рузметов.

Подпольная организация в городе, во главе которой стоял Беляк, насчитывала когда-то шесть человек, а теперь в ней двадцать два подпольщика. Организация патриотов собрала среди горожан и доставила в отряд полмиллиона рублей на постройку танковой колонны «Народный мститель». Подпольщики регулярно выпускают завоевавшую любовь у народа газету «Вперед». Они имеют свой боевой счет: взрыв гостиницы, уничтожение предателя Брынзы. Отряду и Большой земле подпольщики добывают ценные разведывательные данные.

— Подпольная организация, — сказал Рузметов, — крепка, сильна, боеспособна. Оккупанты знают ее силу и боятся ее. Сам Беляк — верный сын народа, и ему давно надо быть в наших рядах.

Беляка приняли кандидатом в члены партии.

— Будешь так же работать, — предупредил Пушкарев, — через шесть месяцев примем в члены партии.

Потом обсудили содержание очередного номера газеты «Вперед». Докладывал редактор газеты Костров. А когда кончили с этим вопросом, Пушкарев сказал:

— Теперь отпустим Дмитрия Карповича. Остальное без него рассмотрим.

14

В субботу Карецкая позвонила на службу к Шефферу и сказала, что ждет его. Тот ответил, что через несколько минут приедет. Позавчера они договорились, что совершат очередную прогулку на машине, а потом заедут на квартиру Шеффера и поужинают.

Вчера в десять часов вечера Беляк зашел к Карецкой, чтобы окончательно условиться обо всех деталях, учесть каждую мелочь, рассчитать время до минуты, предусмотреть, что и когда надо сказать, как быть в случае, если Шеффер заупрямится и не захочет ехать туда, куда она предложит. В заключение Беляк спросил:

— Какие-нибудь личные вещи у вас есть?

— Да, но очень немного. Самые необходимые...

— Тем более. Уложите их в вещевой мешок.

Карецкая растерянно улыбнулась.

— Но у меня мешка нет... есть небольшой чемодан...

— Чемодан не подходит, нате мешок, — и, развернув принесенный с собой сверток, он подал ей изрядно потертый армейский вещевой мешок.

Укладывая в него свой нехитрый гардероб, Карецкая с благодарностью думала об этом заботливом человеке, не забывшем даже о мелочах. Уложив все, она спросила:

— И что же мне с ним делать?

— Об этом уж я побеспокоюсь. Он будет у меня на хранении.

— Вы так уверены в благополучном исходе, что оставляете мне единственное платье?

— Иначе не может быть, Ксения Захаровна. Мы действуем наверняка. Ну, а теперь — до счастливого свидания. Не волнуйтесь, будьте осторожны. Действуйте уверенно, но рассчитывайте каждый шаг, взвешивайте каждое слово. Я за вас отвечаю своей совестью, своей головой.

— Перед кем? — удивилась Ксения Захаровна.

— Перед... Пушкаревым, Добрыниным, Костровым... Перед всеми.

— Ну, я пойду. — Беляк подошел к ней, взял в руки ее голову и поцеловал в лоб. — Будьте умницей...

Карецкая села на диван, уткнулась головой в подушку и дала волю слезам. В этих слезах было все: и благодарность Беляку за его отеческую заботу, и тоска по мужу, и тревога за завтрашний день.

Она долго не могла уснуть в эту ночь, вставала, зажигала лампу, принималась читать, чтобы отогнать беспокойные мысли, вновь ложилась в постель. Часы показывали половину третьего, а она лежала с закрытыми глазами и думала. Что, если вдруг завтра изменится погода, пойдет дождь? Тогда все сорвется, никакой поездки не будет. Как же не учли этого? Придется опять встречаться, договариваться. А если придет Реут и спросит, где фотокарточка? Что отвечать?... С этими тревожными мыслями она заснула уже под утро.

...Сейчас, стоя на веранде госпиталя в ожидании Шеффера, Карецкая успокаивала себя: «Если Беляк так уверен, то все будет хорошо. Он сказал: "Мы действуем наверняка". Значит, все будет хорошо...»

У ворот прозвучал сигнал автомашины. Шеффер на «оппеле» с шиком вкатил во двор, круто развернулся и резко остановил машину у самых ступенек террасы.

Он вылез из машины, щеголеватый, самодовольный, усадил Карецкую и сел рядом с ней, за руль.

— Куда? — спросил он.

— Сначала по городу, а потом на кладбище...

— Куда?

— На кладбище...

Шеффер пожал плечами.

— Это вам доставит удовольствие?

— Не только мне, но и вам... Там чудесно...

— Посмотрим, — проговорил Шеффер и тронул машину.

Стоял теплый вечер. На кладбище было тихо. Кудрявилась зелень на деревьях, и лишь легкий ветерок осторожно шелестел в молодой листве. Сквозь верхушки деревьев проглядывал резко очерченный, словно омытый дождем, месяц.

Десять часов. Сверкая огнем больших фар, «оппель» вкатил на аллею и остановился около церкви.

Вышли из машины, огляделись.

— Вы правы, здесь действительно хорошо, но уж очень тихо и мертво. Пройдемся, — предложил Шеффер.

— Обязательно, — согласилась Карецкая, — но я ужасно хочу пить. Зайдемте попьем. — И она указала на кладбищенскую сторожку.

— Там есть люди? Попробуем, — сказал Шеффер.

— Один старичок сторож.

Они направились к жилищу Микулича. Карецкая искоса взглянула на Шеффера, — пистолет, как всегда, висел на левом бедре, в кобуре. И радость, и страх теснили ее грудь, сердце билось тревожно, лицо пылало, ладони сделались влажными, а ноги ступали как-то неуверенно, точно чужие.

«Скорее надо... Скорее! — жгла ее мысль. — Почему он так тихо идет? Неужели он что-нибудь подозревает?...»

Но вот и сторожка. Шеффер сапогом грубо стукнул несколько раз в дверь.

— Входите! Не заперто! — раздался голос.

Карецкая перевела Шефферу эти слова, он потянул дверь на себя, и они оказались в совершенно темной передней.

— Толкайте! Тут вторая дверь, — сказал тот же голос, и она снова перевела это на немецкий. Шеффер впотьмах нащупал дверь, толкнул ее, пригнувшись, вошел в освещенную комнату и остановился. С обеих сторон на него глядели стволы двух пистолетов. Невысокий курносый паренек с рыжими волосами четко скомандовал:

— Хенде хох!

Это был Борис Веремчук.

Шеффер исполнил команду, перевел глаза на лампу, которую сейчас неплохо было бы потушить, и попытался попятиться назад к двери. Но кто-то не особенно вежливо пнул его коленом пониже спины. Быстро обернувшись, Шеффер увидел третьего человека с черными, обжигающими глазами. Делать было нечего.

Карецкая со вздохом облегчения опустилась на скамью.

— Обезоружить... Снять мундир... Связать и в рот — кляп, — спокойно сказал Рузметов.

В комнату вошел четвертый человек — Микулич, дежуривший у ворот кладбища. Убедившись, что все идет нормально, он удалился.

С Шеффера быстро стянули мундир, завернули руки назад и прочно связали телефонным проводом, всунули в рот индивидуальный пакет и посадили на пол возле сундука. Он тяжело дышал. На прозрачно-белом лице злобно блестели налитые кровью глаза.

Мундир майора был уже на Веремчуке. Лейтенант, посмеиваясь, затягивал ремень с пистолетом. Беляк с Рузметовым, чтобы уменьшить размер фуражки майора, накладывали в нее бумагу.

— Вот так хорошо будет, — сказал Рузметов, — а теперь иди, осваивай технику.

— Есть освоить технику! — весело бросил Веремчук и выскочил из комнаты.

— Ну как? — спросил Беляк, подойдя к Карецкой. — Успокоились?

— Не совсем, — ответила та откровенно.

— Самое главное сделано. Можно не волноваться. Я же вам сказал, что мы действуем наверняка. Познакомьтесь... Это начальник штаба партизанского отряда товарищ Рузметов...

Карецкая протянула Рузметову руку.

— Очень рада... Я просто не верю, что все произошло так, как наметили.

— План — это все, — многозначительно сказал Рузметов и улыбнулся.

— А мешочек ваш на месте. Здесь, — хитровато подмигнул ей Беляк. За окном затарахтел мотор, и в комнату стремительно влетел Веремчук.

— Техника освоена, — доложил он. — Прошу сниматься с якоря.

Начали усаживаться. Шеффера положили около заднего сиденья, внизу, и Рузметов, усевшись, положил на него ноги. Веремчук занял место шофера, а рядом с ним устроилась Карецкая. Распрощались с Беляком и Микуличем.

— Ни пуха ни пера! — пожелал Беляк. — Привет всем, особенно командиру отряда!...

Захлопнули дверцу.

— Не машина, а зверь, — сказал Веремчук, трогаясь с места. — Вы будете за штурмана, товарищ Карецкая. Нам надо к мосту.

Карецкая хорошо знала, что в городе всего один мост, дорогу к которому она изучила отлично во время поездок с Шеффером.

Машина на большой скорости промчалась по тихим улицам города и через несколько минут очутилась на окраине. Веремчук, пригнувшись к рулю, сосредоточенно смотрел вперед. Фуражка майора то и дело напозла ему на лоб, и он поправлял ее. Впереди оставалось единственное и главное препятствие — мост. Его охраняют, и там обязательно остановят машину. Другой дороги нет. Пробиваться придется с боем.

Вот в полосе света вырисовался мост. Железная рельсовая балка преграждала путь.

Веремчук собрался было ударить с ходу в балку, но тотчас отказался от этой мысли.

«Ничего не выйдет, — решил он, — разобьемся».

— Держите пистолет на всякий случай, — сказал Рузметов Карецкой. — А ты пробуй поговорить, — обратился он к Веремчуку, — может быть, так обойдется. Если нет — у меня все готово...

— Положи около меня пару гранат, — попросил Веремчук.

В этот момент раздался свисток и крик:

— Хальт!

В свете фар показался часовой. Шеффер зашевелился, но Рузметов крепко надавил на него ногой, и он затих. Карецкая с дрожью ожидала дальнейших событий. Веремчук остановил машину и выключил свет.

Часовой подошел поближе, засветил карманный фонарь и тут же, к удивлению всех, вприпрыжку возвратился к мосту и поднял балку.

— Битте! Битте! — пригласил он.

Не раздумывая ни секунды, Веремчук включил скорость и свет, дал газ, пролетел мимо козырнувшего часового и выскочил на шоссе.

— Ничего не пойму, хоть убейте, — проговорил он, развивая скорость.

— Я тоже, — сказал Рузметов.

Поняла только одна Карецкая, и от радости она так звонко рассмеялась, что Шеффер вздрогнул всем телом.

— Ну как же... — произнесла она. — Я ведь совершенно забыла. У него постоянный пропуск, — и она показала на лобовое стекло, где был прикреплен прямоугольный листок картона.

— Ну, здорово! Просто везет, — восхищался Веремчук. — А я уже собрался прихватить часового с собой.

— Удача! — коротко резюмировал Рузметов.

Впереди уже угадывались черные контуры леса, за который уходил молодой месяц. Пересекли узкоколейку. Веремчук сбавил скорость и свернул налево, на проселочную дорогу. Ехать стало труднее, земля после вчерашнего дождя была вязкая. Задок «оппеля» ежеминутно закидывало, колеса буксовали. Веремчук выключил свет, остановил машину и вздохнул. Впереди показались два темных силуэта. Ксения Захаровна встревожилась и подняла пистолет, но Рузметов успокоил ее, сказав, что это свои.

— Разгружаться! — объявил он и первым вышел из машины.

Подбежали два партизана.

— Быстро лошадей! — приказал Рузметов.

Один из партизан присел на корточки, вглядываясь в сторону леса, и коротко свистнул.

— По коням! — скомандовал Рузметов. — Вытащите из машины немца, проверьте руки и тоже в седло. Только не мять его, — предупредил он партизан.

Шеффера вытащили из машины и усадили в седло. Рузметов помог сестре Карецкой. Она сильно продрогла, зубы ее постукивали.

Подъехал Веремчук и предложил ей шинель, но она поблагодарила и отказалась. Тогда Веремчук бросил шинель на холку ее лошади и грубовато сказал:

— Отставить разговорчики! Одевайтесь!

Карецкая надела шинель. Сразу стало тепло.

— Готовы? — спросил Рузметов, видя, что свободной осталась только его лошадь.

— Готовы, товарищ начальник штаба, — ответил Веремчук.

Рузметов подошел к «оппелю», проколол в нескольких местах шины и раскрыл настежь все четыре дверцы. Разбросав по сиденьям зажигательные пакеты, он вскочил на коня.

Девять всадников шагом проехали назад по следу, оставленному машиной, выбрались на шоссе и перешли на рысь. Уже в лесу они свернули на мягкую, заросшую травой дорогу. Впереди ехал Веремчук, рядом с Карецкой — Рузметов.

Когда дорога стала суживаться, Веремчук сказал кому-то:

— С немцем поосторожнее, а то еще напорется на ветку, чего доброго. Тогда тебе майор покажет!...

— А майор у вас очень строгий? — спросила Карецкая.

— Будьте здоровы! Дает жизни!... — ухмыльнулся Веремчук.

Утром, чуть свет, весь лагерь поднял на ноги Сережа Дымников. Он носился по землянкам и объявлял новость:

— Орлы, вставайте! Возвратились Рузметов и Веремчук. И вы только посмотрите, кого они приволокли — какого-то плешивого фашиста и замечательную дамочку! Чудо, а не женщина! Где они такие рождаются только?... Я...

— Цыц! Не болтай! — прервал его дед Макуха, натягивая сапоги. — Запомни, что болтливый человек всегда с дыркой...

— Где же она, по-вашему?

— В башке, сынок, в башке, — ласково добавил Макуха, — хоть и небольшая дырочка, но есть...

Партизаны хохотали.

Весть о возвращении Рузметова быстро долетела до штабной землянки, где спали Зарубин и Добрынин. Пушкарев и Костров отсутствовали. Они поехали по деревням, чтобы доставить в отряд деньги, собранные крестьянами на постройку танковой колонны.

— С кем будем знакомиться прежде? — спросил Зарубин, торопливо одеваясь.

— Пригласим сначала Карецкую, ты же давно хотел повидать ее, — ответил Добрынин, заботливо заправляя свою постель.

— Ну вот, вспомнил, — неопределенно сказал Зарубин. — Я думаю... — но что он думает, сказать не успел. В землянку вошел Рузметов в сопровождении Карецкой.

— Разрешите доложить, товарищ майор... — начал было Рузметов, но голос его неожиданно сорвался. Карецкая вдруг схватила его за руку. Хриплый стон вырвался у нее. Майор Зарубин секунду молча, широко раскрытыми глазами смотрел на женщину. Потом он провел рукой по лицу, как бы не веря своим глазам.

Вмешался Добрынин.

— Ксения Захаровна Карецкая, она же Наталья Михайловна Зарубина. Прошу любить и жаловать. — Он улыбнулся, закусил седой ус, махнул рукой и вышел.

— Наташа!

— Валька! Родной!

Прижавшись к груди мужа, Наталья Михайловна тихо плакала, а он молча гладил ее волосы, целовал лоб, глаза...

Через час в штабной землянке за столом собралась большая компания. Подоспели к этому времени и Пушкарев с Костровым.

— Значит, вы все время знали, что она так близко от меня? — с легким укором спросил Зарубин, обращаясь к Пушкареву и Добрынину.

— Нет, Валентин, — сказал Пушкарев. — Когда секретарь горкома познакомил нас с Натальей Михайловной, он не сообщил нам ее настоящей фамилии. Мы знали только Ксению Захаровну Карецкую.

— Это Беляк открыл правду, — добавил Добрынин.

— Да, — подтвердил Пушкарев. — Наталья Михайловна как-то попросила его послать запрос на Большую землю о ее муже. Она написала ему твою фамилию, имя и отчество. Вот тогда все стало ясно.

— Ах, хитрец! — рассмеялась Наталья Михайловна. — А ведь он и виду не показал, что знает Валентина.

— Беляк — человек выдержанный, — одобрительно сказал Пушкарев. — Но он в тот же день послал мне секретное донесение об этом. Мы с комиссаром и Костровым даже поспорили — сказать тебе или нет, — обратился он к Зарубину.

— Нельзя было сказать, — пояснил Добрынин. — Ваши нервы поберегли... Особенно Натальи Михайловны. Она ведь как раз Шеффером занималась. Да и ты бы волновался за нее. Решили подождать, пока все будет сделано, и... представить вас друг другу.

— Зато Беляк оберегал Наталью Михайловну пуще глаза своего, — добавил Костров.

Добрынин взял со стола большую кружку, наполненную сладкой хмельной брагой.

— За боевую подругу нашего командира! За русскую женщину!

— За Наталью Михайловну! — добавил Рузметов.

— И за Ксению Захаровну! — крикнул Веремчук.

15

Шеффера допрашивали Костров и Веремчук. Он рассказал подробно свою биографию, сообщил все данные о своей службе в армии, где он в течение ряда лет занимал руководящие должности в разведывательных отделах.

Шеффер держал себя непринужденно, на все вопросы отвечал охотно и исчерпывающе. Но как только по ходу допроса упоминалось имя Карецкой, он мрачнел, хмурился и умолкал.

Веремчук шутя сказал Зарубиной:

— Он вас любит безумно. Как только назовешь вашу фамилию, у него отнимается язык.

Наталья Михайловна смеялась.

На одном из допросов Шеффер между прочим сообщил, что гестаповец обер-лейтенант Бергер его близкий друг. Оба они родом из Франкфурта-на-Майне. Они должны были даже породниться. Последний отпуск они проводили вместе. Бергер ухаживал за младшей сестрой Шеффера, сделал ей предложение. После войны должна была состояться свадьба.

Капитан Костров тотчас же обратил внимание на эти подробности. Если Шеффером интересовалась Большая земля, то для отряда не меньший интерес представлял «специалист» по партизанским делам гестаповец Бергер.

У Кострова созрел план. Он составил «проект» письма на имя Бергера, ознакомил с ним Шеффера и предложил майору переписать его своей рукой и подписать.

Шеффер заупрямился.

— Мой моральный кодекс не позволяет идти на подобный шаг, — с достоинством заявил он.

— Ах, вот как! — возмутился Костров. — А по нашим понятиям, в моральный кодекс не должны входить такие мероприятия, как массовое истребление мирного населения, стариков, женщин, детей, расстрелы безоружных, насилия над женщинами, которые широко практикуют ваши молодчики.

Шеффер пожал плечами. Видимо, эти доводы казались ему неубедительными.

— Ну, хватит, — резко сказал Костров. — Выбирайте! Или-или...

Шеффер согласился.

— Дошло!... — сказал Веремчук, делая серьезное лицо. — Вот что значит правильно подойти к человеку!...

Шеффер прочитал письмо, внес резонные поправки, переписал и подписал его.

Содержание письма было таково:

«Дорогой Альберт! Подательницу этого письма не задерживай и ни о чем не спрашивай. В-первых, она не в курсе дела, во-вторых, нужна мне. Отпусти ее. Я с Карецкой нахожусь в леспромхозе в доме старосты Полищука. Ты, как я полагаю, меньше, чем кто-либо, заинтересован в том, чтобы меня скомпрометировать, а потому ни обо мне, ни об этом письме пока никому не говори ни слова. Потом вместе расскажем и моему и твоему шефу. Тут очень интересные дела, и мне хочется думать, что типография, выпускающая газету и

доставляющая тебе столько неприятностей, в наших руках. Если хочешь, чтобы дело увенчалось успехом, не болтай. Возьми с собой двух ребят, знающих русский язык, и срочно приезжай сюда. Твой Пауль.

Р. С. Воображаю, что вы подумали, когда нашли мою сгоревшую машину! До чего доводит русская водка! Ожидаю тебя. Шеффер».

Багрова посадили на зарубинского жеребца и отправили с письмом в леспромхоз.

— Аллюр три креста, — напутствовал курьера Зарубин. — Прикажи Полищуку, чтобы он подбросил Анастасию Васильевну до города на подводе. Обрато выедешь после возвращения Анастасии Васильевны.

Багров пустил коня быстрой рысью и скрылся в лесу.

— Думаешь, из этой затеи что-нибудь получится? — обратился Зарубин к Кострову.

— Уверен! — твердо ответил тот. — Даже больше чем уверен.

Зарубин нервно передернул плечами и закурил.

— Плохо, что мы привыкли считать врага глупее себя. А ведь так не всегда бывает? — спросил он Кострова. Тот наклонил голову в знак согласия.

— Я не против риска, не против подобных экспериментов, — продолжал Зарубин. — Я даже, как видишь, содействую... Но в душе не верю. Неужели этот Бергер так глуп, что пойдет на эту удочку? Это же примитив!

— Товарищ майор! — возразил Костров. — Если бы Бергер не был другом Шеффера и не был бы нареченным его родной сестры, я бы сам не пошел на эту комбинацию. Представьте себе, что вы получили бы такое приглашение от своего шурина. Я уверен, что вы тотчас бы выехали...

— Затрудняюсь сказать, — прервал его Зарубин.

— Я сейчас думаю о другом, — продолжал Костров, — приедет ли он, как просил Шеффер, в сопровождении двух-трех человек или же потянет за собой целый хвост?...

— Это как раз не играет особой роли. Пусть он тянет за собой хоть взвод! В общем, я вижу, так или иначе к встрече надо готовиться.

— Конечно.

— Тогда разыщи Рузметова — и ко мне, — предложил Зарубин.

Через полчаса Костров вернулся с Рузметовым.

— Ты в курсе дела? — спросил Зарубин Рузметова.

— Да! Мне рассказал Костров.

— Надо подобрать двадцать человек, дать им пару ручных пулеметов, гранаты. Кому поручим операцию?

— Могу пойти я, — ответил Рузметов.

— Тогда бы я так и сказал, что поручаю тебе, — резко оборвал его Зарубин, — а я спрашиваю — кому?

— Свободен из командиров только Селифонов, — тихо проговорил Рузметов.

— Вот он пусть и ведет людей, а ты займись Чернявским. Проинструктируйте Селифонова вместе с Костровым. Пусть Шеффер расскажет приметы Бергера, чтобы ребята его не ухлопали. Людей накормите и уложите отдыхать.

Это было утром, а часов в десять вечера на взмыленном коне прискакал Багров и доложил:

— Письмо передано в руки самому Бергеру. Анастасия Васильевна уже дома...

Костров потребовал подробного доклада. Оказалось, что Беляк внес некоторые поправки в его план. Он воспротивился тому, чтобы письмо вручала Анастасия Васильевна, а сделал так, что и она и он сам остались в стороне. Письмо Беляк передал Бергеру через незнакомую деревенскую женщину, заплатив ей за эту услугу.

Узнав, что письмо попало к Бергеру, Костров заволновался и настоял, чтобы группа Селифонова выступала немедленно.

— Пожалуйста, не возражаю, — сказал Зарубин, — но каким бы другом Бергер ни был Шефферу, он на ночь не рискнет ехать в леспромхоз...

Зарубин не допускал мысли, что гестаповец решится совершить ночную прогулку.

«Друг-то друг, а жить он тоже хочет, — рассуждал Зарубин. — Он больше, чем кто-нибудь другой, считается с партизанами. Правда, на этой дороге — из города в леспромхоз — мы никогда не трогали немцев. Костров надеется, что Бергер поэтому может рискнуть. И все же сомнительно».

Зарубин развернул записку Беляка, принесенную Багровым. Беляк сообщал, что среди оккупантов поднялась паника, как только за городом была обнаружена сгоревшая машина майора Шеффера. Часовой, охранявший мост, заявил, что видел майора в машине. Майор проезжал через мост, и рядом с ним сидела женщина. Кто эта женщина — неизвестно. Комендант Реут особенно активно включился в розыски. Он дважды был на квартире Карецкой и в госпитале и, очевидно, связывает ее отсутствие с исчезновением Шеффера.

В конце записки Беляк напоминал Зарубину о его обещании заняться Чернявским и просил ускорить проведение операции.

...Темная майская ночь. Утих гомон ночных птиц, недвижим лес, перестали беспокойно квакать лягушки в протоке, да и сама неглубокая протока не журчит, не плещется. Все спит. Не спят только партизаны. Расположившись в зарослях, около моста через протоку, у самой дороги, ведущей в леспромхоз, они чутко вслушиваются в ночную тишину. Командир взвода лейтенант Селифонов замаскировался в нескольких метрах от моста. Два дозорных залегли около шоссе в полукилометре впереди. При появлении машины оттуда должен был прозвучать крик филина. Резервная группа из семи партизан с пулеметом засела на противоположной стороне, за дорогой. И все напряженно всматривались в темноту.

Селифонов, накрывшись с головой плащ-палаткой, засветил карманный фонарик и посмотрел на часы. Было без десяти три.

«Не приедут гости, — твердо решил он про себя. — Будут ожидать света». И крикнул связному:

— Подменить дозорных, выставить двух часовых. Остальным отдыхать.

Томительное напряжение спало. Послышался приглушенный говор, короткие смешки. Партизаны без пояснений поняли, что гестаповец, видимо, не решился предпринять ночную прогулку.

— Теперь бы еще курнуть малость. Затяжечки три-четыре, — несмело проговорил кто-то.

— Кто хочет курить — на двести метров в лес, — сказал Селифонов, и с земли поднялись почти все сразу.

Когда взошло солнце, партизаны были на своих местах. Селифонов внимательно оглядывал местность. Протока впадала в небольшое красивое озеро. Над озером висел облачком прозрачный утренний туман. Утки стаями кружили над водой.

Лесная дорога, прямая, как стрела, просматривалась не менее чем на километр в обе стороны. Селифонов приказал снять дозорных и вел теперь наблюдение сам.

В начале седьмого со стороны города показалась машина. Она шла с большой скоростью.

У самого моста, в заливаемой полой водой низине грунтовая дорога переходила в выложенную прогнившими бревнами. Здесь машина сбавила ход и неуклюже запрыгала по бревнам.

«Мерседес», — отметил про себя Селифонов. — Автомобиль на тихом ходу въехал на горбатый мост, не вызывавший с виду никаких подозрений. Но на самой середине моста подрубленные партизанами бревна вдруг провалились, и передние колеса машины повисли над протокой. «Мерседес» застрял.

Партизаны выскочили из засады и устремились к мосту. Послышались грозные выкрики: «Руки вверх!», «Хенде хох!»

Стволы винтовок и автоматов угрожающе уставились на пассажиров. Из машины вытащили немецкого офицера и шофера. Третий оказался русским, хотя и был одет в немецкое обмундирование.

— Наладить мост!... Машину — в озеро!... И чтобы никаких следов!... — приказал Селифонов, когда пленные были обезоружены. И тут же подумал, взглядываясь в офицера:

«А те ли это, кого мы ожидали? Обер-лейтенант. Щуплый, сутулый, молодой. Будто похож. А вдруг да не он?»

— За мной! — Он взмахнул рукой и направился к лесу.

Отойдя на сотню метров от дороги, Селифонов остановился, чтобы дожидаться партизан, возившихся с мостом и машиной. Внимательно разглядывая пленных, испуганно косившихся на конвоирующих их партизан, он вдруг резко спросил у предателя в немецком мундире:

— Фамилия!

— Ду... Дубняк... Дубняк... — пролепетал тот, стуча зубами.

— А это что значит? — Селифонов дернул за борт мундира.

— Я... я... референт гестапо по русским делам...

— Это кто? — кивнул Селифонов в сторону офицера.

— Обер-лейтенант Бергер... заместитель начальника отделения гестапо...

— Хватит! — оборвал Селифонов.

— Что вы со мной хотите делать? — жалобно спросил Дубняк.

Дед Макуха, стоявший позади, ответил коротким смешком:

— Пристроим куда-нибудь... Найдем работенку...

— Что вы этим хотите сказать?

— А то, что уже сказал, — спокойно ответил старик.

«Ну, можно считать, что все в порядке, — думал Селифонов. — И волки сыты, и овцы целы. Как сказал Костров, так все и вышло. Вот голова у парня, — позавидуешь! А вон и ребята идут...»

Поимка Бергера на несколько дней задержала выход в свет очередного номера подпольной партизанской газеты.

Обер-лейтенант рассказал Кострову и Веремчуку много интересного и назвал фамилии людей, сотрудничающих с гестапо и предающих советских людей.

Поэтому Костров поместил в газете уведомление:

«Товарищи! Попавшие в наши руки гестаповцы Бергер и Дубняк выдали своих подручных, изменников родины, продавшихся фашистам. Вот они: Калина Степан — торговец, Бурнаков Фома — директор школы стенографии и машинописи, Воркут Поликарп — заведующий аптекой, Еманов Семен — владелец кафе, Золотовский Вадим — содержатель заезжего двора, Бадягин Виктор — диктор радицентра. Остерегайтесь предателей! Знайте все, кто они на самом деле. Пусть трепещут их рабские души! Пусть знают они, что за каждым из них следят тысячи советских людей и следим мы — советские партизаны! У народа зоркие глаза и хорошие уши. Не уйти предателям от карающей руки народа».

Все предположения Кострова оправдались. Бергер не поставил никого в известность о своем выезде. Более того, письмо майора оказалось в кармане Бергера. Таким образом, гестаповцы лишились улики и отпала угроза разоблачения Полищука, упомянутого в письме.

— Ты прав оказался, Георгий Владимирович, — сказал Зарубин начальнику разведки. — Я никак не ожидал...

— А вы были правы, — напомнил Костров, — в своем утверждении, что ночью Бергер не решится ехать.

Зарубин рассмеялся.

— Дипломат! Получается, что мы оба правы.

Утром к Зарубину прибежал Топорков и подал расшифрованную радиограмму.

— «Молния», — доложил он. — Слушать будут через полчаса...

Зарубин быстро пробежал глазами листок бумаги и сказал:

— Отвечай: «К приему самолетов готовы».

...Ночью прилетели два трехместных самолета с боеприпасами, медикаментами и продуктами. В них усадили Шеффера и Бергера. Улетела и Наталья Михайловна Зарубина. Недолго ей довелось пожить в лесу, хотя она сразу начала входить в роль партизанского врача. Приказание о ее выезде пришло с Большой земли. Зарубин радировал, что Наталья

Михайловна хочет остаться в отряде, но в ответ получил повторное приказание. Пришлось подчиниться.

16

В ту ночь, когда отряд провожал на Большую землю Наталью Михайловну Зарубину, Беляка через посыльного вызвали в управу.

«Что-то стряслось», — думал с тревогой Беляк, шагая рядом с посыльным по улицам города. Откуда может грозить опасность? В городе переполох в связи с исчезновением Шеффера и Бергера. От первого хоть машина сгоревшая осталась, а от второго — никаких следов. Пропали также референт Дубняк и шофер Бергера. Но чего можно опасаться с этой стороны? Все сделано чисто. Может быть, газета? Очередной номер еще не вышел, — возможно, выйдет завтра. Кудрин и Найденов вторые сутки не выходят из церковного подвала. Микулич?... Но он полчаса тому назад ушел от Беляка живой и здоровый. Остальные подпольщики не знают Беляка.

«Неужели заметили, что я посещал Карецкую? — мелькнуло подозрение. — Тогда дело дрянь. О том, что она исчезла, знает, пожалуй, полгорода». — И Беляк стал упорно восстанавливать в памяти все обстоятельства, при которых он появлялся в квартире Карецкой, стараясь вспомнить хоть какую-нибудь допущенную им ошибку, неосторожность. Он посещал ее только с наступлением полной темноты. Никогда не замечал, чтобы кто-нибудь видел, как он входит в дом.

«Уж не Багров ли попался? — подумал Беляк и тут же возразил сам себе: — Тогда почему в управу вызывают, а не в гестапо? Нет, не то... Герасим парень осторожный».

Багров покинул город еще в полдень с попутной крестьянской подводой, везя с собой документы, изготовленные по просьбе Кострова. Сейчас он должен был быть уже в лагере.

В управе дежурный объяснил Беляку, что его вызвал Чернявский.

— Он сегодня чумной какой-то, — добавил дежурный, — сам не свой.

Чернявский с растерянным и каким-то помятым лицом ходил по длинному кабинету, поминутно хватаясь за голову. На вопрос Беляка: «Что произошло?» — он вместо ответа протянул ему листок бумаги. При одном взгляде на эту записку у Беляка сразу стало легко на душе — все сомнения исчезли.

— Господи! Что же это такое?... — взмолился Чернявский. — Вы прочтите...

Беляк с удовольствием прочел вслух:

— «Ты, фашистский недоносок! Считаю себя покойником. Пришел и твой черед. За слезы матерей, чьих детей ты угнал на каторгу, за погубленные жизни советских людей тебя ожидает смерть. Возмездие восторжествует. Советские партизаны».

Это был «задаток».

— Я вам доверяю, господин Беляк, — волнуясь, заговорил Чернявский. — Об этом письме еще никто не знает... Видите, оно напечатано на пишущей машинке... Шрифт мне что-то знаком... Поинтересуйтесь, проверьте, не из управы ли эта машинка?

— Хорошо, — сказал Беляк. — Но почему вы решили, что письмо, это адресовано именно вам?

— Боже! Вы еще спрашиваете! Во-первых, я нашел его на своем столе, во-вторых, вот... вот!

— и он показал конверт, на котором очень четко было написано: «Лично. Заместителю бургомистра господину Чернявскому».

Животный страх охватил предателя.

— Хваленая гестапо!... — стонал он, обхватив голову руками. — Где же она? Где? Где все эти вездесущие и всемогущие гестаповцы? Они о чем-нибудь думают? Они не в силах защитить нас, верных слуг Германии. Хваленый Бергер! Это же не гестаповец, а кретин. Он сам влип где-то, как кур в ошип, и перьев не оставил... И они еще о чем-то думают... в чем-то уверены!... Нет! — Чернявский тяжело упал в кресло. — Не гестаповцы и не мы здесь хозяева. Не мы... Вот! — Он выхватил из рук Беляка письмо. — Вот хозяева! Что хотят, то и

делают с нами... Убивают, выкрадывают, взрывают... И никаких следов.

— Вы напрасно принимаете так близко к сердцу эту ерунду, — заговорил Беляк.

— Ерунду? Ближко к сердцу! — завопил Чернявский. — А что бы вы делали на моем месте?

— Не волновался бы. Это просто угроза. Вас они достать не в состоянии, а поэтому хотят поугатать.

— Вы думаете? — нерешительно спросил Чернявский.

— Не думаю, а уверен. Если бы они имели возможность с вами расправиться, то не посылали бы этой записки.

Заместитель бургомистра замолчал, о чем-то раздумывая и не сводя остекленевших глаз с Беляка. После длительной паузы он спросил:

— Как вы считаете, показать письмо в гестапо?

Беляк сделал вид, что обдумывает ответ, потом пожал плечами и произнес:

— По-моему, незачем. Вы же сами говорите, что они бессильны...

— Вы простите меня, — извиняющимся тоном сказал Чернявский, — я наболтал много лишнего... разнервничался... Пусть это останется между нами.

Беляк кивнул головой.

— Вы убедитесь, что я прав. Не тревожьтесь напрасно.

Два дня спустя, в час обеденного перерыва, Беляк задержался в управе немного дольше обычного и вышел из здания вместе с секретарем Чернявского.

Не успели они сойти со ступенек крыльца, как к подъезду подкатил мотоцикл. На машине сидело двое: за рулем эсэсовец, а за спиной его — русский парень с нарукавником полицаи и в немецкой пилотке.

Полицай слез с заднего сиденья, отряхнул пыль с пилотки и одежды и спросил:

— Нам нужен заместитель бургомистра господин Чернявский. Как к нему попасть?

Секретарь объяснил, что Чернявского нет, — несколько минут назад он уехал.

— А как же его найти? У нас срочное дело!

Секретарь ответил, что найти его можно только дома, но для этого надо предварительно созвониться с ним.

— Мне, что ли, звонить? — спросил полицаи.

— Нет, лучше уж мы позвоним, — сказал секретарь и вместе с Беляком вернулся в здание.

Через несколько минут секретарь появился на балконе, перегнулся через перила и спросил полицаи:

— А что сказать Чернявскому?

Полицай посмотрел по сторонам, кинул подозрительный взгляд на проходившего мимо горожанина и, сложив ладони рупором, приглушенно сказал:

— Передайте ему, что мы приехали с совершенно секретным пакетом на его имя от начальника абверкоманды. Вот! — И он похлопал по кожаной сумке, висевшей у него на боку.

Секретарь исчез. На балкон вышел Беляк. Он приложил ко лбу козырьком руку, заслоняясь от лучей солнца, и постоял, разглядывая улицу. Потом вынул карманные часы.

— Поздновато, — произнес он и покачал головой.

Выглянул секретарь.

— Езжайте! — сказал он. — Господин Чернявский вас ожидает. Луговая, четырнадцать. Большой белый дом... Найдете?

— Попробуем, — ответил полицаи, взбираясь на свое место. Мотоцикл умчался.

...Часовой с винтовкой за плечом, стоявший у особняка заместителя бургомистра, взял под козырек и вытянулся. Эсэсовец остался на мотоцикле, а полицаи прыгнул и быстро поднялся по ступенькам к парадному входу. Звонить не пришлось. Чернявский сам открыл дверь и провел полицаи за собой в большую светлую комнату, устланную ковром.

— Вы господин Чернявский? — спросил курьер.

— Да.

— Здравия желаю! — полицаи щелкнул каблуками. — Прошу получить и расписаться на

конверте.

Он подал письмо и объемистый, обшитый и опечатанный прямоугольный сверток с грифом: «Строго секретно и весьма срочно». Чернявский осторожно вынул письмо, прочел его и автоматической ручкой, любезно поданной курьером, расписался.

Полицай, не торопясь, аккуратно сложил конверт вдвое, спрятал в карман, застегнул пуговку и спросил:

— Разрешите идти?

— Пожалуйста! Мой сердечный привет вашему начальнику.

— Есть передать сердечный привет... — И полицай, четко повернувшись, вышел.

Чернявский прошел вслед за ним, чтобы закрыть дверь.

Часовой стоял около невозмутимого рыжекудрого эсэсовца и разглядывал новенький мотоцикл.

Полицай быстро сбежал со ступенек, сел позади эсэсовца и сказал ему что-то вполголоса. Увидев остановившегося у дверей Чернявского, полицай козырнул ему. Затем мотоцикл взвыл и рванулся с места, оставив после себя сизо-голубое облачко.

Через десять минут взрыв потряс особняк заместителя бургомистра. Возник пожар. Приехавшие пожарники и гестаповцы нашли Чернявского мертвым.

А в это время виновники происшествия были уже далеко от города и мчались на предельной скорости по шоссе. Они не слышали взрыва и не гадали над вопросом: «сработает» ли сконструированная их руками мина? Знали точно, что «сработает».

Сбавив ход уже в лесу, мотоцикл съехал на песчаную дорогу и, пройдя километра два, стал. «Эсэсовец» остался сидеть за рулем, а «полицай» свалился на песок.

— Ой, кажется, Борис Федорович, ты из меня все потроха вытрусил! — произнес он.

— Можно вернуться и собрать. Ну, как думаешь? — спросил Веремчук, вытаскивая из кармана кисет с табаком.

— А чего думать? — ответил Дымников. — Расписочка тут. — Он похлопал по карману. — Кто ее дал, больше никогда не распишется. А подробности Беляк доложит.

Друзья рассмеялись и стали закуривать.

Беляк узнал о смерти Чернявского через полчаса. Весть о взрыве моментально облетела, весь город. У особняка бывшего заместителя бургомистра собралась толпа, понаехали автомашины, любопытные запрудили всю улицу.

Кто-то из гестаповцев допрашивал часового, охранявшего дом, и тот, заикаясь, плел что-то несуразное. Автоматчики шарили по двору, по саду, лазили на чердак, в подвал.

В управе восседал сам начальник гестапо. Он занял кабинет Чернявского, приказал вскрыть сейф, письменный стол, потом приступил к допросам. Первым был вызван Беляк.

— Вы, кажется, видели мотоциклистов и беседовали с ними? — спросил гестаповец через переводчика.

— Видел, но не беседовал, — ответил Беляк, — Беседовал с ними секретарь Чернявского. — И он подробно описал, как все происходило.

— Довольно! Идите! Секретаря ко мне! — оборвал его начальник гестапо.

Ввели секретаря.

— Кто был на мотоцикле? — рявкнул начальник гестапо.

— Эсэсовец и полицай...

— Вы проверили у них документы?...

— Нет. Они заявили, что из абверкоманды...

— Дубина!... — заревел гестаповец, тряся кулаками. — О чем вы с ними болтали?

— Они хотели видеть Чернявского... У них был срочный пакет... И...

— И?... — прорычал гестаповец, пригнувшись к столу.

— И я позвонил Чернявскому... Он согласился принять...

— Идиот! — бушевал начальник гестапо. — Убрать его.

Радостный и возбужденный, возвращался Беляк домой.

Он был восхищен поведением Веремчука и Дымникова.

«Какая смелость! Какая выдержка! — восторгался он. — Полное хладнокровие. Ни одного лишнего жеста, взгляда! Надо будет подробно все описать Пушкареву, Добрынину, всем. Пусть гордятся. И про допрос напишу. Смех — и только! За одну неделю: Шеффер, Бергер, Чернявский, Дубняк. Надо будет сходить к Микуличу и рассказать ребятам».

А старик Микулич с нетерпением ожидал Беляка в его квартире. И как только тот переступил порог, старик сразу доложил:

— Беда, Карпыч... Кудрину совсем плохо... Паралич стукнул.

Беляк изменился в лице.

— Где он?

— Там же... в подвале...

Беляк глянул в окно. Уже темнело.

— Пойдем!

Кудрин лежал в типографии, на матрасе, а возле него на коленях стоял большой, неуклюжий Найденов.

Взглянув на Кудрина, Беляк сразу понял, что смерть близка.

Чувство бессилия охватило Беляка. Он ничем не мог помочь товарищу. Михаил Павлович Кудрин, чьими руками была создана типография и выпущены сотни экземпляров газет, человек, отдавший делу последние силы, — умирал.

— Я знал, что ты придешь, — хриплым, неузнаваемым голосом промолвил Кудрин. — Прости, Карпыч, хлопот наделал...

Губы его еле-еле шевелились.

— Горемыка ты наш родной, — склонившись над умирающим, плакал Микулич. — Душа ты наша чистая! Не уберегли мы тебя...

Кудрин слабым движением руки остановил его. С трудом вбирая в себя воздух, он прошептал:

— Останетесь живы... скажите сынкам... отец умер при хорошем деле. Матушка-родина не помянет лихом старика... — Он смолк на мгновенье, еще раз вздохнул и сказал явственнее и громче: — А фашистов бить!

Глаза застывали, тускнели. Кудрин умер.

Похоронили его ночью на кладбище, недалеко от сторожки Микулича.

17

С тех пор как в отряде появился радист Топорков, вошло в правило ежедневно, по утрам, проводить политические информации. Командиры рассказывали партизанам о событиях на фронтах, о жизни в тылу, о международном положении и все это связывали с очередными задачами партизанского отряда. Политинформации отнимали ежедневно не более получаса. Идя на боевую операцию или в разведку, каждый боец отряда мог сообщить любому встречному горожанину или жителю деревни последние новости, объяснить смысл событий, происходящих в оккупированных районах и на фронте.

Проводили эти беседы поочередно Пушкарев, Зарубин, Добрынин, Рузметов, Костров, Бойко, Селифонов.

Для политинформации отряд обычно собирался на большой поляне в ста метрах от лагеря. Эта поляна была как бы разрезана надвое маленькой лесной речушкой.

Сегодня беседу проводил комиссар отряда Добрынин. Он рассказал, что внимание всей страны сейчас приковано к Северному Кавказу, куда рвутся гитлеровские разбойники. Воды Дона и Маныча окрасились кровью советских людей. Дым пожарищ повис над станицами и селами, предгорьями, долинами и степями.

— Вот что пишет «Правда» в передовой. — Добрынин развернул сброшенную вчера самолетом газету. — Это обращено к нам: «Враг рвется к Волге, к Баку, в глубь Кавказа.

Сдерживая натиск противника, Красная армия перемалывает его живую силу, сокрушает его технику. В этой гигантской борьбе неопределимую помощь нашим войскам оказывают славные

партизанские отряды.

Доблестные народные мстители! Родина с любовью и благодарностью следит за вашими героическими подвигами и ждет от вас новых ударов по ненавистному врагу.

Партизаны и партизанки! Не давайте немцам ни минуты покоя. Держите фашистов в непрерывном страхе. Истребляйте их всеми методами. Чем больше инициативы, находчивости и решительности вы проявите, тем больший ущерб нанесете врагу, тем скорее подорвете его силы. Бейте немцев всюду, уничтожайте их штабы, взрывайте вражеские склады, срывайте подвозку резервов, военной техники, боеприпасов, нарушайте связь...»

...Политинформация окончилась. Командиры взводов и отделений подняли своих бойцов. Надо было сменять тех, кто стоял в дозорах, секретах, дежурил в лагере, надо было отправлять людей на боевые задания.

На берегу речки остались Добрынин и несколько партизан, свободных от нарядов. Можно было идти в лагерь, но уж очень хорошо было здесь сидеть! Хотелось еще полежать на траве, погреться под лучами раннего солнца, покурить, не торопясь побеседовать о том, о сем. Медленно текущая речка плескалась у невысокого песчаного берега, омывала торчащие из земли корни деревьев. Где-то за рекой перекликались перепела и недружно, вразнобой, стрекотали кузнечики.

Партизаны еще находились под впечатлением только что окончившейся беседы.

— Значит, плохие дела на фронте опять пошли, — сказал как бы самому себе дедушка Макуха. Он сел на берег, неторопливо, привычным движением ног стянул с себя разнопарные сапоги — один кирзовый, другой хромовый, сбросил портянки и опустил ноги в воду.

— Ого! — в ту же секунду крикнул он и вытащил ноги обратно. — Сверху печет, а вода как лед.

Дед покрутил головой и по-прежнему, ни к кому не обращаясь, глубокомысленно сказал:

— Ишь ведь, куда залез, гад... на Кавказ. Ну, ничего: чем дальше залезет, тем труднее будет выбираться. Там ему всыпят по первое число. Наполеон тоже соображал — забрался, мол, в Москву, и конец войне, а после — еле ноги унес. Нет, брат!...

— Правильно, дедушка, — перебил Макуху Дымников. — Побежит Гитлер с Кавказа. Оно с гор-то и бежать легче будет.

Макуха покосился на Дымникова и замолчал. Он не любил, когда его прерывали. Осторожно, поеживаясь и открыв рот, дед опустил в студеную воду сначала пятки, потом целиком ступни.

Дымников лежал на спине, недалеко от Добрынина, из-под ладошки наблюдая, как жаворонок поднимался ввысь, заливаясь звонкими трелями; серый комочек делался все меньше и меньше и, наконец, растворился в голубой высоте.

— Сейчас спикурует прямо на нас, — сказал Дымников.

— Где? Кто? — встревоженно спросил Макуха и быстро вынул ноги из воды. Он решил, что речь идет о немецких самолетах.

— Жаворонок... — спокойно ответил Дымников, стараясь разглядеть птичку в небе.

— Ну, а когда же свадьба у тебя, Серега? — как-то чересчур поспешно спросил Макуха, видимо, желая скрыть свое беспокойство.

— Да у нас все готово! — оживленно ответил Дымников. — Мы уже почти супруги. Обо всем договорились, все неясные вопросы утрясли. Вот на, погляди на мою будущую женушку. — И, вынув из кармана маленькую фотокарточку, Дымников протянул ее старику. Макуха вытер руки о штаны, взял фотографию, прищурил глаза и сделал вид, что разглядывает снимок. На самом деле, страдая дальновзоркостью и не имея очков, он ничего не видел.

— Дурень ты, Сережка, — укоризненно заметил он, продолжая вертеть карточку, — На снимке одно, а в натуре другое. Недаром в старину говорили: никогда не выбирай жену и сукно при свечке. — Он возвратил карточку Дымникову.

Партизаны засмеялись.

Дымников совсем недавно завел переписку с девушкой, работавшей секретарем правления одного из уральских колхозов. Любитель шуток и большой балагур, он стал выдавать девушку за свою невесту.

— Ну-ка, дай я посмотрю, — протянул руку Добрынин.

Дымников замялся, но потом нерешительно подал маленький снимок комиссару, настороженно следя за ним.

Добрынин удивленно поднял брови и едва сдержал смех. Со старой, потертой фотокарточки на него смотрел улыбающийся Дымников.

Ободренный тем, что комиссар его не выдал, Дымников продолжал балагурить:

— Ничего, дедушка! Я докажу, что любовь может возникнуть на расстоянии. Учти, что женщины любят героев. А я для нее прославленный герой. Она так и обращается ко мне: «Дорогой народный мститель...»

— Болтун ты, — махнул рукой дед. — Я вот...

Он не договорил. На поляне, за рекой, послышались один за другим четыре взрыва, и желтовато-белые облачка повисли у самой земли. Гитлеровцы уже четвертый день утром и вечером, в одни и те же часы, обстреливали лес из минометов, не причиняя, впрочем, партизанам никакого вреда.

— Наверное, восемь часов, — сказал Добрынин и посмотрел на часы. — Ну, правильно. Точно восемь. Как всегда, по расписанию.

— Опять, сволочь, кидает! — покачав головой, сказал дедушка Макуха. — Эх! нам бы пару минометиков. А?

— А у покойного Грачева во взводе был миномет, — заявил Дымников.

— Не ври, Сережка! — осадил его комиссар. — Никакого миномета у них не было.

— Был, товарищ комиссар! Факт, был! — загорячился Дымников, вскакивая с земли. — Помните, еще осенью вы меня с фельдшером посылали к Грачеву, и мы там пробыли пять дней? Я своими глазами видел этот миномет, руками щупал. Разве вы об этом не слышали? Спросите фельдшера!

Подозревая очередной подвох, или, как было принято говорить, «покупку», комиссар внимательно посмотрел на Дымникова. Но на этот раз лицо парня было серьезным.

— Ничего не слышал, — сказал Добрынин.

— Тогда я расскажу. Осенью ребята Грачева раскопали в лесу под заваленной землянкой целый штабель ящиков с минами. Видно, наши оставили в спешке. Ну, а миномета, конечно, нет. И стрелять, выходит не из чего. Понятно, досадно стало. Тогда Грачев собирает всех и говорит: «Миномет должен быть, и душа из вас вон!» А где его взять? Легко сказать! Думали ребята, рядили, прикидывали — ничего не получается. Негде взять миномет. Потом наконец решили сами сконструировать. Взялись дружно, потому как Грачев напирает. Добыли чугунную трубу подходящего размера и действительно соорудили что-то похожее на миномет. Оставалось испробовать. А желающих пробовать нет. Страшновато. Мины-то здоровенные, точно поросята, а миномет не внушает доверия. Но все же нашлись смельчаки, испробовали... — Дымников замолк и озабоченно начал исследовать свой рваный сапог.

— И все обошлось? — любопытно спросил кто-то.

— Нет! — сказал Дымников. — Не надо было пробовать, тогда бы миномет был, а испробовали — без миномета остались. Скандал получился. Конфуз полный. Как стрельнули, мина подалась в одну сторону, как ей и полагалось, — за реку, к немцам. А миномет улетел в другую, в лес. Весь день искали, не нашли. Ровно корова языком слизнула. Видно, далеко улетел.

Все расхохотались. Дедушка Макуха смеялся до слез. Но вдруг он затих и насторожился.

— Внимание! Звукоуловитель настроен, — пошутил Дымников.

Действительно, если со зрением у деда Макухи дело обстояло плохо, то слух у него был поистине замечательный.

— Летит, собака, — твердо сказал Макуха. — Определенно летит.

С запада шел самолет. Уже явственно был слышен рокот мотора со специфическим завыванием.

— Прилягте! Не надо показывать себя! — сказал Добрынин.

Партизаны легли на спины, вытянулись. Из-за леса выплыл немецкий самолет, сделал вираж и выбросил листовки. Они опускались, медленно кружась в воздухе, точно падающие листья. Одна упала совсем близко от берега в тихую заводь.

— Рама проклятая, — пробурчал Макуха, провожая глазами удалявшийся самолет.

В листовке говорилось:

— «Партизаны! Не слушайте своих командиров-коммунистов, они вас обманывают. Вы окружены войсками германской армии, и дальнейшее сопротивление бесполезно. Переходите в плен одиночками и группами. Пропуском будет служить данная листовка. Сдавшемуся германское командование гарантирует жизнь и хорошее питание».

В другой оккупанты угрожали:

«Предупреждаем! Тот, кто будет действовать в тылу германских войск, заслужит только смерть. Германская армия положит конец его преступной деятельности и будет неумолимо уничтожать своих врагов».

— В одной руке калач с медом, а в другой дубина, — тихо посмеиваясь, сказал Макуха. — Хитер фашист!... Холера с ним, пусть кукует.

— Фашисты днем кукуют, а мы ночью, — сказал Добрынин.

Но обстановка за последнее время сильно осложнилась. Надо было перебираться на новую стоянку, подальше от города. Оккупанты решили во что бы то ни стало разгромить отряд. Они подтягивали войска и теснили партизан из основных массивов леса на восток, к реке. За рекой на большом расстоянии тянулась безлесная равнина, где гитлеровские части могли легко разбить партизан в бою.

Вокруг лагеря враг дотла сжег больше двадцати сел и угнал всех жителей, чтобы лишить отряд материальной базы и связи с населением. Но ближе, чем на восемь — десять километров, к лагерю гитлеровцы пока не подходили. Они подтягивали силы, готовясь к решительному наступлению.

Подвижность отряда ограничивали раненые, ожидавшие эвакуации на самолетах. Кроме того, в сожженных и разоренных деревнях партизаны подобрали девять сирот, из которых самому старшему шел одиннадцатый год.

Всех тревожила судьба отряда, судьба раненых товарищей и детей.

— Ну как, товарищ комиссар, — поинтересовался пожилой партизан, обращаясь к Добрынину, — прилетит сегодня самолет или нет?

— Сегодня не прилетит — завтра поздно будет, — тревожно сказал кто-то. — Мы сами, как на пяточке, торчать будем, да и полянки все фашист займет. Он тоже не дурак, соображает.

— А что нам полянки! — возразил Снежко. — Мы позавчера с майором за реку переправлялись и там подобрали посадочную площадку. Глядеть любо! Ни деревца, ни кусточка на три километра. Рузметов тоже ходил с нами. Туда уже и хворосту натаскали для костров.

— Это все ладно, — заметил пожилой партизан, — а как же больных и детвору туда перетаскивать?

— Эх-ма, горе какое! — усмехнулся дед Макуха. — А для чего же шесть плотов здоровенных связали? Тут все, брат, распланировано.

— Так как же, товарищ комиссар, прилетит или нет? — повторил пожилой партизан.

— Надеемся, что прилетит, — ответил Добрынин, — а окончательно узнаем в два часа дня. Должны уведомить.

Подошел дежурный по лагерю и объявил, что комиссара и Снежко просят идти на заседание. В девять утра небритый, с осунувшимся лицом, но, как всегда, оживленный и бодрый, Пушкарев открыл заседание бюро окружкома. Слушался доклад командира отряда Зарубина. — Мы блокированы, — сказал Зарубин. — Отрезаны с трех сторон фашистами, а с четвертой

— рекой. За реку пути нет. Там нас, как цыплят, выловят. Противник сужает петлю, но не идет на нас. По данным нашей разведки, оккупанты уверены, что мы форсируем реку и будем искать спасения на той стороне. По этим же данным, к ним должна подойти для подкрепления венгерская воинская часть. Ждать нам нечего. Давайте советоваться и принимать решение.

Первым взял слово секретарь парторганизации отряда — командир взвода Бойко. Он считал, что о выходе за реку не может быть и речи, и предложил прорвать блокаду двумя группами. Одна из них должна атаковать врага, двигаясь по северной просеке, другая — по западной. После прорыва обе группы должны собраться в условленном месте.

— Это волку в пасть, — бросил реплику начальник заготовительной команды Спивак.

— А что ты предлагаешь? — спросил его Пушкарев.

— Я так смотрю, — поднявшись с места, начал Спивак, — что ничего мы тут особенного не придумаем...

— А ты за всех не думай! — перебил его Пушкарев. Спивак, на обязанности которого лежала заготовка для отряда продовольствия, слыл человеком нехрабрым и на заготовительной работе держался только потому, что умел в любых условиях, каким-то ему одному ведомым способом, доставлять в лагерь муку, картофель и другие продукты. Последнее время стали поговаривать, что Спивак, вместо того чтобы нападать на склады и обозы противника, собирал продовольствие у мирных жителей. Рузметов и Костров уже договорились после прорыва блокады тщательно проверить деятельность заготовительной команды.

Реплика Пушкарева смутила Спивака, но он тотчас оправился и высказал свою точку зрения. Он считал, что большими группами, а тем более, всем отрядом, не пробиться. Поэтому надо выходить в разных местах, мелкими группками, по три — пять человек.

— И с поднятыми руками и с листовками, которые только что разбросали немцы, — зло бросил Рузметов.

— Шутки тут неуместны, — обидчиво огрызнулся Спивак.

— А коль неуместны, так чего же ты шутишь? — рассмеялся Селифонов.

Спивак покраснел и уселся на место.

Горячие споры затянулись на два часа. Коммунисты понимали, что решается вопрос жизни и смерти отряда, и сознавали, какая огромная ответственность лежит сейчас на них.

Мнения разделились: одни предлагали пробиваться просеками, разбившись на две группы, другие — идти на прорыв всем отрядом.

Последним выступил капитан Костров.

— Выход через просеки исключается, — сказал он уверенно. — Противник и сам не пользуется просеками, потому что сделал их непроходимыми. Вот карта.

Он раскрыл карту и прикрепил ее на стене так, чтобы видно было всем.

— Смотрите! Вот минные поля на сотни метров, вот волчьи ямы, здесь колючая проволока, а это дзоты. Идти просеками — самоубийство.

Решили прорываться завтра ночью всем отрядом по фронту в триста — четыреста метров на самом густом участке леса. Идти строго на запад. На дневку собраться у озера, в восемнадцати километрах от лагеря. С наступлением ночи двигаться к запасному лагерю.

Командование отряда давно держало наготове запасный лагерь. Там были готовы землянки, шалаши, сараи, построенные еще саперами армейских частей.

— А тебе, товарищ Рузметов, — сказал Зарубин, — придется с группой подрывников, не ожидая никого, идти вперед. Надо проверить, может быть, немцы заминировали территорию запасного лагеря. Говорят, что они туда пробирались.

— Едва ли, — усомнился Добрынин, — место там уж больно глухое.

— Все равно надо проверить, — поддержал Зарубина Пушкарев.

— Я не возражаю. Мне не верится только, чтобы туда фашисты нос сунули.

Вторым в повестке дня стоял вопрос о связи с соседними партизанскими отрядами. Всем было известно, что поблизости действуют другие партизаны. Подтверждали это жители деревень, подтверждали и сводки Совинформбюро.

Прошлой осенью партизаны отдельного взвода, возвращаясь с разведки, подобрали и доставили в свое расположение подорвавшегося на mine парня. У него начиналась гангрена. Он бредил. Надо было спасать человеку жизнь, хотя партизаны и не знали, кто он такой: свой или предатель. На счастье, в это время во взвод пришел фельдшер отряда. Фельдшер серьезных операций никогда не делал, но раздумывать не приходилось. Он оперировал умирающего и спас его. Единственным инструментом, которым располагал фельдшер, была пила-ножовка, и ею он произвел операцию. Парень долго боролся со смертью, но все же одолел ее. Придя в себя, он сказал, что является партизаном отряда, действующего в шестидесяти километрах отсюда. Ему дали карту, и он показал, где расположен их отряд. Когда он оправился от операции, его доставили в лагерь к Зарубину.

А в феврале, когда стихли бураны, Зарубин отобрал двух боевых ребят, знающих местность, снабдил их всем необходимым, поставил на лыжи и проводил в дорогу. Им поручили найти отряд, в котором служил подорвавшийся на mine паренек, связаться с командованием, договориться о связи и как можно скорее, не задерживаясь, вернуться домой.

Но прошел месяц, другой, минула весна, а посланцы не возвращались. Тогда в мае отправили еще двух. И от них не было ни слуху ни духу.

Обо всем этом напомнил собравшимся Пушкарев. Он сказал:

— Надо еще посылать людей. Стыд и позор не иметь связи с теми, кто борется рядом с нами. Никто нам этого не простит. И послать надо товарищей, которые дойдут, найдут партизан и наладят связь. Не посыльных, а ответственных, доверенных людей.

— Я пойду, — поднявшись с места, твердо заявил Костров.

Все молчали, поглядывая на Зарубина. Тот сидел, молча глядя на начальника разведки, о чем-то раздумывая. Предложение решительного, всегда уверенного в себе Кострова ему понравилось. Однако тут же появились и сомнения. До сих пор Зарубин был спокоен за разведку. Она работала хорошо. Ежедневно утром и вечером Костров и Рузметов доставляли ему подробные сведения, собранные разведчиками в окружающих деревнях и в городе. Разведчики добывали информацию, необходимую для боевых действий отряда, все данные, которыми интересовалась Большая земля. Передоверять сейчас разведку кому-либо другому Зарубину не хотелось.

Он резко бросил капитану:

— А разведкой буду я заниматься или товарищ Добрынин? Так, по-вашему?

— Разведку, товарищ майор, можно поручить Веремчуку. Я уверен, что он справится.

— Веремчук на другое дело пойдет, — мрачно сказал Добрынин. — Взвод подрывников до сего времени без командира.

— Прошу дать мне слово, — попросил Рузметов.

Он считал, что держать подрывников в отдельном подразделении уже нецелесообразно. Надо при каждом взводе создать диверсионные группы. Практика показывает, что всякий раз, выходя на операции, взводы нуждаются в подрывниках, а подрывники, подготавливая ту или иную диверсию, в свою очередь, нуждаются в охране и обращаются к командирам взводов за людьми.

— Я предлагаю, — закончил Рузметов, — Веремчука назначить в помощь Кострову.

Рузметова поддержали Бойко и Селифонов.

В конце концов решено было взвод подрывников расформировать, Веремчука назначить помощником начальника разведки, а Кострова послать устанавливать связь с соседними отрядами.

Костров отказался от сопровождающих и сказал, что пойдет один: переправится через реку, проберется по тому берегу за линию блокады, а потом опять углубится в лес.

Его отпустили с заседания. Надо было ввести в курс дела Веремчука, собраться и вечером трогаться в путь.

Когда Костров ушел, в землянку постучался дедушка Макуха. Войдя, он обратился к Бойко.

— С бедой я к тебе, Григорий Фомич, — проговорил он.

Бойко в это время чиркнул спичку, чтобы зажечь цыгарку, и повернулся к старику.

— Сынишка твой прибежал. На бревне через реку переплыл. Говорит, мать и сестренку фашисты убили. Предал их твой знакомый лесник... — тихо сказал Макуха и, нахмурившись, опустил голову.

Бойко не донес до сигарки руку. Она остановилась, задрожала. Спичка обжигала пальцы, но Бойко, казалось, не чувствовал боли.

Все молчали. Горе часто посещало семьи партизан, и вот сегодня оно пришло к Бойко.

Широко раскрытыми глазами Бойко обвел землянку. Он хотел что-то сказать, но из груди вырвался лишь какой-то хрип. Бойко взял автомат и, пошатываясь, вышел.

— Пусть придет в себя, — покачав головой, произнес Пушкарев.

Тогда заговорили все сразу:

— Кто такой лесник?

— Где живет предатель?

— Как это было?

До войны Григорий Фомич Бойко работал агрономом лесничества. Из-за болезни жены эвакуировать семью он не смог и, с согласия лесника, одинокого человека, поселил жену, сына и дочь у него в лесной сторожке.

Жил лесник по ту сторону реки в так называемом заповедном участке леса, куда партизаны никогда не заглядывали.

Оставлять безнаказанно это предательство было нельзя. Тут же решили послать небольшую группу партизан для расправы с предателем. Выйти должны были вечером с таким расчетом, чтобы завтра, к началу ночного боя, уже вернуться в лагерь.

Заседание вновь было прервано, когда в расположение лагеря пришел Толочко с остатками своего отдельного взвода. Четыре дня бился Толочко, пытаясь вырваться из вражеского кольца. Потеряв половину бойцов и преследуемый противником, он вынужден был отойти. Толочко рассказал, что гитлеровцы шли за ним по пятам и стоят сейчас не более как в шести километрах от лагеря. Значит, за день враг продвинулся вперед и сузил петлю.

Затем радист Топорков принес радиограмму. Большая земля сообщала, что в час ночи прилетит транспортный самолет.

Пришлось все неразрешенные вопросы перенести на следующее заседание бюро.

Надо было стянуть к реке всех раненых и детей, сосредоточить плоты в одном месте, разведать, нет ли немцев на том берегу, организовать круговую оборону.

Все работали энергично, не чувствуя усталости, зная, что до завтрашней, решающей судьбу отряда ночи оставалось очень мало времени.

С наступлением темноты четверо партизан во главе с Бойко переправились через реку и пошли на поиски предателя. Час спустя перебрался на тот берег Костров, а затем началась перевозка раненых и детей.

...А уже в час тридцать ночи большой транспортный самолет, дружно взревев моторами, оторвался от Малой земли, и вскоре рокот его затих на востоке. Самолет садился и взлетал за рекой потому, что на этом берегу все посадочные площадки партизан уже были заняты врагом.

Как только самолет исчез, все облегченно вздохнули. Отправили раненых, детей, почту, наградные листы, деньги, собранные на постройку танковой колонны, многочисленные письма.

На партизанском аэродроме самолет продержали на этот раз всего двадцать семь минут.

— А с грузом что будем делать? — спросил Добрынин, показывая на груды тюков, сгруженных с самолета и уже перевезенных партизанами на этот берег.

— Не волнуйся, Федор Власович, — успокоил Зарубин. — Была бы еще одна такая куча, и то бы управилась. — И он приказал созвать к нему командиров.

На берегу лежали ручные пулеметы, автоматы, боеприпасы, гранаты, компасы, сапоги, плащ-палатки, маскировочные халаты, продукты.

Собравшимся командирам Зарубин объявил, что ввиду предстоящего завтра боя убирать груз

на склад незачем. Нет смысла и переносить его в лагерь. Надо здесь же распределить все по подразделениям и раздать на руки. Каждый должен получить и унести с собой то, что ему будет выдано.

— А отоспаться ребята успеют, — добавил он. — Все-таки весь день в нашем распоряжении. Раздача оружия и имущества окончилась, когда на востоке из-за леса показалось солнце.

18

Восход солнца застал командира взвода Бойко и четырех партизан в пути. Бойко хорошо знал дорогу к сторожке лесника и сейчас уверенно вел своих товарищей мелколесьем, по высокой росистой траве.

Почти всю дорогу он молчал. Бойко был чрезвычайно молчаливым, даже угрюмым человеком. Ему уже было под сорок лет, но сейчас он казался много старше: смерть двух близких людей надломил его.

Он заговорил, лишь когда вошли в густой, глухой бор и остановились отдохнуть возле расщепленной ударом молнии и поверженной наземь огромной сосны. Все уселись на нее.

— Товарищ Снежко, — тихо сказал Бойко. — Вот эта стежка приведет прямо к нему. Тут метров триста. Я пойду другим путем, сзади зайду, на всякий случай, а ты веди ребят прямо.

Поросшая травой, едва заметная тропинка вывела партизан на лесную опушку, где стояла рубленая почерневшая изба. Из дверей выбежал человек и, легонько припадая на левую ногу, поспешил к ним навстречу. Он был пучеглазый, с вывернутой нижней губой.

— А я думал, партизаны!... — крикнул он, но сразу осекся.

Из-под капюшона на фуражке Дымникова отчетливо виднелась пятиконечная звезда.

Лесник хотел что-то сказать, но губы его только беззвучно шевелились. Потом он опомнился.

— Время такое, ребятки, не разберешь, где свои, где чужие. — Он выдавил из себя что-то похожее на улыбку и продолжал: — Да что же это я! Заходите, товарищи, прошу... — Он повернулся, готовый идти к дому.

В это время из-за избы вышел Бойко. Увидев его, предатель упал на колени и взмолился:

— Фомич! Голубчик! Родной! Прости... Заставили меня... С испугу сказал... — лепетал он, пытаясь обхватить ноги Бойко. — Угрожали убить, собирались избу сжечь. Со страху чего не наговоришь...

— Цыц! — оборвал его Снежко, сдерживая клокотавшую внутри злобу. — Холуй гитлеровский!

— Разрешите, товарищ командир? — спросил Дымников, дрожащими от ярости руками снимая с шеи автомат.

— Погоди, Сережа, погоди, дорогой, — тихо и грустно произнес Бойко. — Я с ним сам поговорю. Немцы далеко?

— Нет, не очень! Могу свести, показать, — облизывая губы, ответил лесник.

— Сами найдем! Ну, вставай, пошли! — властно приказал Бойко и, не оглядываясь, пошел впереди лесника.

Из лесу Бойко возвратился минут через пятнадцать один.

— Немцев тут немного, — сказал он хмуро, — но больше, чем нас, раз в пять. Надо идти осторожнее.

Бойко долгим взглядом посмотрел на избушку, снял шапку, как бы прощаясь с местом, где он в последний раз видел своих близких, и, понурив голову, повел ребят за собою.

Он едва сдерживался, чтобы не разрыдаться. Идя сюда, Бойко думал, что расправа с предателем облегчит боль, что месть принесет ему хоть какое-нибудь успокоение, а этого не произошло. Русая головка дочурки стояла перед его глазами, она мерещилась ему в зарослях леса, в омытой росой траве; он мысленно видел ее плачущей, протягивающей к нему руки, молящей о помощи. Тяжелый, приглушенный стон невольно вырвался из груди Бойко. Идущие за ним партизаны грустно переглянулись.

В конце мелколесья, перед большой поляной, поросшей густой травой, Бойко остановился.

— Дальше не пойдем, могут заметить, — сказал он. — Будем ждать темноты.

— А успеем, Григорий Фомич? — спросил Дымников. — Ведь начнут ночью...

— Знаю, — прервал его Бойко, — тут час ходу. Отдыхайте! — отойдя в сторону, он лег на землю вниз лицом.

Впереди был почти целый долгий летний день, вынужденное безделье тяготило партизан, но они понимали, что переход по открытой местности опасен. Они молча опустились на траву, достали сухари, лепешки, консервы, отцепили от поясов фляги с водой.

— Григорий Фомич, — позвал Снежко. — Вставайте! Подкрепимся немного.

Бойко не отозвался.

— Забылся, видно, — сказал Дымников. — Не будем трогать.

Позавтракав, партизаны улеглись спать, а Снежко остался охранять их.

Подходя вечером к реке, Бойко и его товарищи увидели в береговых зарослях огонь. Надобно было торопиться, но огни на этом берегу, где партизаны появлялись редко, вызывали подозрение.

— Трофим! Сережа! — сказал Бойко. — Проверить!...

Снежко и Дымников пошли на огонь, а Бойко с двумя бойцами залег на месте.

Ждали, наверное, с полчаса. Внезапно в той стороне раздался истошный крик, который повторило раскатистое эхо. Огонь сразу погас.

Бойко со своими людьми бросился вперед.

Подбежав к зарослям, они увидели три человеческие фигуры и припали к земле. Но это оказались Трофим и Сергей. Рядом с ними семенил маленький большеротый гитлеровец с прыщеватым лицом. Второго фашиста они прикончили.

— Уж больно беспокойный был и голосистый, — пожаловался Дымников. — Это он голос подал.

На реке качался плот. Группу Бойко уже ожидали двое бойцов из лагеря. Партизаны быстро переправились на ту сторону и зашагали к лагерю. Там шла деятельная подготовка к прорыву. Увидев пленного, Зарубин приказал Веремчуку допросить его.

Пленный оказался ротенфюрером одной из абверкоманд, действовавших в этом районе. Он сообщил, что завтра днем гитлеровцы будут атаковать лагерь. Но враги не подозревали, что еще сегодня ночью их атакуют партизаны.

Другая новость ошеломила всех. Оказалось, что на то место, где его изловили, ротенфюрер вместе с убитым переводчиком пришел уже в четвертый раз. До этого он трижды встречался там с партизаном по имени Василий, от которого получал письма для начальника абверкоманды.

Ротенфюрер сказал, что этого Василия он хорошо знает в лицо и может опознать, но устроить очную ставку уже не было возможности: до боя оставалось пять-десять минут.

Значит, в отряде притаился предатель. Чтобы выловить его, надо было обязательно сохранить пленного. Зарубин приказал Веремчуку переодеть ротенфюрера, приставить к нему трех надежных людей и строго-настрого предупредить их, что немец должен выйти живым из предстоящего боя.

Взводы уже сосредоточились на исходных рубежах, ожидая команды. Напряженная тишина нарушалась лишь кваканием лягушек да тихими шорохами, покашливанием, приглушенным говорком.

Зарубин хотел последний раз взглянуть на лагерь, с которым было связано так много радостных и горьких воспоминаний.

Он был немного взволнован. Как выдержит отряд этот тяжелый, неравный бой? Какой ценой удастся партизанам пробиться сквозь вражеское кольцо?

Зарубин верил в людей, с которыми воевал уже целый год. Он знал в лицо каждого партизана, не говоря уже о командирах. Командиров он проверял и воспитывал на боевых делах изо дня в день. Каждый из них за прошедший год накопил немалый боевой опыт,

провел не одну самостоятельную операцию. Взять хотя бы Рузметова, Селифонова, Бойко, Толочко... «Нет! Не подведут! Прорвемся», — уверенно сказал себе Зарубин.

Он остановился у края поляны, всмотрелся. Вот могила Грачева, рядом с ним лежат еще семеро. Зарубин снял ушанку и подумал о том, что надо бы сровнять могилы с землей, чтобы враги не надругались над павшими. Но время истекало. Он надел шапку и зашагал дальше.

Вот опушка, на которой Зарубин, придя впервые в лес, выстроил около трех десятков разношерстно одетых, тогда еще мирных, людей и объявил, что отныне он — их командир. Как давно это было! В том, что горсточка мирных людей превратилась в боеспособный подвижной отряд, спаянный крепкой дисциплиной, что этот отряд умел наносить внезапные и чувствительные удары врагу, что он поднимал людей на борьбу в тылу у гитлеровцев, — во всем этом Зарубин чувствовал плоды своих трудов.

В штабной землянке собрались командиры: Добрынин, Селифонов, Бойко, Толочко, Веремчук, Спивак. Рузметов отдавал последние распоряжения. Он стоял возле стола и освещал карманным фонариком кусочек карты.

— Охрану Топоркова обеспечили? — спросил он.

— Обеспечили, — ответил Селифонов.

— К пленному людей приставили?

— Да, — коротко бросил Бойко.

— Идите по местам, — сказал Рузметов и тихо добавил: — В нашем распоряжении еще семь минут.

Все ушли. В землянке остались Зарубин и Добрынин.

— Где Пушкарев? — спросил Зарубин.

— Беседует с людьми.

— Ты его не теряй из виду, Федор Власович... горячий он человек,

— Хорошо. Как думаешь, Валентин... — Добрынин запнулся на мгновение и едва слышно спросил: — Прорвемся?

— Прорваться, безусловно, прорвемся, но не все. Не хочется думать, не хочется говорить об этом, но это так. Потери будут. Для кого-то вот эта ночь будет последней... кто-то останется в этом лесу навсегда. Кстати, дневник отряда — вот тут. — Он похлопал себя по груди. — Это на всякий случай...

— Не надо, Валентин...

— Ничего не сделаешь. Федор Власович...

...В назначенное время по рядам приготовившихся партизан прошел шепот — это была команда. Тронулись на запад. Двигались осторожно, почти без шума. Шли напрямик по густому темному лесу.

Изредка впереди взлетала осветительная ракета. Тогда все останавливались. Но лишь только ракета гасла и становилось еще темнее, движение возобновлялось. Опять шли, и опять все вокруг было тихо. Ни голосов, ни шума, ни выстрелов, как будто там, впереди, никого нет.

Но вот на левом фланге вдруг раздался окрик. «Хальт!» Брызнул короткой огненной строчкой немецкий автомат. Никто не ответил, и вновь наступила тишина. Опять двинулись осторожным шагом. Потом совсем близко прогремело несколько винтовочных выстрелов, грохнули разрывы гранат и, захлебываясь, длинными очередями забили пулеметы.

— Здесь штык или пуля, там воля святая. Эх, черная ночь, выручай!

Так мог крикнуть только Веремчук, часто декламировавший это стихотворение. И сейчас же вслед за этим возгласом раздалось грозное, несмолкающее, протяжное «ура». Теперь партизаны уже не крались, а стремительно бежали вперед, прямо туда, откуда огненным роем летели трассирующие пули.

Короткий, страшный рукопашный бой мгновенно закипел в лесу.

Озеро, где назначили сбор отряда, лежало в большой котловине, окруженной высокими соснами. На востоке тоненькой полоской алел рассвет.

К берегу подошли Зарубин и Багров. За ними в одиночку и группами потянулись пробившиеся партизаны. Изодранные, пораненные, измученные, они и сейчас не имели

возможности отдохнуть. Надо было выслать разведку в сторону железной дороги, откуда, всего вероятнее, могут показаться гитлеровцы, надо было выставить охранение. Выяснилось, что Рузметов уже направился к новому лагерю во главе четырнадцати подрывников. Зарубин тотчас приказал собрать легко раненных и вести их вперед, не ожидая остальных.

Подсчитать все потери сейчас было невозможно, но судьба многих партизан была уже очевидна. Когда взошло солнце, вынесли из леса мертвого командира взвода Селифонова. Немного погодя принесли еще шестерых убитых. Под тенью двух молодых берез, на красной от крови плащ-палатке умирал Сережа Дымников. У него был перебит позвоночник и в двух местах прострелена грудь. Уходил из жизни Сережа, смелый, веселый, всеми любимый, и никто уже не мог спасти его. Он лежал неподвижно, без стога, устремив глаза в чистое голубое небо. Жить ему оставалось несколько минут. И умер он так тихо, незаметно, что казалось, будто жизнь еще теплится в нем. Глаза были открыты, в них отражались колыхающиеся ветви березы, но взгляд этот навсегда застыл.

Часа в два дня вынесли мертвого Спивака и еще четверых партизан.

Зарубин выбрал место и приказал рыть братскую могилу. Нашлась только одна маленькая саперная лопатка, и могилу копали штыками и ножами, выбрасывая землю пригоршнями.

К концу дня из леса вышли Пушкарев, Добрынин, Топорков и раненый Веремчук. Это была уже третья по счету его рана за время войны. Левая рука висела плетью.

Вечером хоронили погибших. Собрались все, кто вышел к этому времени из леса. Речь говорил Пушкарев.

Он произносил слова медленно, негромко, как бы боясь потревожить вечный сон товарищей. Но эти простые слова о родине, о борьбе, об удивительных советских людях доходили до самого сердца, звали вперед, в будущие бои.

— Мы поднялись по зову партии на борьбу, — говорил Пушкарев, — за свою Родину, за будущее всего человечества, за счастье всех людей. Путь к этому счастью указал нам великий Ленин. И с пути этого мы никогда не сойдем. Простимся с нашими верными друзьями, отдавшими в борьбе самое дорогое, самое святое — свою кровь и жизнь, и поклянемся сторицей отомстить врагу за наше горе.

В сумерки отряд двинулся к своему новому лагерю.

19

Багров сидел перед Беляком и рассказывал ему о событиях в лесу.

— Самое главное, — говорил он, — что мы сорвали планы фашистов. Не удалась гитлеровцам их затея. Мы прорвались и спасли отряд.

— А погибло много? — спросил Беляк.

— Погибло двенадцать, ранено двадцать восемь, пропало без вести четырнадцать.

Когда Багров сказал, что погибли Селифонов и Дымников, Беляк совсем расстроился. Особенно жаль было Сережу Дымникова.

— Какой чудный парень был!... Эх, Сережа, Сережа!...

Он ясно вспомнил тот день, когда Веремчук и Дымников подкатили на мотоцикле к управе. Его поразила тогда дерзкая отвага ребят.

— А как Веремчук? — спросил он.

— Ранен, — сказал Багров. — Не опасно, в руку.

— Ну, а предателя нашли?

Багров отрицательно мотнул головой.

— Как же так? — удивился Беляк.

Багрову пришлось рассказать подробно обо всех событиях.

Партизаны, которым поручено было охранять пленного ротенфюрера, явились на новую стоянку отряда только на шестые сутки. Пленный был с ними. Задержались они потому, что один из конвоиров был ранен в ногу, а остальные не хотели оставлять товарища.

Пока они бродили по лесу, в отряде не теряли времени зря. Добрынин и Веремчук задались

целью выяснить, кто из партизан носит имя Василий. Проверили по списку, и оказалось, что Василиев насчитывается сорок два. Из этого числа двадцать восемь были вне подозрений. Оставались еще четырнадцать. Их решили сначала проверить каждого в одиночку, а затем уже показывать пленному. Но неожиданное событие разрушило все эти планы. Партизаны, конвоировавшие пленного, в лагере сдали его караульному начальнику, а сами пошли отдыхать. В отряде в это время шло открытое партийное собрание. И вдруг почти в самом центре лагеря раздался взрыв. Все бросились к месту происшествия. В караульной землянке лежали убитые взрывом пленный ротенфюрер и приставленный для его охраны партизан Дорофеев.

Кто-то высказал предположение, что Дорофеев сам подорвался по неосторожности. Но караульный начальник и бойцы заявили, что у Дорофеева, кроме автомата, ничего при себе не было: ни пистолета, ни гранат. Кроме этого, все знали, что Дорофеев был кадровым бойцом Красной армии и вряд ли мог допустить оплошность.

Потом возникло другое подозрение: может быть, немцы заминировали землянку? Но Рузметов и Багров до прихода отряда проверили тщательно все помещения и нигде ничего подозрительного не нашли.

При осмотре землянки в стенах ее обнаружили осколки противотанковой гранаты.

— Все ясно! — перебил Беляк Багрова. — Бросил гранату не кто иной, как предатель Василий. Он решил уничтожить пленного, боясь своего разоблачения. Понимал, что дело его плохо, и в отчаянии пошел на все. Так что след теперь потерян?

Багров молча кивнул головой.

Беляк, в свою очередь, сообщил Багрову городские новости. В городе произошли большие перемены. После смерти Чернявского немцы посадили заместителем бургомистра совершенно неизвестного в городе человека, белогвардейца по фамилии Скалон. Бургомистр, дряхлый и ни на что не способный старик, по-прежнему оставался не у дел. Коменданта города майора Реута уже нет. Вскоре после похищения Шеффера и Бергера майора отозвали из города, и судьба его пока неизвестна.

— Я ведь приехал на подводе за газетой, — сказал Багров. — Выпустили без Кудрина?

— С трудом, но выпустили и даже распространили сегодня, — ответил Беляк. — Остались экземпляры для отряда.

— Вот я их и заберу, — произнес Багров.

— Ты один приехал?

— Нет, Снежко еще. Он на постоялом дворе, с подводой.

— Смотрите, не вздумайте ночью выносить газеты, — предупредил Беляк. — Только днем, когда кругом народ, а то время сейчас пошло тревожное.

Обстановка в городе действительно осложнилась. Взрыв гостиницы, похищение офицеров, уничтожение Чернявского, регулярный выход в свет подпольной газеты — все это не на шутку встревожило оккупантов и их приспешников.

Обыски, облавы, аресты не прекращались. Были усилены патрули на улицах. Если раньше свободное хождение по городу разрешалось до десяти часов вечера, то теперь жителям запрещено было выходить из домов с наступлением темноты. После этого времени по улицам ходили только лица, имеющие специальные пропуска, выдаваемые управой и зарегистрированные в комендатуре. За последние дни, когда часть войск гарнизона была выведена на операцию против партизан, охрана города еще больше усилилась.

— Надо быть сейчас особенно осторожным, — провожая Багрова, еще раз предупредил Беляк. — Где ночуешь?

— Пойду к Микуличу, соскучился по старику.

Утром, перед самым уходом Беляка на работу, к нему прибежал взволнованный Микулич.

— Беда!... Беда, Карпыч!... — Схватившись за голову, он забежал по комнате.

Беляк дрогнул.

— Говори, в чем дело? — строго спросил он.

— Сами погибли и дело погубили. Пойдем ко мне. Найденов у меня лежит... поранили его...

Он сам тебе все расскажет.

Боль так сильно сдавила грудь, что стало трудно дышать. Сразу пересохло во рту. Беляк посмотрел на часы. Нет, идти на кладбище было нельзя. До начала работы оставалось двадцать минут. Можно было опоздать в управу на пять-шесть минут, но не более.

— Говори, что знаешь, нельзя мне идти... — глухо, не своим голосом сказал он Микуличу.

Старик рассказал о происшествии этой ночи. Еще вечером пришел в сторожку Багров ночевать, но потом появился Найденов и стал звать его на ночь к себе. Это было часов в девять. Они распрощались и ушли, а через два часа Найденов, раненый, еле-еле добрался до кладбища и сейчас лежит в сторожке. Найденов признался Микуличу, что, уходя с кладбища, он уговорил Багрова прихватить с собой газеты для отряда, спрятанные под каменной плитой. Багров не соглашался, но Найденов успокоил его: «Пройдем так, что ни одна душа не заметит». Багров спрятал газеты на груди, под рубахой, и они пошли. По переулку прошли благополучно, но когда завернули за угол и оказались в рабочем поселке, наткнулись на патруль. Патрульных было шестеро или семеро. Они приказали поднять руки. Тогда Багров бросился в сторону, к калитке какого-то двора, но калитка оказалась запертой. Солдаты настигли его и сбили с ног. Это Найденов хорошо помнит. А он сам, повернув назад, бросился в переулок. По нему выстрелили несколько раз, но догонять не стали. Пуля попала ему выше пояса, под правое ребро.

— Как он добрался до меня, ума не приложу, — заключил Микулич.

Беляк обессиленно опустился на стул. «Катастрофа! — мелькнуло в голове. — Провал! Багров, живой, в руках у гестапо, с газетами, Найденова в сторожке, конечно, найдут, а тогда найдут и типографию».

— Неужели ты не мог спрятать Найденова под церковью? — с укором спросил он Микулича.

— Теперь же везде будут искать. Как же ты, всегда такой осторожный, не подумал, чем это грозит?

Старик растерянно развел руками и объяснил, что хотел это сделать, но не смог. Одному не под силу, да к тому же Найденов очень плох.

Беляк вновь глянул на часы — оставалось пять минут до начала работы в управе. Он уже опаздывал.

— Иди... — сказал он Микуличу. — Выбери время и вместе со старухой обязательно перенесите Степаныча под церковь. Хотя бы в коридор. Где лежать — ему ведь безразлично, да и не холодно там. Осмотри все тщательно кругом, не ведут ли следы крови к кладбищу. Больше сюда пока не приходи. Встретишь меня на улице, когда буду идти с работы. Выживет Степаныч?...

— Плох, но думаю, что не сдаться, — произнес старик. — Эх, кабы доктора! Какого-нибудь, самого что ни на есть захудаленького.

— Ладно, я подумаю... Подожди, я пойду раньше, а потом ты выйдешь.

Беляк торопливо шагал по улице, не замечая ничего вокруг. Он был взволнован не на шутку. Тревога за судьбу друзей сменялась беспокойными мыслями об опасности, угрожающей делу, типографии. Поставлен под удар выпуск подпольной газеты. Надо срочно спасать, эвакуировать типографию. Вынести ее по частям из-под церкви, спрятать пока что в разных местах кладбища. Но кто будет это делать? Микулич? Один он не справится. Придется помогать ему.

Придя на службу, Беляк узнал, что ночное происшествие уже известно большинству сотрудников управы. Шли разговоры о том, что в рабочем поселке ночью остановили двух неизвестных. Одного задержали, а другому удалось бежать, и его сейчас разыскивают. У задержанного нашли много экземпляров подпольной большевистской газеты «Вперед», а также паспорт и пропуск на право посещения города, выданный на имя Понурина, крестьянина деревни Ставок. Задержанный ни на какие вопросы не отвечает и выдает себя за глухонемого. Все это было известно от машинистки управы Соколовой. На квартире у нее жил следователь гестапо Люстенбург, от которого она и узнала все подробности.

То, что гестаповцы не знали о ранении Найденова, немного успокаивало Беляка. Но он по-

прежнему опасался и за Найденова, которого могут обнаружить, и за Микулича, и за работника паспортного стола управы, обеспечивавшего партизан документами.

«Все зависит от того, как поведет себя Багров в гестапо, — размышлял Беляк. — Сможет ли он молчать до конца? Хватит ли у него сил и мужества?»

Только в молчании Багрова было спасение товарищей и всего дела. Беляк уже успел узнать Багрова как честного, смелого человека. Но надо было трезво подходить к делу. Беляк понимал, что Багрову никто и ничто помочь уже не может. Из когтей гестапо живым не уйдешь. Вдобавок, Багрова схватили с неопровержимыми уликами — с газетами. Вопрос сейчас состоял в том, вынесет ли он пытки, не проговорится ли.

Больших усилий стоило Беляку заставить себя заниматься служебными делами. Разбирая бумаги, он думал о том, как организовать помощь Найденову, если ему станет хуже; кто будет дальше выпускать газету; как повидаться со Снежко, ожидающим Багрова на заезжем дворе.

Вечером, направляясь домой, Беляк увидел около здания почтамта ожидающего его Микулича. Старик, хмурый, осунувшийся, с запавшими глазами, приблизился к нему и тихо сказал:

— Кончился... Отошел.

Беляк вздрогнул, оглянулся и пошел рядом с Микуличем.

Найденов умер утром. Возвратившись от Беляка домой, Микулич застал его уже мертвым. Старуха, жена Микулича, рассказала, что Найденов перед смертью что-то говорил ей, но она, глухая, так ничего и не поняла. Микулич похоронил друга рядом с Михаилом Павловичем Кудриным.

— Пусть и лежат вместе, — грустно закончил Микулич.

Печатать газету теперь было некому, но даже если бы и нашелся человек, все равно типографию приходилось свертывать. Этого требовали обстоятельства.

Через два дня после смерти Найденова на кладбище явились представители комендатуры и гарнизона. Они осмотрели церковный подвал и решили оборудовать в нем бомбоубежище.

Надо было принимать срочные меры. Беляк и Микулич обсуждали положение вдвоем. Информировать бюро окружка не хватало времени. Вынести типографию они не решились, опасаясь внезапного появления немцев. В конце концов приняли решение залить цементом пол той комнаты, где был люк, ведущий в нижнее подземелье. Цемент хранился тут же в подвале. Вечером Беляк пришел к Микуличу, и за ночь вход в типографию был замурован наглухо.

А наутро, явившись в управу, Беляк узнал, что Герасим Багров умер, не проронив ни слова. Об этом рассказала машинистка Соколова.

Снежко повез в лес печальные вести.

20

Лето было на исходе. Отряд обжился на новом месте и устроился гораздо лучше, чем раньше. Он занимал возвышенность, окруженную топами, пробраться по которым без проводника было почти невозможно. Отпала надобность минировать подходы к лагерю, оказалось возможным оставить всего две заставы: болота тянулись почти непрерывно, отовсюду защищая расположение партизан.

В запасном лагере нашлось много землянок, крепких шалашей, добротнo отстроенных руками красноармейцев. Но и их уже не хватало. Отряд рос не по дням, а по часам. Мобилизация, которую все же провели партизаны среди окрестного населения, дала отряду почти две сотни боеспособных мужчин-добровольцев. Тридцать человек прислал из города Беляк. Теперь количество бойцов доходило до восьмисот.

— Народ поднимается... Народ! — радостно говорил Пушкарев. — Да разве можно одолеть такую силу? Никогда!

Это было именно так. Партизанское движение росло, ширилось, превращалось в священную

народную войну.

Теперь гитлеровцы уже не думали о блокаде отряда. Они только укрепляли свои гарнизоны в ближайших селах, стараясь защитить от партизан свои коммуникации. Но диверсии на железной дороге, крушения вражеских эшелонов не прекращались. Они вошли в систему боевой деятельности отряда, и о них регулярно сообщали сводки Совинформбюро.

Как-то ранним утром Зарубину доложили, что западная застава задержала пятерых вооруженных конников. Они назвали себя партизанами. Бойцы заставы спешили их, обезоружили и под конвоем направили в расположение отряда.

— Где же они? — взволнованно спросил Зарубин.

— Сейчас подойдут, — сказал посыльный.

Все высыпали из землянки. По лагерю под конвоем вели группу людей, и Зарубину было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться в том, что пришли свои. Двоих он сразу узнал. Это были партизаны, посланные почти год назад на поиски соседних отрядов. Трое других были, видимо, гости. Партизаны, узнав своих, шумно приветствовали пришедших.

Впереди шагал с кожаной кепкой в руке среднего роста, но широченный в плечах, толстогубый и густобровый здоровяк лет тридцати пяти, с трубкой в зубах. На его загорелой, совершенно гладкой, точно отполированной голове поблескивали солнечные лучи.

Окинув веселым взглядом собравшихся партизан и сразу определив, что Зарубин является командиром, здоровяк направился к нему и басом загремел:

— Прямо скажем: отлично гостей встречаете! — Он раскатисто захохотал. — Видать, здорово на молоке обожглись, коли на воду теперь дуете. — Он протянул Зарубину свою широченную ладонь и представился: — Начальник разведки отряда, которым командует товарищ Локотков. Лисняк моя фамилия. А это товарищ Охрименко Дмитрий Константинович, а это мой ординарец Павел Цибульков. А то ваши два... Прошу любить и жаловать.

— Не обижайся, товарищ сосед, за встречу, — сказал Зарубин, — сам знаешь: лесные порядки.

— Брось, майор! Обижаться не на что, — ответил Лисняк. — Правильно действуете. Я сразу понял: видно, ученые ребята. А ну, веди в свои хоромы.

Все проследовали в штабную землянку, которая здесь была гораздо просторней, чем в старом лагере.

После бурной и радостной встречи возник первый тревожный вопрос.

— Сколько человек приходило от нас? — спросил Пушкарев.

— Трое, — ответил Лисняк, старательно обтирая платком лицо и голову. — Эти вот двое, — он кивнул в сторону посланцев отряда, — ну и мой коллега, Георгий Владимирович Костров.

— А где же он? — с беспокойством спросил Добрынин.

— Остался около разъезда. Залег и посвистывает, — ответил Лисняк. — Говорит, что там его человек на разъезде и на свист обязательно выйдет. К вечеру обещал тут быть. К нам он пешком пришел, а от нас верхом едет. Ну и голова же этот Костров! Прямо академия! Как начал с нашими пленными болтать, мы аж рты раскрыли.

Все облегченно вздохнули, узнав, что Костров вернулся целым и невредимым.

Выяснилось, что вторая группа связных в отряд Локоткова не приходила и никаких слухов о ней не было. Наверное, попала в руки врага.

— А вы чего же, чертушки, столько пропадали? — обратился Пушкарев к двоим делегатам отряда.

Те смущенно начали оправдываться, но на помощь им пришел второй гость, Охрименко.

Он объяснил, что по приходе в отряд Локоткова один из партизан заболел тифом, а второй не решился оставить товарища. А когда больной поправился и встал на ноги, изменилась обстановка. Гитлеровцы начали активные действия против отряда, и партизаны вынуждены были покинуть прежний район и уйти на сорок километров к западу. Теперь, когда отряд снова возвратился на старое место и туда пришел Костров, решено было идти всем вместе.

Охрименко прибыл как представитель партийной организации отряда, которым командовал

Локотков. По предложению Кострова его на общем собрании избрали в состав бюро подпольного окружкома партии. Охрименко был пожилой человек лет под пятьдесят с мечтательными карими глазами.

— Ну, а теперь рассказывайте, как живете и бьетесь с фашистами, — сказал Лисняк. — Я послушаю, а как стемнеет, так и домой.

— Что так быстро? — поинтересовался Добрынин.

— Дел много, да и представитель наш полномочный — Охрименко — у вас остается. — Лисняк опять разразился хохотом. — Вроде как полпред.

— Никуда вы не поедете, — спокойно сказал Зарубин.

— А вот поеду!...

Зарубин покачал головой.

— А давай поспорим, — предложил Лисняк.

— Согласен, — ответил Зарубин. — Если уедете раньше двенадцати, я даю пару коней на выбор, а не уедете — отдаете мне пару своих.

— Добре! — сказал Лисняк. — Ровно в двадцать три ноль-ноль я пожму твою лапу, прихвачу пару коников — и будь здоров!

Пушкарев, Добрынин, Рузметов и другие командиры переглянулись и сдержали улыбки. Им понятна была уверенность командира.

— Верный выигрыш, — шепнул на ухо Добрынину Веремчук. — Пара коней, да еще по выбору. Красота!

Комиссар кивнул головой, но ничего не сказал.

Лисняк, подобно дедушке Макухе, обращался ко всем на «ты».

— Ну, выкладывай свои новости, майор, — предложил он и хлопнул руками по своим могучим коленям.

Зарубин возразил, что первое слово надо предоставить гостям.

— Дипломат! — сказал Лисняк. — Ну что ж, я согласен. Только вот попробуйте сначала отгадать загадку. Кем я был до войны? — И он снова огласил землянку своим басистым хохотом.

Действительно, никто не мог угадать его профессию. Какую только специальность не называли: предколхоза, лесоруб, машинист паровоза, борец, кто-то даже крикнул: «парикмахер», вызвав дружный смех. Но все эти предположения отвергались Лисняком.

— Во-до-лаз, — сказал, наконец, сам Лисняк и гулко хлопнул себя по могучей груди. — Водолаз. Профессия редкая. Поехал я в начале мая сорок первого из Ленинграда в Таллин, водой, в отпуск, а возвращаться пришлось сухопутьем... И все возвращаюсь.

Много интересного рассказывал Лисняк. Все слушали его с большим вниманием. Опыт борьбы с врагом соседний отряд накопил немалый. У него было чему поучиться. Командовал партизанами бывший директор лесопильного завода Локотков. Сейчас отряд насчитывает семьсот человек, все хорошо вооружены. У них есть даже две противотанковые пушки, отбитые при налете на проходившую по шоссе немецкую батарею, а также пять минометов. Партизаны совершили десятки смелых налетов на крупные населенные пункты. Зимой провели особо крупную операцию, уничтожив на вражеском аэродроме тридцать два самолета.

Лисняк рассказал далее, что партизаны Локоткова давно связались с двумя другими отрядами, действующими по соседству, и совместно с ними организовали разгром батальона «СС».

Для ликвидации этой группы партизанских отрядов гитлеровцы выделили большие силы. Партизаны трижды попадали в окружение, но во всех случаях не только прорывались, а и наносили большой урон противнику.

— Воюем неплохо, — с гордостью сказал Лисняк. — В этом фашисты сами признаются. Против документов никуда не попрушь! — Он полез в планшетку, вынул оттуда сложенный вдвое лист бумаги и, подмигнув, подал его Зарубину. — На вот, майор, прочти... Специально прихватил, чтобы похвалиться.

Зарубин развернул бумагу. Это был секретный приказ командира гитлеровской дивизии. Призывая офицеров к репрессиям против мирного населения, симпатизирующего партизанам, генерал писал:

«Первой особенностью малой войны является то, что ведется она в лесах, в темноте и с очень маневренным противником, который способен нападать на нас отовсюду. Успешными средствами этой войны является использование засад, внезапных налетов, окружения, хитрости. Надо быть умнее, чем партизаны. Только потому мы не имеем успеха против них, что применяем методы "большой войны", а они с большим мастерством применяют методы "малой", в результате чего мы уже потеряли восемьсот человек убитыми...»

— Как видите, — заключил Лисняк, когда Зарубин окончил чтение, — доблестный генерал дал нам полную аттестацию. Он признал, что они глупее нас, что они не имеют успеха в борьбе с нами, что мы воюем с большим мастерством и, наконец, что мы уже истребили восемьсот человек. Тут, прямо скажем, генерал загнул маленько. Он считает со всеми пропавшими, а между прочим, около двухсот солдат мы прихватили живьем и не знаем теперь, что с ними делать.

Беседа затянулась до позднего вечера. Шумный Лисняк рассказывал так просто и в то же время так увлекательно, что завладел вниманием всех. Потом пришла очередь говорить Зарубину. И ему было что рассказать гостям.

Ужин подали в штабную землянку. Когда поужинали, Зарубин посмотрел на часы.

— Ого! — сказал он, вставая. — Половина одиннадцатого. Ну что ж, дорогие гости! Просить остаться могу, а неволить вас нельзя!...

— А кони твои где? — рассмеялся Лисняк, — Сам пойду и выберу. Проиграл ты, парень! Я, брат, долго решаю, а уж если что решил, то держусь, как за якорь.

— Молодец, слов нет. Я люблю волевых людей. Что ж, тогда давайте распрощаемся. Мне пора идти. — И Зарубин подал Лисняку руку.

— А куда ты торопишься на ночь глядя? — удивился Лисняк. — Ради редких гостей дела-то можно и отодвинуть.

— Дело такое, что не отодвинешь, — ответил Зарубин. — Через час или полтора прилетят самолеты с представителем фронта.

На Лисняка точно ушат холодной воды вылили. Раскрыв широко глаза, он озадаченно глядел на Зарубина.

— Самолет, говоришь? — тихо спросил он.

— Да. Два даже.

— С Большой земли?

— Ну, конечно!

— Зарезал! Обжулил! — завопил вдруг Лисняк и, схватив со стола свою кожаную кепку, ударил ею об землю. — Пропала пара коней! Вот подъехал, так подъехал!... Куда же мне деваться! Плакали коняшки... Придется домой на своих катушках топать.

От дружного хохота тряслась землянка.

...Около полуночи все собрались на поляне в ожидании самолетов. Лисняк волновался больше, чем другие. Их отряд не имел еще живой связи с Большой землей. В этом преимущество было на стороне партизан Зарубина. Пушкарев по этому поводу сказал гостю:

— С нами, батенька, не шути! Связь с родиной у нас крепкая. Мы там не на последнем счету. Первый самолет подошел в двенадцать с минутами. Сделав два круга, он пустил белую ракету и пошел на посадку.

Из самолета выбрался Гурамишвили. На петлицах его уже были знаки различия полковника. Он обнял Зарубина и Рузметова, как старых знакомых.

— А это наш сосед, — представил Зарубин Лисняка. — Начальник разведки отряда Локоткова.

— Ага! — воскликнул полковник. — Это то, что мне надо. — И он тепло поздоровался с Лисняком. — А где же Пушкарев и Добрынин? — спросил он тревожно.

Ему объяснили, что секретарь окружкома и комиссар готовят почту для самолетов.

— Напрасно торопятся, — сказал Гурамишвили, снимая с себя летный комбинезон. — Я с ночевкой. Сегодня улетать не собираюсь. Надо будет только хорошенько укрыть самолеты и выставить охрану понадежнее.

— Все сделаем, как полагается, — заверил Зарубин. — А второго самолета что-то не видно. Ожидать будем или пойдём?

— Подождём, я уже слышу его, — ответил Гурамишвили. — Мой пилот за товарища все беспокоился. Вылетели одновременно, а потом потеряли друг друга.

Второй самолет сел через несколько минут. Из кабины его вылез пожилой, с окладистой бородкой, крупный мужчина в больших роговых очках и начал здороваться со всеми. Это был майор медицинской службы Семенов.

У доктора в руках были два чемодана, но, когда партизаны предложили помочь ему донести, он наотрез отказался.

— Никому не доверю. Сам! — коротко сказал он.

Все отправились в лагерь кроме Рузметова и нескольких партизан, которые занялись маскировкой самолетов.

Лисняк не отходил от Гурамишвили и что-то шумно рассказывал ему, обращаясь, как и ко всем, на «ты». Уже при входе в расположение лагеря он отошел от полковника и взял Зарубина за руку.

— Подвезло, брат, — сказал он радостно. — Уломал полковника. Завтра ночью к нам полетим.

Зарубин не выразил удивления. Он почему-то считал, что иначе и быть не может. Единственно, что смущало его, — возможность посадки без предварительной подготовки аэродрома. Об этом он и спросил Лисняка.

— Дело в шляпе, — ответил тот. — Я покажу летчикам старый аэродром, которым гитлеровцы не пользуются из-за таких соседей, как мы. На него с закрытыми глазами можно садиться на любом самолете, а такая пташка, как «утенок», где угодно сядет. Надо только сейчас же послать человека наших предупредить.

В землянке, сбросив с себя полевую сумку и ремень, Гурамишвили взял Зарубина за плечо, повернул к свету, отошел на несколько шагов и внимательно стал его разглядывать.

Война наложила свой отпечаток и на молодого майора. На его висках появились преждевременные серебряные ниточки, у губ и на лбу залегли новые морщины.

— А в общем по-прежнему хорош, — весело сказал Гурамишвили. — Ну, а что же ты не спрашиваешь?

— О чем? — улыбнулся Зарубин.

— Не скромничай! От меня не укроешься. Ну, ладно! — Он расстегнул карман гимнастерки и подал Зарубину конверт. — Кланяется тебе твоя Наталья Михайловна и вот это письмо посылает. Можешь сейчас не читать, знаю, что пишет. Она мне рассказала, а я всем расскажу. Пишет, мол, учусь, грызу гранит науки, а ты, дорогой, войной за меня. — Гурамишвили рассмеялся, и в углах его глаз собрались мелкие лучистые морщинки. — В Москву мы ее определили. На учебу, — пояснил он.

Немного смущенный, Зарубин поблагодарил полковника и бережно спрятал полученное письмо в карман.

— Многим привез письма, целый мешок, — сказал Гурамишвили. — И тебе и тебе, — кивал он присутствующим в землянке партизанам.

В землянку вошли Пушкарев и Добрынин в сопровождении Кострова, который успел уже побриться, начистить до блеска сапоги и пришить к гимнастерке чистый подворотничок.

Вновь начались приветствия.

— Ну как, высвистел своего зяблика? — поинтересовался Лисняк.

— Конечно! Для того и сидел, — ответил Костров.

Полковник засыпал всех вопросами, и командиры едва успевали ему отвечать. Сначала он спросил о Беляке, дела которого его особенно интересовали. Потом выслушал подробный рассказ о прорыве, о событиях в городе. Наконец, его внимание привлекла история с

пленным ротенфюрером, который был убит в землянке при загадочных обстоятельствах, — Тут вы проявили неповоротливость, — сказал он. — Но выловить предателя надо во что бы то ни стало.

Услышав, как был уничтожен Чернявский, Гурамишвили удовлетворенно кивнул головой. Герой этого рассказа, Веремчук, сидел тут же.

— Завтра обязательно расскажешь все подробно, — сказал ему полковник.

Узнав о несчастье Бойко и о том, что сейчас в отряде вместе с отцом находится его сын, полковник решительно заявил, что возьмет мальчика с собой. Он долго беседовал с Бойко.

— Если бы люди, — сказал ему Гурамишвили, — при постигшем их горе оставались наедине с собой, у многих сердце не выдержало бы. Поэтому держись людей, товарищ Бойко, боевых товарищей. Подели с ними свою беду, и легче будет. Ведь, смотри, подумать страшно, сколько все вы перенесли испытаний, лишений, потерь, а что получилось? Стали еще крепче, еще сильнее. Я припоминаю слова одного нашего поэта, который сказал: «Мы выйдем из огня и снова будем жить, яснее думами и сердцем чище». Красиво, просто и, главное, правильно. Сушая правда. Чем сильнее огонь, тем сильнее закаляются люди.

Перед сном Гурамишвили сказал Лисняку, который все время заговаривал о делах своего отряда:

— О вашем отряде будем говорить у вас. Хотя вы ребята и боевые, рекомендую тебе все-таки посмотреть, как тут все организовано. Очень рекомендую. Походи по лагерю, побеседуй с людьми. Они тебе многое расскажут.

Утром началось заседание бюро окружкома, на котором присутствовал весь командный состав.

На повестке дня стоял один вопрос: сообщение полковника Гурамишвили.

— По указанию партии, — начал свое сообщение полковник, — в Москве создан Центральный штаб партизанского движения...

Дружные аплодисменты оборвали его речь. Коммунисты поднялись со своих мест.

— Слава великой партии! — громко сказал Пушкарев.

— Ура!!! — подхватили партизаны.

— В тылу вражеских войск, во временно оккупированных районах народная война разгорается все шире и шире, — продолжал полковник. — Партизанское движение становится движением сотен тысяч советских людей. Не таков наш народ, чтобы склонить свою голову перед фашистами. Не бывать этому! На борьбу с врагом поднялись русские, украинцы, белорусы. Везде — в Крыму, на Дону, на Кубани, в степях Украины, в лесах Белоруссии и Брянщины — оккупанты чувствуют удары народных мстителей. Многие из партизан и их руководителей удостоены звания Героя Советского Союза. В нашей стране широко известны имена партизанских командиров Алексея Бондаренко, Михаила Дука, Михаила Ромашина. Тысячи партизан получили высокие награды...

Гурамишвили объяснил, какие причины вызвали необходимость создания Центрального штаба, какие задачи поставлены перед ним, и сказал, что он сам теперь является представителем штаба.

Заседание продолжалось до обеда. Тут же на бюро окружкома было принято решение на базе отряда создать партизанскую бригаду во главе с командиром Зарубиным, комиссаром Добрыниным, начальником штаба Рузметовым и начальником разведки Костровым. В бригаду войдут три партизанских отряда под командованием Бойко, Веремчука и Толочко.

В связи с этим предстояла большая организационная работа. Надо было укомплектовать новые отряды, доставить вооружение, разработать планы боевых действий.

...Вечером, перед заходом солнца, Зарубин выстроил посередине лагеря весь личный состав отряда.

В лесу стояла торжественная тишина, нарушаемая лишь птичьим гомоном. Косые лучи солнца узкими полосками пробивались сквозь ветви деревьев, освещая ряды пестро одетых лесных воинов. Партизаны стояли плечо к плечу, построившись замкнутым четырехугольником.

Внутри этого четырехугольника стояли Гурамишвили, Пушкарев, Добрынин, Зарубин, Лисняк, Костров, Рузметов, Охрименко. Полковник передал Пушкареву свою объемистую полевую сумку, а сам развернул лист бумаги. Гурамишвили откашлялся и хотел уже начать читать, как где-то рядом, над головами людей, на вершине сосны раздалось звонко и отчетливо:

— Ку-ку... Ку-ку... Ку-ку...

Все подняли головы. Добрынин улыбнулся.

— На нас кукует, — сказал он.

Шепот прошел по рядам партизан.

— К счастью это, товарищи, — засмеялся Гурамишвили. — Хорошая примета.

А кукушка продолжала куковать. Из глубины леса ей стала вторить другая.

— Товарищи! — начал полковник. — Приказом командующего Западным фронтом пятьдесят шесть ваших партизан, наиболее отличившихся в борьбе с гитлеровскими захватчиками во вражеском тылу, награждены боевыми орденами и медалями. Мне поручено объявить вам об этом и вручить награды.

Громовое «ура» разорвало тишину.

Первыми полковник назвал погибших. Среди них были Селифонов, Дымников, Багров, Кудрин, Грачев, Найденов, Набиулин, младший Толочко. Затем началось вручение наград присутствующим.

В половине одиннадцатого вышли на аэродром. В самолеты сели Гурамишвили с сыном Бойко и Лисняк со своим ординарцем. Они летели в расположение отряда Локоткова.

Уже из кабины самолета Лисняк крикнул:

— Под водой был, под землей был, теперь вверх подался. Езди на моих коняшках, майор, да не поминай лихом. Ловко ты меня подсидел. Ну, бывай...

Его последние слова утонули в дружном реве моторов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Всю первую половину ноября стояла сырая, пасмурная погода. По целым суткам шел мелкий осенний дождь, иногда вперемежку со снегом. На рассвете по лесу клубился тяжелый белесый туман, на час-полтора изредка проглядывало солнце, а затем откуда-то сверху, с макушек деревьев, вместе с брызгами дождя срывался холодный ветер. Когда он стихал, снова слышался лишь монотонный шум мелкого дождя.

Невеселые думы навевала погода, но и без нее было горько на сердце партизан.

Ушло лето, а вместе с ним ушли неясные, смутные надежды на скорую встречу с родными, близкими. Обстановка на фронте усложнилась. Враг вышел к Волге, поспешно подтягивал к фронту резервы, вводил в бой все новые танковые и механизированные соединения, новые массы авиации.

Надо было активнее помогать фронту. И партизаны бригады Зарубина делали все, что было в их силах. Нападали на вражеские части, совершали налеты на гарнизоны гитлеровцев, рвали железнодорожное полотно, пускали под откос воинские эшелоны, поднимали на воздух мосты, склады оккупантов.

Сталинград! — вот что было у каждого в мыслях, у каждого на сердце. Сводки Совинформбюро, размножаемые Топорковым, переходили из рук в руки. Запоминали каждое слово, каждую цифру. На политзанятия люди приходили в эти дни особенно хорошо подготовленными.

Фашистская печать и радио распространяли всевозможные лживые слухи о близком разгроме вооруженных сил советского государства, о неминуемом падении Сталинграда, о неизбежной победе гитлеровского оружия. Надо было терпеливо разъяснять населению лживость и беспочвенность фашистских измышлений, надо было боевыми делами

доказывать, что силы советского народа неистошимы, что его нельзя победить.

А погода, сырая, промозглая, сковывала маневренность отрядов. Многие партизаны не имели исправной обуви, одежды и, возвращаясь с боевого задания, зачастую полдня сидели в землянках нагишом, пока их одежда подсыхала у негаснувших камельков и печурок.

Во второй половине ноября сразу ударил мороз, и настроение у всех поднялось. Мороз посеребрил инеем кочки, лужайки, затянул крепким ледком лужи, болотца, речушки. Как-то под вечер неуверенно и робко посыпались первые редкие снежинки. Снег, не прекращаясь, падал двое суток сряду и покрыл все пушистой белой шубой. Лес преобразился, затих. В отрядах начали спешно ремонтировать сохранившиеся с прошлой зимы лыжи, готовить новые, самодельные.

В один из морозных вечеров в штабной землянке находились Пушкарев, Добрынин, Зарубин и Костров. Огонь в печке затухал. Дотлевавшие поленья уже не излучали тепла. Пушкарев составлял текст листовки, Добрынин был занят починкой своего полушубка, Зарубин спал на топчане, а Костров лежал рядом с ним, глубоко задумавшись и уставившись неподвижным взглядом в бревчатый потолок землянки.

Он думал о том, как разительно изменилось положение партизан к этой второй военной зиме. Год тому назад партизаны составляли лишь небольшой отряд, по численности меньший, чем каждый из трех отрядов, которые ныне объединены в бригаде. А как выросли люди! Подрывник Рузметов — начальник штаба бригады. Агроном Бойко, слесарь Толочко, лейтенант Веремчук — командиры отрядов. Они решают самостоятельные боевые задачи, проводят крупные операции, умело и отважно руководят людьми в бою.

Размышления Кострова прервал вошедший Охрименко. Дмитрий Константинович Охрименко уже прижился в бригаде, стал своим человеком среди зарубинских партизан. Наладив постоянную связь бригады с отрядом Локоткова и успешно справляясь со своими обязанностями члена бюро окружкома, он часто ходил на боевые задания, проводил политзанятия в отряде Веремчука и, как бывший преподаватель немецкого языка, помогал капитану Кострову допрашивать пленных, составлять тексты листовок, переводить захваченные немецкие документы. Он не мог сидеть без дела, а если дела не было, шел в землянки посидеть с партизанами или в сводный бригадный госпиталь к раненым.

Лицо у Охрименко было приветливое, сразу располагающее к себе. В веселых насмешливых глазах всегда сверкали лукавые искорки.

Умный, веселый, внимательный к людям, Охрименко быстро завоевал симпатии партизан бригады. Все полюбили его, и казалось, что он давнишний жилец этого лесного лагеря.

Охрименко бросил около печки охапку сухих дров и принялся раздувать огонь.

Дрова занялись быстро, пламя запрыгало, потянулось кверху, по лицам побежали тени.

— Загрустили что-то, товарищи дорогие, — проговорил Охрименко.

Пушкарев поднял голову от бумаги, снял очки и спрятал их в футляр.

— Как на дворе? — поинтересовался он, не ответив на замечание Охрименко.

— Холодно и ветрено.

— Теперь закрутит, к тому время идет, — вмешался в разговор Добрынин. Он полюбовался заплатой и повесил полушубок на стену. Потом подошел к огню, выхватил горячий уголек и, покидав его с ладони на ладонь, прикурил затухшую сигарку.

Зарубин сладко спал, примостив голову на вытянутой руке Кострова. И хотя рука у Кострова затекла и одеревенела, он не высвобождал ее, чтобы не нарушать сон Зарубина.

Добрынин спросил у Кострова, который час.

— Свои-то я, видно, забыл завести утром. Остановился хронометр, — пожаловался он, держа часы на ладони.

Костров осторожно приподнялся, чтобы взглянуть на часы, но Зарубин сразу проснулся.

— Бойко не вернулся? — спросил он, спуская с топчана ноги. Можно было подумать, что во сне ему снился Бойко.

— Нет, не вернулся. Заждались уж... — ответил Добрынин.

— Да, все сроки вышли, товарищи, — сокрушался Пушкарев. — Что могло стрястись? Ума

не приложу... Дорога известна, погода хорошая, ребят он отобрал лучших.

Бойко ушел три дня назад, по первому снегу. В бригаду поступили сведения, что с одной из железнодорожных станций немцы должны отправить для фронта состав, груженный крупным рогатым скотом.

Сведения поступили поздно, времени на проверку их не оставалось. А совершить налет было необходимо по двум причинам: во-первых, не следовало пропускать груз к фронту, во-вторых, бригаде надо было создать свои запасы мяса.

Командир отряда Бойко поставил сотню лучших бойцов на лыжи и повел кратчайшим путем к разъезду, где решили задержать состав.

И вот наступили уже третьи сутки, а Бойко не возвращался и никаких сведений от него не поступало.

В штабе бригады забеспокоились. Решили послать людей в разведку.

— Происходит что-то непонятное в последнее время, — почесывая затылок, сказал Добрынин.

Пушкарев поглядел на него сердито.

— Запомни, комиссар, — поучительно заметил он, — что ничего не происходит в природе такого, что не должно происходить.

Добрынин усмехнулся.

— Чему ты смеешься? — насторожился Пушкарев.

— Странные вещи ты иногда говоришь, Иван Данилович, — проговорил Добрынин. — По-твоему, и то, что случилось у нас в четверг, тоже должно было неминуемо произойти?

А на прошлой неделе в четверг действительно произошел случай, озадачивший всех.

Отряды давно уже нуждались в помощи Большой земли. Прежде всего требовались медикаменты, концентраты, махорка. Но принять самолеты было невозможно, — земля от дождей разбухла и об устройстве аэродрома не могло быть и речи. Посадить самолет еще можно было, а уж подняться он никак не смог бы. «Сядет, как муха в мед, — говорил Охрименко, — и придется сидеть ему до морозов».

Большая земля обещала выбросить груз на парашютах, но только с наступлением летней погоды. Все с нетерпением ожидали хорошей погоды, но получилось так, что, когда на Большой земле стояла летная погода, на Малой еще шел дождь или снег. Наконец в четверг вечером Большая земля предупредила о присылке транспортного самолета.

Группа партизан под руководством Добрынина отправилась принимать груз.

В условленное время, точно минута в минуту, послышался рокот мотора и самолет проплыл высоко над лесом. Партизаны пустили белую ракету. Самолет ответил тем же. Тогда запалили три костра треугольником. Ребята засуетились, забегали, задирая головы в темное, беззвездное небо. Самолет ушел в сторону, приблизился вновь, неожиданно свалился в пике и, с ревом устремившись вниз, сбросил пять фугасных бомб.

Шесть партизан было убито, девять ранено. Потери могли быть и большими, но, к счастью, часть бомб попала не на поляну, а в лес. Стало очевидно, что вместо ожидаемого самолета прилетел немецкий. Утром это подтвердилось окончательно. Большая земля передала радиограмму, в которой сообщалось, что из-за неисправности в моторе самолет вернулся с задания и придет только в ночь на субботу.

Но как фашист мог прилететь именно в то время, когда партизаны ждали самолет? Откуда он узнал, что белая ракета является ответным сигналом? Все это осталось загадкой.

Это происшествие и имел в виду Добрынин.

Но Пушкарева ничто не могло заставить отказаться от своей точки зрения.

— Да, и это событие должно было произойти, — горячо ответил Пушкарев. — Надо смотреть на все глубже, в связи с другими явлениями... Без причин, батенька мой, как тебе известно, ничего не бывает, и я сейчас докажу...

Доказать ему не удалось. Вошел дежурный по лагерю и доложил, что возвратился Бойко со своими людьми.

— Скота много пригнал? — вскочив с топчана, спросил Зарубин.

— Ничего не пригнал, товарищ майор, с пустыми руками вернулся.

Зарубин быстро натянул стеганую ватную куртку, нахлобучил задом наперед ушанку и выбежал из землянки.

«Что за ерунда? — взволнованно думал он. — Выходит, прав комиссар, что в лагере стали твориться непонятные вещи! Если не было скота, так где пропал Бойко трое суток? Ну, сутки на дорогу туда и обратно. А двое суток? И зачем я послушался какого-то идиота и прогонял без толку людей! Сколько раз давал себе слово не предпринимать ничего без тщательной проверки, и вот на тебе!»

Бойко командир нашел в расположении отряда. Простуженным, охрипшим и усталым голосом он отдавал какие-то распоряжения своим командирам, а потом обратился к дедушке Макухе, состоявшему при отряде на правах старшины.

— Папаша, — сказал просительным тоном Бойко, — в нашем хозяйстве сухие портянки водятся?

— Непременно, Фомич! — ответил старик. — На такой случай я даже суконные приберег.

— Организуй парочку, — попросил Бойко. — Ноги у меня что-то совсем подгуляли... Даже ходьба их не разогрела. — И он с тяжелым вздохом, как-то странно ступая, точно шел вброд по воде, направился к своей землянке.

Зарубин уже готов был накричать на Бойко за то, что он измучил людей, не прислал связного, не предупредил о задержке и заставил всех беспокоиться. Но, увидев его странную походку, услышав его голос, необычный, глухой, Зарубин почувствовал прилив жалости к этому всегда исполнительному, требовательному к себе командиру, вспомнил тяжелое горе, надломившее Бойко, и сдержался.

— Жив, Григорий Фомич? — спросил он подошедшего Бойко и протянул ему руку.

— Еле-еле жив, товарищ майор... — ответил тот.

«Что-то неладно! Что-то стряслось! — подумал Зарубин. — Бойко никогда так не отвечал. Почему еле-еле?»

— Что произошло?

— Хорошо, что ноги унесли, Валентин Константинович. Так нарвались, что и говорить стыдно...

— Пока ничего не понимаю, — нахмурился Зарубин.

— Сейчас я вам доложу подробно. Разрешите только зайти переобуться?

— Пойдем к нам, в штабную, — предложил Зарубин. — У нас тепло. Там переобуешься. Что с ногами?

— Видимо, подморозил маленько.

— Ну-ка, давай сюда руку, — сказал Зарубин. — Вот так. — И, поддерживая Бойко, он направился к землянке.

Бойко обморозил ноги. Это стало ясно, как только он разулся. Послали за доктором. Не задавая никаких вопросов, майор Семенов внимательно осмотрел его.

— Обморожение первой степени, молодой человек, — объявил он. — Надеемся, что все окончится благополучно.

Бойко улыбнулся.

Доктор глядел на него строго, поверх очков. Он не любил шуток.

— Чему улыбаетесь?

— Насчет молодого человека.

— А-а-а, — протянул Семенов, — а мы думали другое.

Доктор всегда говорил не от себя, а как будто от нескольких лиц: «мы считали», «мы находим», «подумаем», «надеемся».

По просьбе Семенова Охрименко принес в землянку котелок снега. Доктор начал энергично растирать обмороженные места на ногах Бойко. Потом он проделал то же самое с помощью бинта, намоченного в холодной воде. Когда кожа на пальцах покраснела, доктор смазал ее вазелином и приказал Бойко расположиться подальше от огня, лечь и поднять ноги кверху.

В такой необычной позе Бойко пришлось рассказать обо всем, что произошло с ним.

Только он начал говорить, как вошли Толочко и Веремчук. Появление Веремчука сопровождалось едким запахом бензина и машинного масла, распространившимся в землянке. Веремчук недавно раздобыл себе новый мотоцикл и в свободное время занимался его сборкой и разборкой.

Командиры отрядов осторожно закрыли за собой дверь и уселись рядком на пороге. Они тоже были обеспокоены неудачей своего товарища и пришли послушать доклад Бойко.

... К железнодорожному пути группа Бойко вышла задолго до появления эшелона. Пользуясь наступившими сумерками, партизаны подготовили все для разборки пути и хорошо замаскировались.

— Когда, по моим расчетам, — рассказывал Бойко, — осталось не больше получаса до прихода поезда, я дал команду разбирать путь. Люди были расставлены правильно. В обе стороны поставил охранение, несколько человек выделил для прикрытия. Впереди, на повороте пути, у меня сидел Бедило. Я его предупредил, что если пойдет не тот состав, которого мы ожидаем, пусть даст одну ракету в сторону. Почти точно в назначенное время слышим гудок. Значит, идет. Бедило не подает сигнала. Ну, думаю, все в порядке. Обычно на закруглении поезда ход замедляют, а этот, смотрю, несется на всех парах и два паровоза зачем-то впряжены. Паровозы влетели на разрыв пути, грохнулись, и вагоны полезли друг на друга. Я еще подумал: «Пропадет много скотины». И вдруг как рванет, да так, что все мы с ног повалились. Что за чепуха? Не поймем, в чем дело. Не успели опомниться, чуть приподнялись, опять как громыхнет, раз, другой, третий, четвертый. Лежим плашмя, а нас только подбрасывает. Пошла такая кутерьма, — взрыв за взрывом и один другого сильнее. Светло стало, как днем. Состав загорелся сразу в нескольких местах, а взрывы несколько часов продолжались. И никакого, конечно, скота. Вместо коров в вагонах оказались снаряды и авиабомбы. В такой переделке я никогда еще не бывал, — заключил Бойко свой рассказ.

— Так-так, ничего не происходит такого, что не должно произойти, — потирая лоб, повторил Добрынин слова Пушкирева.

Пушкирев промолчал и лишь посмотрел на комиссара колючим взглядом.

— Потери есть? — нетерпеливо спросил Зарубин.

— Двое убиты, пятеро ранены.

— Вот что значит верить на слово, — с досадой проговорил Зарубин.

— Что же делать, Валентин Константинович? — примирительно сказал Пушкирев. — Мы оказались в таком положении, что не могли проверить. Бывает. Всяко бывает. А такой эшелон взорвать дело не шуточное. Фронт нам только спасибо скажет. Более тридцати вагонов...

— Не в этом дело, — прервал его Зарубин. — Я не против того, чтобы поднимать на воздух эшелоны с боеприпасами. Это, несомненно, лучше, чем скот. Но я за то, чтобы действовать наверняка, знать, куда идешь, что будешь делать. Одно дело захватить состав с рогатым скотом, другое — взорвать поезд со снарядами и минами. Это же разница!

Пушкирев кивнул головой.

— Я, если бы знал, действовал иначе, — заметил Бойко, — и людей бы не потерял.

— Совершенно правильно, — согласился Зарубин. — Когда это было, чтобы на подрыв одного поезда мы выводили чуть не целый отряд? Слишком жирно. Три, пять, максимум шесть человек. Чем меньше, тем лучше. Ведь столько людей послали потому, что надеялись захватить и перегнать в отряд скот! Вот и получается...

— Ну и кто же виноват в этом? — поинтересовался Добрынин.

— Ты и я, вот кто, — бросил Зарубин. — Мы с тобой оказались ротозеями, а не военными людьми, не командирами. Проверить обязаны были, а не полагаться на чьи-то слова... Гнать сотню людей, потерять несколько человек, в то время когда можно было просто заминировать путь, — и все в порядке...

Зарубин нервно заходил по землянке.

— Как фамилия партизана, сообщившего об отправке скота? — спросил он.

— Редькин, — ответил Добрынин.

— Правильно, Редькин! Тот Редькин, который в прошлом году украл парашютный мешок с продуктами. Ты его знаешь? — обратился Зарубин к Кострову.

— Очень немного, — ответил тот. — Он работает по заготовке продуктов.

Зарубин распорядился сейчас же найти Редькина и прислать к нему.

Через несколько минут в землянку вошел высокий, костлявый партизан в рваных валенках. Он снял с головы шапку и обнажил лысеющий лоб и редкие рыжие волосы.

— Ты принес сведения об эшелоне со скотом? — спросил Зарубин, подходя к нему.

— Я.

Мутноватые глаза Редькина смотрели куда-то в сторону, мимо командира бригады.

— Расскажи нам подробно, как, когда и от кого ты узнал об этом, — предложил Зарубин.

Редькин равнодушным, безразличным взглядом посмотрел вокруг, остановил глаза на Бойко, который лежал с поднятыми вверх ногами, и сказал, что об отправке эшелона он услышал от железнодорожного телеграфиста.

— А как ты попал на станцию? — продолжал расспрашивать Зарубин.

— За солью ходил... Я почти два пуда соли принес...

— Это мы слышали от тебя и в прошлый раз, — прервал его Зарубин. — Что за человек телеграфист? Откуда ты его знаешь? Как его фамилия? Почему он именно тебе сообщил об этом? Каким образом он узнал точное время отправки эшелона?

Редькин неохотно отвечал на вопросы. Телеграфиста он не знает и разговор об эшелоне подслушал. Объяснения он давал какие-то путанные, противоречивые, так что даже спокойный Добрынин сказал с сердцем:

— Ерунду ты говоришь, я вижу. Мне тоже неясно, где же ты мог подслушать разговор телеграфиста об эшелоне? То это происходило на платформе, то около склада. Где же, в конце концов?

— Я не пойму, чего вам от меня надо, — огрызнулся Редькин, переступая с ноги на ногу. — Хочешь хорошее сделать, тоже плохо. Не виноват же я, что кто-то перепутал... Я услышал и сообщил.

— Не придуривайся, — резко сказал Зарубин. — Рассказывай подробно, как происходило дело.

— Я могу повторить, — вздохнув, произнес Редькин.

В это время снаружи раздался топот, и через секунду, сильно толкнув двери, влетел раздетый, запыхавшийся радист Топорков. Все с удивлением уставились на него. Несколько мгновений Топорков молча глядел на присутствующих широко раскрытыми глазами, потом бессвязно выпалил:

— Товарищи! Дорогие! Срочно давайте ко мне!... Совинформбюро... Сталинград! — и тотчас выбежал.

На секунду в землянке воцарилась тишина, а затем все сразу, толкаясь у двери, устремились наружу.

Крепчал мороз; под ногами, предвещая вьюгу, курилась легонькая поземка, а командиры, раздетые, без шапок, не обращая внимания на стужу, со всех ног бежали по утопанной стежке к землянке Топоркова. Около нее уже толпились партизаны, шумно беседуя, высказывая догадки и предположения.

Плошка мерцала посредине стола, слабо освещая взволнованное, радостное лицо Топоркова. Торопясь, он трясущимися руками закреплял концы провода на маленьком репродукторе, которым часто пользовались, коллективно слушая радиопередачи.

В землянку набилось так много народу, что можно было только стоять не двигаясь. Все напряженно молчали, слышалось лишь взволнованное дыхание нескольких десятков людей.

— Сейчас... сейчас, товарищи, только тише, — предупреждал Топорков. — Вот... слушайте.

— И он усилил громкость.

Из репродуктора послышался знакомый голос диктора: «В последний час...» Нервная дрожь,

точно электрический ток, прошла по людям. «На днях наши войска, расположенные на подступах Сталинграда, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда...»

— Ура!... Победа!... — не выдержал кто-то из партизан.

— Цыц, непутевый!

— Тише! — оборвали его.

«...обе железные дороги, снабжающие войска противника, — продолжал диктор, — расположенные восточнее Дона, оказались прерванными. В ходе наступления наших войск полностью разгромлены шесть пехотных и одна танковая дивизия противника. Нанесены большие потери...»

— Братцы! Да что же вы молчите... — раздался все тот же ликующий голос.

— Да дай же дослушать, а тогда ори, сколько влезет!

— Замолчите же, ради бога!

«...Захвачено за три дня боев тринадцать тысяч пленных и триста шестьдесят орудий».

— Ур-ра-а!!!

Теперь никто не был в силах сдержать ликование. Многоголосое «ура», возникшее в землянке, как порыв могучего ветра, выплеснулось наружу, понеслось по лесу, прогремело, как победный салют, и подняло на ноги весь партизанский лагерь.

— Ты записал? — спросил Добрынин Топоркова, когда в землянке остались одни командиры.

— Все записал, слово в слово, — ответил тот.

— Давай сюда! — потребовал Добрынин. — Командиров и партторгов в землянку... в штабную... там места хватит...

— Может быть, бюро созовем? — предложил Пушкарев.

— По-моему, не стоит, Иван Данилович, — улыбаясь, сказал Зарубин, — решать-то нечего. Без нас решили. А вот с народом побеседовать надо.

— Как без нас? — спросил Пушкарев. — Нет, батенька, в этой победе и наши труды заложены! Сколько мы эшелонов за один только ноябрь под откос пустили? А?

— Восемь! — твердо сказал Зарубин.

— А последний, со снарядами?...

— Я его не считал.

— То-то! А сколько раз рвали полотно?...

— Много.

— А фашистов сколько перебили? Нет, батенька мой, тут и наши труды есть! Так сейчас и надо рассказать людям.

— Да, согласен, это, пожалуй, правильно, — сказал Зарубин.

Около штабной землянки уже собирались командиры, партторги. Дедушка Макуха, кряхтя, закреплял на ногах лыжи.

— Сколько тебе лет, папаша? — спросил его Толочко.

— Двадцать пять, вот сколько, — ответил старик, притопывая ногами и пробуя крепление.

Все дружно расхохотались.

— Когда же ты изволил на свет появиться? — поинтересовался Веремчук.

— В Октябрьскую революцию. От нее и счет веду. Так что тебе ровесник.

Вновь раздался смех.

— Ты куда лыжи наострил? — недоуменно спросил старика Пушкарев.

— На передовую заставу.

— Зачем?

— Новость понесу... насчет победы...

— Что же это, никого моложе не нашлось? — вмешался Зарубин. Бойко объяснил, что он хотел отправить ординарца на заставу, но Макуха очень просил послать его.

— Товарищ майор, — взмолился дед, — ты уж по старой дружбе уважь старика, я сам хочу рассказать. Ведь на заставе ребята из нашего отряда.

— Ну что ж, раз сам назвался, иди.
Макуха резко оттолкнулся палками и бодро зашагал вперед.

2

Как-то днем в конце декабря Костров и Снежко отправились на лыжах в леспромхоз. Сначала шли просекой, ровной и широкой, а потом свернули в лес. Путь держали строго на юг. Примерно через час выбрались на покрытую снегом проселочную дорогу. И хотя последний снег выпал дня три назад, на дороге не было заметно никаких следов движения. Это позволяло партизанам идти не задерживаясь, без особых предосторожностей. Снежко шел впереди крупным, размашистым шагом, и капитан Костров с трудом поспевал за ним.

«Лыжи у него, что ли, легче?» — думал Костров, следя за быстрыми, стремительными движениями товарища, но, всмотревшись, убедился, что лыжи у них одинаковые. Потом Кострову показалось, что на лыжах Снежко крепление лучше. И вдруг он понял: «Это возраст. Снежко двадцать пять, а мне сорок. Вот в чем причина».

— Убавь шаг, Трофим, — не выдержал Костров.

— Есть убавить шаг, — весело отозвался Снежко. Он остановился, повернулся к приближающемуся Кострову и рассмеялся. — Это, товарищ капитан, на первых пяти-шести километрах трудновато будет, а как придет второе дыхание, ни за что от меня не отстанете.

— Все-таки спешить нам, дружище, некуда, — сказал Костров, — выпасться успеем. Пойдем нормальным шагом.

Когда в студеном чистом небе зажглись первые звезды, они подошли к леспромхозу. Костров остался за речушкой, в сосновом подлеске, а Снежко, знавший здесь все ходы и выходы, отправился вперед.

Впервые Снежко побывал в леспромхозе еще летом с покойным Герасимом Багровым. Багров взял его себе в помощь для переброски газеты из города в отряд. Смелый и осторожный, хладнокровный и энергичный, Снежко зарекомендовал себя отлично. После гибели Багрова командование бригады неоднократно посылало его и в город и в леспромхоз, и он всегда успешно справлялся со всеми опасными поручениями.

Из зарослей молоденького сосняка Костров видел, как Снежко перешел замерзшую речку, легко взбежал на крутой противоположный берег и скрылся за строениями маленького поселка.

Снежко должен был выяснить, нет ли в поселке посторонних и дома ли староста Полищук, у которого он обычно останавливался.

«Начал служить нам за страх, а продолжает служить за совесть», — говорил про Полищука покойный Багров. В самом деле, Полищук за это время стал верным помощником партизан, не раз доказывая свою преданность на деле. Партизанам часто приходилось укрываться в леспромхозе, пользоваться услугами и гостеприимством старосты, ночевать в его доме.

У немецкой администрации Полищук продолжал числиться на хорошем счету, и это было очень удобно. Правда, после похищения Бергера, произведенного недалеко от леспромхоза, у Кострова возникли опасения: не пострадает ли Полищук? Но этого не случилось. Видимо, Бергер и в самом деле никого не предупредил о своем отъезде. Так или иначе, но Полищука не трогали. С обязанностями старосты Полищук успешно справлялся, и оккупанты никаких претензий к нему не предъявляли. Иногда, правда, возникали трудности, но в таких случаях старосте приходили на помощь партизаны. Как-то в начале декабря Полищук получил от управы сразу два срочных наряда на доставку дров для комендатуры и для психиатрической больницы. Второй наряд удивил и Полищука и партизан. Они отлично знали, что психиатрической больницы уже давно не существует и под ее вывеской скрывается какое-то иное учреждение.

Эти два наряда поставили старосту в затруднительное положение. Для заготовки дров

требовались рабочие руки, а их в леспромхозе было совсем немного, Полищук написал в управу, что для комендатуры он доставит дрова в декабре, а для больницы — только в январе. «Все доставить в декабре. Не выполните — в тюрьму», — ответили ему.

В дело вмешались Пушкарев и Зарубин. В их планы не входило ссорить старосту с оккупантами, а тем более, терять этого человека, уже проверенного на практической работе и оказавшего партизанам много услуг. В леспромхоз направили группу партизан, и через несколько дней Полищук доставил дрова одновременно и в комендатуру и в больницу, за что получил от управы благодарность.

В ожидании Снежко Костров топтался на месте и тоскливо поглядывал на зовущие, приветливые огоньки, мерцавшие по ту сторону реки в домах поселка. Хотелось скорее попасть туда, в тепло и уют жилья, где можно отогреться, выпить кипятку, отдохнуть.

«Хоть бы все оказалось в порядке, — подумал Костров. — Что-то Трофим задерживается».

В это время из-за реки раздался условный сигнал — легкий посвист.

Костров перебрался через замерзшую, занесенную снегом речушку. Снежко стоял на краю поселка, около бани, и огонек сигарки смутно освещал его лицо. Все было хорошо — в поселке спокойно.

— О нас уже соскучились, — рассказывал Снежко. — В доме Полищука хлеб пекут, такой дух стоит — красота! Пойдемте скорей.

Поставив лыжи в пустой холодной бане, Костров и Снежко направились к избе Полищука.

Жителей поселка, преимущественно стариков и женщин, партизаны не опасались, да их и было всего девятнадцать человек. А сейчас на улице совсем никого не было видно. Только в отдельных домиках мерцали огоньки.

В трехкомнатной избе старосты было тепло. Пахло горячим, свежевыпеченным пшеничным хлебом. Гости, как всегда, расположились во второй комнате, половину которой занимала только что вытопленная большая русская печь. В полу этой комнаты было творило, ведущее в подвал и прикрытое домотканым ковром. Подвалом этим, в случае надобности, всегда можно было воспользоваться.

На лежанке, куда Костров и Снежко тотчас же забрались, было жарко, точно в парной. Решили сначала раздеться и отогреться, а потом уже ужинать.

Пока жена Полищука, энергичная подвижная старуха, хлопотала насчет еды, Костров и Снежко, вытянувшись на лежанке, беседовали с хозяином о делах.

Широкоплечий, толстый, с большим, выпирающим вперед животом, староста сидел на скамье, широко расставив колени и упершись в них руками. Его белое, с аккуратно подстриженной бородой лицо и грузная фигура, казалось, выдавали в нем человека, не привычного к физическому труду. На самом же деле было не так. Несмотря на свои шестьдесят два года, Полищук владел топором и пилой не хуже молодого, так как всю свою жизнь провел в лесу. Родился он в лесу в шалаше смолокура, в лесу собирался и умирать. Он начал свою самостоятельную жизнь лесорубом, работал трелевщиком, каталем, потом освоил любимую ему профессию сплотчика, вязал плоты и водил их по рекам. А начав стареть, Полищук вернулся в лес и уже более пятнадцати лет служил в этом леспромхозе на разных должностях. Когда его в шутку спрашивали, что надо есть для того, чтобы отрастить такой живот, как у него, он обычно отвечал, что надо пять раз в день пить чай по десять стаканов сряду, а съестное употреблять лишь раз в сутки, в завтрак.

Докладывая Кострову о делах, староста сказал, что из города вернулась Анастасия Васильевна Солоненко. Костров попросил позвать ее и, спустившись с лежанки, стал натягивать подсохшую рубаху. Его примеру последовал и Снежко.

Полищук хотя и был осведомлен о том, что партизаны пользуются услугами Солоненко, но не знал, какие именно поручения она выполняет. На этот раз Солоненко должна была принести от Беяка документы, с которыми Костров и Снежко могли бы открыто показаться в городе.

Полищук почти сейчас же вернулся вместе с Солоненко. Анастасия Васильевна, сорокадвухлетняя женщина, рано потерявшая мужа и работавшая до войны истопницей в

бане, выглядела старше своих лет. На ее худом, белом, испещренном морщинами лице молодо выглядели лишь большие черные глаза.

— Здравствуйте, — тихо приветствовала она гостей.

— Здравствуйте, Васильевна. Что нового? Как дела? — спросил Костров.

— Как всегда, ребятки. Хвалится особенно нечем.

— Садитесь, рассказывайте.

Вошедший вместе с нею староста вышел. Васильевна села на кончик табуретки, серая шерстяная шаль упала с ее головы на плечи.

— Рассказывать особенно нечего... — начала она. — Видалась с Дмитрием Карповичем. Жив, здоров, хлопчет все, велел кланяться. Сказал, что в гости ждет, и вот передал пакетик.

— Она вытащила из-за пазухи небольшой конверт и подала Кострову.

— Как в городе? Чем там дышат? — спрашивал Костров.

— Беспокойно что-то...

— Почему?

— Ничего не поймешь, — махнув рукой, ответила Солоненко. — Одни болтают, что на фронте наших бьют, другие говорят, что фашистов бьют. Открылись три новых госпиталя. Военных понаехало — полным-полно. Опять много людей в Германию угнали... Иду обратно, а на сердце как-то беспокойно, ноет. «Не иначе, быть беде», — думаю. Говорят же, что сердце вещун.

— А вы особенно на сердце не полагайтесь, — заметил Костров. — Лишь бы голова была в порядке. В наших с вами делах, если только с сердцем считаться, то, конечно, беды не миновать. Уж такая наша жизнь.

— Хорошо тебе говорить, сынок, — вздохнула Солоненко. — Одно дело вы, мужчины, другое — мы, женщины.

Костров рассмеялся.

— Во-первых, в сынки вам я никак не гожусь, — сказал он.

— А во-вторых, — подхватил Снежко, — дай бог, чтобы все женщины были такие, как вы, Васильевна. Вы вот уже две правительственные награды имеете, а побьем врага, у вас вся грудь в орденах будет. Так что сиротой не прикидывайтесь.

— Что же я, по-твоему не сирота? Ведь я же вдова, — не без лукавства сказала Солоненко.

— Вдова — это не сирота. Отца с матерью нажить второй раз невозможно, — ответил Трофим, — а насчет мужа — как сказать... Товарищ Пушкарев прямо сказал: жив не буду, если не найду Васильевне мужа, а он слова бросать на ветер не любит.

— Да ладно уж тебе, — махнула рукой смущенная женщина, — кому я нужна...

— Ого! — не унимался Снежко. — А вы не слышали такую поговорку, что в сорок лет баба ягодка?...

Пока происходил этот разговор, Костров вскрыл конверт, извлек из него записку Беляка и две справки, отпечатанные на пишущей машинке на русском и немецком языках. Согласно этим документам Костров и Снежко командировались в город из соседнего района для разбора конфликтного дела, возникшего между финансовыми отделами двух управ.

В обстоятельном письме Беляк подробно инструктировал разведчиков и объяснял суть дела, по которому они якобы Присланы в город.

Беляк, в обязанности которого входило разбирать подобные дела, уже несколько раз ездил в это село и в обе районные управы и теперь решил воспользоваться конфликтом, чтобы узаконить пребывание в городе Кострова и Снежко под видом представителей соседнего района.

— По дороге вам патрули попадались? — спросил Костров Анастасию Васильевну.

— Нет. Только в самом городе проверяли.

Распросив связную, Костров отпустил ее. Но уйти Анастасии Васильевне помешал Полищук, заявивший, что она должна остаться поужинать.

— Да я уже отчаевала, — отговаривалась Васильевна. — И поздно.

— Для брюха никогда не поздно, и ты много не разговаривай, — отрезал Полищук. — Староста есть староста, и население обязано беспрекословно выполнять все его требования. Так гласит инструкция, а ты ее должна знать. — Положив руки на плечи Солоненко, он усадил ее за стол. — Давай, Мефодьевна! — скомандовал он жене.

На столе появились две большие эмалированные миски с холодцом, банка с хреном, соленые грибы, нарезанный большими ломтями свежееиспеченный хлеб.

К зданию городской управы Костров и Снежко подошли перед концом занятий. Расспросив, где помещается финансовый отдел, они направились прямо туда. В большой комнате несколько человек низко склонились над столами, шелкали костяшки счетов, жужжал арифмометр. Машинистка со старомодной прической вызвалась провести посетителей к Беляку.

Беляк сидел в компании трех других сотрудников. Когда Костров и Снежко представились, он рассмеялся.

— У деда было мочало, начинай сначала, — заметил он. — Сказка про белого бычка. Документы при вас?

Костров и Снежко подали удостоверения.

Беляк нарочито долго и внимательно знакомился с ними. Возвращая документы, спросил:

— То я в ваше село ездил, а теперь вы пожаловали. Так, так... Есть знакомые в городе?

Гости ответили отрицательно.

— Тогда прошу ко мне. Угощать нечем, но крыша и постель будут. Кстати, о делах поговорим.

Костров и Снежко рассыпались в благодарностях.

Беляк уложил бумаги в стол, запер ящик на ключ и в сопровождении Кострова и Снежко вышел из управы. Уже по дороге к дому, поглядывая на экипировку партизанских ходоков, он, смеясь, сказал:

— Честно признаюсь — ожидал с минуты на минуту вашего прихода и только потому узнал. А если бы не ждал и встретил где-нибудь на улице, ни за что бы не догадался.

— Значит, трудно узнать? — спросил довольный Костров.

— Не только трудно, а почти невозможно, — заверил Беляк.

— Это все Георгий Владимирович, — пояснил Снежко. — Уж больно он старался в этот раз.

— Правильно, совершенно правильно, — одобрил Беляк. — А как пульс работает? — спросил он подмигивая.

— Немного повышено, — признался Костров.

— Страшновато?

— Есть маленько.

— Естественно. Экскурсия необычная, но, как говорится: волков бояться — в лес не ходить.

Вопреки утверждению, что «угощать нечем», Беляк кое-что припас, соорудив вполне приличный обед.

Он был очень рад приходу друзей, особенно Кострова, которого не видел давно. Когда Костров протянул ему письмо от дочери, Беляк и вовсе просиял.

— Как немного радости нам требуется, — взволнованно сказал он. — Получишь маленькую весточку и сразу преобразишься, другим человеком становишься... Правда ведь?

— Что правда, то правда, — согласился Снежко. — Но когда о тебе думает кто-то близкий, то это не так уж мало... По себе знаю: пришлет жена пару строчек — и сразу молодым становишься.

Беляк ухмыльнулся.

— Старым себя считаешь?

— Угу... — подтвердил Снежко, энергично пережевывая жестковатое мясо.

...Костров и Снежко пришли в город с двумя заданиями. По поручению бюро подпольного окружкома они должны были провести заседание бюро партийной организации города, а по заданию командования бригады — собрать сведения об учреждении, укрывавшемся под вывеской психиатрической больницы.

С обсуждения этих вопросов и началась беседа.

Беляк, еще в сентябре принятый в члены партии, был теперь секретарем бюро подпольной партийной организации. Кроме него, в это бюро входили Костров, Снежко, Микулич и учитель Крупин. Сегодня предстояло рассмотреть новые заявления о приеме в партию, и присутствие Кострова и Снежко было обязательным.

— Заседать будем под разрушенным элеватором, — сказал Беляк, — там теплее, чем где-либо, и почти безопасно. Под грудой развалин столько клетушек и ходов, что хоть целую роту приведи, не разыщешь. Человек там, что иголка в сене.

— А сам ты, Карпович, был там? Проверил? — поинтересовался Костров.

— Проверил.

— А кто порекомендовал?

— Якимчук.

На Якимчука можно было положиться. Он уже оказал немало услуг партизанам и продолжал добросовестно выполнять все задания.

— Сколько заявлений поступило? — спросил Снежко.

— Четыре.

— А сколько будем рассматривать?

— Все.

Беляк назвал лиц, подавших заявления. Ни с кем из них ни Костров, ни Снежко лично знакомы не были, хотя и знали подпольную работу каждого.

— Они предупреждены о времени и месте заседания бюро? — спросил Костров.

— Это зачем же? — покосился на него Беляк. — Совсем за простачка меня считаешь, Георгий Владимирович. — Он тихо рассмеялся. — Нет, с этим я не торопился. Решим вместе.

— А успеем предупредить?

— Успею.

Заседание решили провести вечером следующего дня. Условились назначить всем подавшим заявления разное время явки, чтобы они не могли встретиться друг с другом. Этого требовала конспирация.

Если первый вопрос решили быстро, то со вторым дело застопорилось. Беляк не знал, что за учреждение размещено на территории психиатрической больницы. А знать надо было. Этим вопросом интересовалась Большая земля.

Беляк обещал разузнать о больнице.

Затем он рассказал гостям городские новости.

Слухи об окружении фашистских войск под Сталинградом росли, ширились, проникали в народ. Люди называли номера разгромленных гитлеровских дивизий, перечисляли фамилии генералов, попавших в плен. Указывались все возрастающие цифры убитых и раненых вражеских солдат и офицеров.

Оккупанты развивали лихорадочную деятельность. Мобилизации, проводимые в Германии, требовали рабочих рук для фабрик, заводов, шахт, сельского хозяйства, и эти даровые рабочие руки надо было найти на оккупированной территории. Гитлеровцы метались из одного села в другое, сгоняя и молодежь и пожилых людей для отправки в Германию.

— Праздник будет и на нашей улице, — заметил Снежко. — Дело идет к тому. Вот только союзнички наши что-то заврались: обещают, а толку мало.

— Старая история, — сказал Костров. — Я, откровенно говоря, что-то мало надеюсь на их обещания.

— Ну и леший с ними, — бодро заявил Беляк. — Нас все равно не осилить, и мы фашистов одолеем сами. Союзники, видать, начнут помогать, когда помощи уже не потребуются. Это же коммерсанты, они все делают с выгодой, с расчетом.

Беляк рассказал, что в селах и деревнях идет сплошной грабеж, у населения отбирают теплые вещи: полушубки, стеганки, валенки и даже женские шерстяные платки. На этой почве в деревне Ситово произошли кровавые события.

Ситово стояло в семидесяти километрах от города. С первых же дней оккупации оно завоевало у гитлеровцев «нехорошую» славу. Несколько десятков жителей ушли в лес, в партизаны; староста, назначенный оккупантами и ревностно принявшийся за исполнение своих обязанностей, бесследно исчез; сгорел заскирдованный, необмолоченный хлеб; крестьяне саботировали мероприятия и приказы оккупантов, не выходили на ремонт и расчистку дорог, срывали поставки продовольствия, фуража, дров.

Когда начался сбор теплых вещей для гитлеровской армии, в дом деревенского старосты принесли лишь полусгнивший полушубок, несколько пар дырявых рукавиц, разнопарные валенки, прожженные онучи и еще какие-то лохмотья.

Добросовестный староста отправил эти подношения в город, а оттуда тотчас же направился в деревню с десятью автоматчиками и переводчиком новый комендант — капитан Менгель, сменивший майора Реута.

На сходку согнали всех — от малого до старого.

На небольшой деревенской площади у здания школы капитан Менгель выступил с речью. Переводчик следом за ним переводил каждую фразу.

Менгель призывал «чутких русских христиан» оказать помощь теплой одеждой и разными вещами «героям» — солдатам германской армии, несущим на своих знаменах «новый порядок».

Комендант выразил надежду, что крестьяне деревни Ситово, не понявшие с первого раза, что от них требуется, поймут это теперь и откликнутся на призыв германского командования. Менгель хотел без шума и хлопот обобрать жителей деревни и уехать.

Он закончил свою речь призывом способствовать разгрому коммунистической армии. И вдруг из толпы раздался выкрик:

— Ты расскажи лучше, как вас лупят под Сталинградом!

От одного только слова «Сталинград» комендант подскочил на месте и вопросительно уставился на переводчика. Тот растерянно посмотрел на коменданта, потоптался на месте и дословно перевел.

Менгель приказал, чтобы кричавший подошел к нему. Но толпа сомкнулась. Никто не выходил.

Комендант отдал приказ привести к нему смутьяна, но автоматчики наткнулись на сплошную, точно каменную, стену людей. Сотни пар холодных, ненавидящих глаз смотрели на них. Солдаты растерялись, не зная, что предпринять.

Из толпы раздался женский голос:

— Не нравится? Поперек горла становится?...

Переводчик перевел и это.

Комендант рассвирепел. По его приказу автоматчики выхватили из толпы мужчину и женщину и отвели их в сторону. Менгель объявил, что будет считать до пяти, а если к этому времени виновные не будут выданы, он расстреляет заложников.

— Не пугай! — раздалось в ответ.

— Молчите, братцы! — крикнул мужчина, стоя под наведенными стволами автоматов.

— На колени! На землю! — закричал комендант, и автоматчики дали несколько выстрелов над головами собравшихся. На колени никто не опустился.

— Айн... цвай... — отсчитывал Менгель.

Послышались сдержанные рыдания, ропот негодования и новые выкрики.

— Душегубы проклятые!...

— Звери...

— Захлебнетесь кровью, собаки!...

— Всех не перестреляете...

— Драй... фир... — считал комендант. — Фюнф!...

Раздался залп. Двое упали на землю. Толпа замерла, а через мгновение, как поток, прорвавшийся через плотину и сокрушающий все на своем пути, люди с ревом ринулись на кучку гитлеровцев. Это произошло так неожиданно, так быстро, что солдаты не успели даже

оказать сопротивления.

На другой день к вечеру прибыл усиленный карательный отряд и спалил деревню дотла.

— Ас народом как? — спросил Костров.

— Часть ушла в партизаны, часть разбежалась, а некоторые, большей частью женщины, попали к карателям в лапы.

— Кто же теперь комендант города? — поинтересовался Снежко.

— До сих пор не прислали. Пока замещает какой-то обер-лейтенант. Комендантам в нашем городе не везет.

— Не только комендантам, — усмехнулся Костров. — А как чувствует себя господин Скалон?

— Да, ведь я главного-то чуть не забыл, — спохватился Беляк. — Вот память стала!... Вчера такой разговор был... Вызывает меня заместитель бургомистра к себе. Дело происходило днем, во время работы. Я думал, по финансовым делам. Но вижу, сидит у него немец-офицер. Смотрит на меня в упор и молчит. Я понял, что финансы тут, видимо, ни при чем, и, признаться, струхнул маленько. Скалон начинает разговор. Предлагает мне выехать в деревню, встретиться там с одним партизаном, выслушать его внимательно, запомнить все сказанное им или даже записать и договориться о следующей встрече.

Костров и Снежко насторожились. Сообщение действительно было чрезвычайно важным.

— Ты не поинтересовался, почему Скалон именно тебе решил поручить такое щепетильное задание? — спросил Костров.

Беляк предупреждающе поднял руку.

— Сейчас все расскажу. Когда я задал вопрос, почему на меня решили возложить такую почетную миссию, Скалон объяснил, что, во-первых, этому партизану далеко и надолго из расположения отряда уходить нельзя, тем более, что у него с некоторых пор испортились отношения с командованием и ему самому кажется, что командиры на него поглядывают косо; во-вторых, посылать к нему специального человека, неизвестного в деревне, нежелательно, поскольку это может показаться подозрительным и привести к провалу явочной квартиры, а я, как человек, часто бывающий во всех деревнях и известный жителям, представляю собой наилучшую кандидатуру. На мой вопрос, надежен ли этот партизан и не попаду ли я с ним в какую-нибудь опасную историю, Скалон ответил, что это испытанный и проверенный человек. После этого мне ничего не оставалось делать, как принять поручение.

— И ты правильно поступил... — заметил Костров, но тут же осекся, — у него мелькнуло страшное предположение. Не знает ли предатель Беляка в лицо? Не слышал ли он о его роли в городе? Может быть, он видел когда-либо Беляка в расположении отряда? Однако подумав, Костров отбросил все эти опасения. Беляк в лесу у партизан был всего два раза, и появление его всегда обставлялось соответствующей конспирацией. Имя его упоминалось лишь среди партийного актива бригады. Для встреч с ним выделялись особо проверенные товарищи. Нет! Тут, кажется, все обстояло благополучно.

«Значит, все-таки есть предатель в нашей среде, — подумал Костров, и ему припомнились события прошлого года, таинственная смерть пленного ротенфюрера. — Как мы все-таки плохо работаем, и особенно я! — упрекнул он себя. — Не можем найти врага в своих рядах».

— Фамилию партизана он сказал? — спросил Снежко.

— Нет. Назвал только имя.

— Какое?

— В том-то и дело... То же самое имя, что назвал вам прошлым летом пленный: Василий.

Костров вздрогнул.

— Не может быть... — глухо проговорил он.

— Коль сказал, то может быть, — заметил Беляк. — Видимо, тот же самый человек.

— Да, история... — начал Костров. Он встал и взволнованно заходил по комнате. — А разговор со Скалоном был окончательный? — поинтересовался он.

— Да. Условились обо всем.

— Где и когда должна произойти встреча?

Беляк объяснил, что встреча назначена через четыре дня, в воскресенье, в деревне Выселки, которая находится в семнадцати километрах от леспромхоза. Явиться нужно в дом неизвестного Беляку человека по фамилии Волохов. Дом стоит третьим от края, если войти в деревню со стороны леса. На встречу отводится два часа — от шести до восьми вечера.

— А условия встречи?

— Я скажу Волохову пароль, а уж он познакомит меня с Василием.

Оставалась неясной одна деталь, — какое отношение ко всему этому имел офицер, сидевший в кабинете Скалона.

— Он участвовал в беседе? — спросил Костров.

Беляк ответил отрицательно. Офицер не владеет русским языком и все время молчал.

— Но мне почему-то кажется, — добавил Беляк, — что Василий является именно его агентом. Иначе зачем ему было торчать в кабинете?

3

Элеватор стоял в стороне от города, на холме. По одну сторону от него тянулась железная дорога, по другую — шоссе.

В сорок первом году, когда фашисты бомбили город, от нескольких прямых попаданий огромное здание элеватора рухнуло, образовав беспорядочную груды щебня, бетона, железа. Уцелело только большое подвальное помещение, разделенное на множество клетушек.

На элеватор шли разделившись: Беляк впереди, Костров и Снежко сзади, на расстоянии видимости.

За железной дорогой их встретил Якимчук. Помигивая карманными фонариками, они пробирались среди глыб бетона, камней, огромных скрюченных железных прутьев. Наконец подошли к темной дыре. Первым прыгнул в нее Якимчук, за ним последовали остальные. После блуждания по темным безмолвным каморкам попали в комнату, освещенную плоской, стоящей на куске бетона. В комнате уже сидели Микулич и учитель Крупин.

Костров познакомился с Микуличем, Крупиным и Якимчуком, которых до этого никогда не видел.

— Все в сборе, — объявил Беляк.

Пришедшие уселись на камни возле стен.

— Давно ожидаете? — спросил Снежко.

Якимчук ответил, что он едва успел проводить сюда Микулича и Крупина, и тотчас отправился навстречу Беляку.

— Что ж, давайте начнем, — сказал Беляк и, вынув из кармана заявление Якимчука, начал его читать.

Костров с любопытством и интересом разглядывал новых знакомых, о славных делах которых много слышал.

Добродушный, лысый, рыжебородый Микулич чем-то походил на железнодорожника Якимчука. Якимчук тоже был лыс, имел такую же рыжеватую, но короче подстриженную бороду. Только глаза Якимчука, задумчивые и немного грустные, совсем не были похожи на веселые, подвижные и хитроватые глаза Микулича.

В Крупине легко можно было узнать человека умственного труда. Худощавый, с бледным лицом, тонкими пальцами рук, с глубоко посаженными черными глазами, он походил на музыканта или художника.

Якимчука рекомендовали в кандидаты партии Пушкарев и Добрынин.

Начали задавать вопросы.

— Сколько вам лет, товарищ Якимчук?

— Пятьдесят шесть.

— Семья из кого состоит?

— Из пяти человек: я, жена, две дочери и сестра жены.

— Что делают дочки?

— Одна, меньшая, в доме матери помогает, — жена-то болеет у меня, — а другая, старшая, как и до войны, работает в депо на станции.

— Семья знает, что вы связаны с партизанами?

— Знает.

— На военной службе были?

— Был. В империалистическую войну солдатом служил и чуть не сложил свои кости в Карпатах. Два раза был ранен, ноги и руки обморозил. В Гражданскую войну с начала и до конца сражался в рядах Красной армии, артиллеристом на бронепоезде.

— Вы хорошо подумали, прежде чем подали это заявление?

— Очень хорошо подумал, дорогие товарищи. Сожалею о том, что не подал его раньше.

Члены бюро попросили Якимчука рассказать об его участии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Он разгладил рукой обвислые усы, осторожно кашлянул в кулак, задумался немного, как бы что-то припоминая, а затем спокойно, неторопливо начал рассказ. Зимой сорок первого года Якимчук познакомился с машинистом Ибрагимом Рахматулиным, который должен был вести эшелон с советскими людьми, угоняемыми на каторгу в Германию. Якимчук убедил Рахматулина перейти на сторону партизан. Рахматулин привел состав к месту, где ждала засада, убил двух солдат, поставленных присматривать за ним, и перешел к партизанам.

Костров, слушая Якимчука, отчетливо и ярко вспомнил то холодное зимнее утро после долгого бурана, когда партизаны поджидали этот эшелон. Вспомнился штабель шпал, за которым сидели он и Зарубин, паровоз с одной зажженной фарой и выпрыгнувший из будки машинист. Рахматулин до сих пор состоял бойцом отряда, которым командовал Бойко. Глядя сейчас на спокойного, неторопливо рассказывающего о себе Якимчука, Костров думал:

«Ведь человек уже в том возрасте, когда ему полагается спокойно доживать положенный срок, не думать о рискованных делах. А этот человек продолжает бороться, ищет больших, опасных дел. Пятьдесят шесть лет! Полвека с лишним! Шутка сказать! Да только ли он один такой? А Микулич! А дед Макуха! А многие другие! Вот что значит беззаветно любить родину, страстно ненавидеть ее врагов!»

А Якимчук продолжал рассказ. С зимы сорок второго года он регулярно собирает сведения о проходящих через станцию воинских эшелонах и информирует Беляка. Пользуясь его информацией, партизаны пустили под откос шесть эшелонов с техникой, боеприпасами и горючим. В груженные составы, проходящие мимо его будки, он бросал зажигательные пакеты. В четырнадцати случаях на этих составах в пути следования возникли пожары. Якимчук собственноручно заминировал и подорвал поворотный круг в паровозном депо, который бездействует и до настоящего времени. На минах, им заложённых, подорвалась автодрезина и ехавшие на ней гитлеровские офицеры.

— Я думаю — довольно, — прервал Якимчука Беляк. — Я считаю, что патриот Якимчук достоин быть кандидатом в члены нашей партии. Вношу предложение принять его.

— Правильно, — поддержал Снежко. Никто не возражал. После голосования Беляк объявил Якимчуку, что он может считать себя кандидатом партии.

— Спасибо, товарищи, — взволнованно произнес Якимчук. — Я не опозорю имени коммуниста и сделаю все, что от меня потребуется.

Голос его звучал твердо, но волнение передалось всем.

Якимчука отпустили. Его проводил Микулич. Примерно через полчаса начали рассматривать заявление Наташи Горленко, работавшей официанткой немецкой офицерской столовой летчиков.

Наташа, маленькая, щупленькая девушка с тоненькими светлыми косичками, тщательно уложенными на голове, выглядела совсем молоденькой, ей можно было дать не больше семнадцати лет. Глядя на нее, трудно было предположить, что она активная, бесстрашная подпольщица, каждодневно ведущая работу, связанную с риском для жизни. Узенькие плечи, тонкие, как у подростка, руки. И лишь глаза — большие, серые, обведенные синеватой каемкой — смотрят решительно и сурово.

Она рассказала, что ей очень трудно мириться с необходимостью быть постоянно в кругу врагов, от рук которых погибли в начале войны ее отец и младший брат. Прежние друзья и знакомые, честные советские люди, при встрече не здороваются с ней. Им непонятно, что могло заставить Наташу остаться в городе, да еще пойти в услужение к оккупантам. Наташа болезненно переживает это, но понимает, что надо терпеть.

— Я сознаю, что выполняю долг перед родиной, — сказала взволнованно Наташа, — но согласитесь сами: очень больно, когда тебя считают предателем.

— Ничего не сделаешь, родная, — произнес Беляк. — На то мы и называемся большевиками, — все должны перенести, стерпеть, а борьбы не прекращать и цели достигнуть.

Наташа научилась говорить по-немецки и по заданию Беляка выводила от гитлеровских летчиков все, что было возможно. Благодаря ее информации советская авиация уже дважды удачно бомбила городской аэродром, — взорвались штабели бомб, были подожжены цистерны с горючим.

Сейчас Наташа собирала сведения о поступивших на вооружение германской армии новых самолетах, о мощности их моторов, скорости, запасе горючего, предельной бомбовой нагрузке, вооружении.

Костров сообщил собравшимся, в том числе и Наташе, что Указом Президиума Верховного Совета СССР она за выполнение заданий в тылу врага награждена орденом Красной Звезды. На щеках Наташи ярко проступил румянец. Быстро заморгав ресницами, она опустила голову.

Костров, наблюдавший за девушкой, видел, как она нервно пощипывала полу своего легкого пальтишка, как высоко и быстро поднималась ее грудь. Сообщение о награде было для нее неожиданностью.

На несколько секунд воцарилась тишина, глаза всех были устремлены на Наташу.

Нарушил молчание Костров.

— Как со здоровьем? — спросил он девушку.

— Не жалуюсь. Это я только с виду такая.

— С питанием как?

— А что с питанием? Я же в столовой работаю. По заданию Дмитрия Карповича я еще кое-что достаю и передаю через дедушку Микулича нуждающимся товарищам.

Наташу единогласно приняли в кандидаты партии.

— Вот видишь, как хорошо получилось, — сказал Беляк, — сразу у тебя две радости. В один день стала и коммунисткой и орденосцем. Сердечко-то, небось, прыгает, а? Рада?

Наташа поднялась с камня, маленькая, тоненькая, оправила пальто и, сжав руки в кулачки, сказала горячо, быстро:

— Рада... Ой, как же рада!... Разве я думала?... Ведь это вы все, Дмитрий Карпович, — и, неожиданно бросившись к Беляку, она обхватила его шею руками, жарко поцеловала и зарыдала.

— Ну вот, дурашка моя... — растерянно и смущенно произнес Беляк, ласково поглаживая голову девушки. — Зачем же плакать?... Ты же... ты же теперь орденосец... и вдруг...

Беляк не мог подобрать слов, он и сам был готов заплакать.

— Это я от радости... это хорошо, — сказала Наташа, вытирая слезы. — Так бывает, наверное, раз в жизни.

— Еще будет... обязательно будет, — твердо заверил Микулич. — Должно быть.

— Я тоже в этом уверен, — проговорил Костров, взволнованный не менее самой Наташи.

— Ну, я пошла. До свиданья, товарищи. — И, неожиданно крепко, по-мужски пожав всем руки, Наташа, бодрая, с горящими от радостного возбуждения глазами, вышла в сопровождении Беляка из комнаты.

Она ушла, но что-то светлое, необычное осталось в этом холодном, мрачном помещении. И сырые углы, повитые изморозью, как паутиной, и неотесанные глыбы камней, и бледный свет коптящей плошки — все казалось приветливее, уютнее.

Первым заговорил Микулич.

— Не девчонка, а голубка. Вся она прозрачная какая-то, чистая. Другой раз как подумаешь, что крутится она среди этих гадов, сердце перевертывается...

— А я вот что скажу, — прервал Микулича молчавший до этого учитель Крупин. — Я двадцать лет состою в партии, но, признаюсь честно, никогда не был на заседании или собрании, которое бы взволновало так сильно. — Он встал и зашагал по комнатухе. — Вот она, товарищи, суровая школа жизни. На этом примере становится ясным, почему так сильна была духом, волей, разумом ленинская гвардия, прошедшая царское подполье. А они, вот эта Наташа и другие, и молодые и старые, все разные и все так похожи друг на друга, что кажется, будто у них одно сердце.

Костров жадно слушал старого большевика. Он знал, что Крупин в прошлом был блестящим пропагандистом, знал и то, в каких трудных условиях работает сейчас учитель. Гитлеровцам было известно, что он коммунист с большим стажем. Этого нельзя было скрыть: Крупин родился в этом городе, здесь же и работал. В первые дни оккупации ему пришлось пройти специальную регистрацию в гестапо и два раза в неделю приходиться отмечаться. Малейший промах мог привести Крупина к гибели, но он, не раздумывая, смело включился в деятельность подполья. Крупину поручили работу среди учащейся молодежи. С помощью группы подростков он распространял в свое время газету «Вперед», а после ее закрытия — листовки, которые сам же печатал на пишущей машинке.

Беляк, проводивший Наташу, вскоре возвратился с Ольгой Лях — телефонисткой городской станции. Ольга оказалась черноглазой смуглой двадцатипятилетней женщиной, решительной, энергичной, с резкими движениями.

Биография ее была очень коротка. Дочь летчика, погибшего на войне с белофиннами. Мать в эвакуации, в Сибири. Окончила Ольга семилетку. В тридцать восьмом году вышла замуж за командира-артиллериста, который погиб 2 июля сорок первого года. В тылу врага осталась по заданию горкома партии.

— Какие задания подполья вы сейчас выполняете? — спросил Ольгу Снежко.

— Я веду работу в двух направлениях, — ответила Лях. — Подслушиваю переговоры гитлеровцев по телефонам и обо всем докладываю кому следует, а также подготавливаю горожан к уходу в лес, к партизанам... Другого ничего мне не поручают.

— Довольно и этого, — заметил Костров. — А много вы подготовили горожан к переходу в отряд?

— Пока семнадцать человек, но у меня есть еще на примете пять человек.

— Надежные?

— Ручаюсь.

«У этой слез, пожалуй, не выжмешь, — подумал Костров. — Совершенно другого склада характер».

— Вас не тяготит подпольная работа? — спросил он.

В глазах Ольги появился злой огонек, черные густые брови сошлись на переносице.

— Такой вопрос, товарищ, не знаю вашей фамилии, мне не надо бы задавать. Меня тяготит то, что по нашей земле ходят изверги и людоеды. Я говорила Дмитрию Карповичу и скажу всем вам, что могу выполнять более сложные задания... Я могу убивать врагов, а не только подслушивать их разговоры.

— Простите, товарищ Лях, — извинился Костров, — задавая вопрос, я не имел в виду обидеть вас.

Ольга улыбнулась и кивнула головой. Она была вспыльчива, но быстро отходила.

— А работать надо там, где поручат, — решительно заметил Крупин. — Мы вас сейчас примем в партию, а член партии обязан прежде всего быть образцом дисциплинированности.

— Я рассказываю, что у меня на душе, — возразила Ольга, — а делать буду то, что поручат.

Вслед за Ольгой Лях приняли в кандидаты партии слесаря-водопроводчика Марковского.

При этом вскрылись совершенно неожиданные обстоятельства. Марковский — сорокасемилетний мужчина, участник Гражданской войны, инвалид, — рассказывая о себе, мельком упомянул, что до мая сорок первого года он работал в котельной психиатрической

больницы.

— Где, где? — спохватился Костров.

— В психиатрической больнице, — ответил удивленный Марковский. — А что?

— А почему ушел оттуда?

— С завхозом не поладил. Жулик. Заставлял фиктивные расписки и акты на невыполненные работы изготавливать. Я терпел, терпел, потом вижу, что от таких дел в тюрьму угодить можно, плюнул и ушел. Он себе на таких делах руку ловко набил — деньжонок наворовал, дом купил в городе и живет припеваючи.

— И сейчас живет?

— Конечно. Куда ему деваться!

— Как его фамилия?

— Скорняк, Ефим Станиславович. С Украины он, из западных областей. Как освободили их в тридцать девятом — к нам в город приехал. Такой ловкач...

— Чем же он теперь занимается? — продолжал выспрашивать Костров.

— Все там же работает, при больнице...

— А больница разве сейчас существует? — спросил Беляк.

Марковский задумался.

— Ведь и правда, — сказал он не совсем уверенно, — больницы-то нет. Но Скорняк там околачивается, это я точно знаю. Непонятно только, что он там делает.

— С кем Скорняк живет?

— У него полон дом. Плодовитый, чертяка. От первой жены-покойницы три дочки, да вот от второй, кажется, столько же. Потом еще теща...

— И все с ним живут?

— С ним.

— Ты знаешь его адрес?

— Как же не знать! Бывал несколько раз. Я с ним не ругался, а расстался по-мирному, по-хорошему.

— Ну-ка, поподробней расскажи о нем, — попросил Беляк. — Что он за человек?

Марковский хмыкнул.

— Да его и человеком-то назвать совестно. Шулериска с трухлявой душонкой. За деньги на все пойдет. Ну и трус к тому же изрядный.

— Хорошо, — резюмировал Костров. — К Скорняку мы еще с вами вернемся. Я вас попрошу только уточнить, действительно ли он сейчас работает на территории больницы.

Марковский согласился разведать это, и его отпустили.

Полчаса спустя Костров и Снежко покинули подвал элеватора.

4

В сумерки начала мести пороша. Ветер, неровный, порывистый, крутился по лесу, налетал на молодые деревца, зло врывался в двери землянок, задувал дым в трубы, гнал поземку.

— Опять погода шалит, — пожаловался Зарубин.

Он сидел за столом, склонившись над картой.

Костров лежал на топчане, задумавшись. Он любил мысленно еще раз пережить события недавнего прошлого. Каждый новый день приносил новые события, и перед сном всегда было о чем вспомнить, над чем подумать. Много случалось радостного, много и тяжелого, но все казалось дорогим и ни с чем не хотелось быстро расстаться. Взять хотя бы это трудное путешествие в прошлом году к партизанам Локоткова. Разве можно об этом забыть? Разве уйдут из памяти тревожные ночи, когда Костров, не зная дороги, руководствуясь только компасом и картой, шел по неизведанному пути? Было трудно, очень трудно одному в незнакомом лесу. Но зато какое чувство гордости и удовлетворения он испытал, добравшись наконец до лагеря соседнего партизанского отряда. Нет, все это незабываемо: ночные бои, дальние разведки, холод и голод, сомнения и радости, поездки в город, собрания под

развалинами элеватора...

«Пройдут годы, — думал Костров, — окончится война, залечит родина раны, а память людей бережно сохранит все эти ушедшие в прошлое события и дни».

— Ты, кажется, скучаешь, Георгий Владимирович? — обратился Зарубин к начальнику разведки. — Видно, погода грусть навевает?

— Нет, — отозвался Костров. — Я просто думаю.

— О чем же, если не секрет?

— Конечно, не секрет, Валентин Константинович. Я думаю о том, что мы не напрасно живем, и красиво живем, и не стыдно оглянуться назад. Во всяком случае, есть что вспомнить и есть чем гордиться. Я имею в виду всех нас: и себя, и вас, и Ивана Даниловича, и Добрынина, и Беляка, и Рузметова, и Наташу, о которой вчера вам рассказывал.

Командир бригады слушал Кострова не перебивая. Зарубин знал, что капитан не страдает болтливостью и очень редко высказывает так откровенно свои чувства.

Костров продолжал:

— Ведь нас заставили воевать враги. Война не наше призвание. Это же истина, аксиома. Но посмотрите, как народ овладел тяжелым ратным делом, какие он совершает подвиги, подчас самому ему незаметные. Поэтому-то наши люди в состоянии творить чудеса. Я могу, как на пример, сослаться на Добрынина, на Беляка, Наташу, Бойко — людей сугубо гражданских и ставших вдруг прекрасными командирами, квалифицированными разведчиками, искушенными подпольщиками. А ваша жена?

— А ты? — прервал его Зарубин. — Ты думал два года тому назад, что будешь сидеть в лесу в роли начальника разведки партизанской бригады?

— Нет, безусловно, нет, — сознался Костров.

— То-то и оно! Цель, Георгий Владимирович, великая, благородная цель перед всеми нами — защита социалистической родины. А у нашего народа такие высокие нравственные устои, что он не остановится перед любым подвигом, перед любыми жертвами во имя этой цели. Вот ты сказал...

В землянку влетел Пушкарев.

— Ну-ка, за мной, лодыри! — скомандовал он. — Появился необычный гость, человек с большой буквы, и хочет рассказать что-то интересное. Айда, пошли.

— Что за человек с большой буквы? — недоуменно спросил Зарубин.

Костров рассмеялся.

— Память у тебя дырявая, товарищ командир бригады, — упрекнул Пушкарев. — А помнишь, кто нашел в лесу парашют?

— А-а-а, помню, помню. Сурко, кажется?

— Он самый.

Зарубину отчетливо припомнилась история с двумя парашютами, один из которых обнаружил крестьянин Сурко.

— Кстати, как фамилия того негодяя, который украл первый мешок? Я что-то не припомню... — спросил он.

— Редькин, — подсказал Костров.

— Так вы идете или нет? — начиная сердиться, спросил Пушкарев. — Сурко сидит на передовой заставе.

— Идем, идем, — успокоил его командир бригады, надевая полушубок.

Костров тоже оделся, и втроем они вышли наружу.

Сумерки сгустились. Низкие облака закрыли небо, звезды. По-прежнему мела пороша, ветер бросал в лицо сухой, колючий снег, и даже на близком расстоянии трудно было что-нибудь разглядеть.

Шагая следом за Зарубиным, Костров думал о том, что такая погода на руку его разведчикам, которых он разослал сегодня на задания. «При такой темноте можно пройти под носом у часового, и он не заметит, а если и заметит, так нетрудно скрыться».

Зарубина беспокоило другое.

«Редькин... это тот самый Редькин, который принес в ноябре сведения о прохождении эшелона со скотом, — думал он. — Чем же тогда окончилась эта темная история? Кажется, ничем. Как же это могло случиться? Что помешало нам до конца проверить, кто именно все перепутал?»

— Георгий Владимирович, — обратился Зарубин к шедшему сзади начальнику разведки, — вы помните тот случай, когда Бойко нарвался на эшелон с боеприпасами и потерял людей?

— Очень хорошо помню. С этим случаем тоже связана фамилия Редькина.

— Совершенно верно, — отозвался Зарубин. — История была довольно странная, а мы о ней забыли и успокоились.

— Напрасно вы так думаете, — осторожно возразил Костров. — Я проводил проверку.

— Интересно! И что же она дала?

Костров рассказал. Через своих разведчиков, работающих на железной дороге, он установил точно, что в те дни станция никакого эшелона с рогатым скотом не пропускала и не формировала. Телеграфист, на которого ссылался Редькин, действительно работал и продолжает работать на станции. Это молодой парень, сын бывшего торговца. Люди Кострова характеризуют его как прихвостня оккупантов.

— Но тут есть другое обстоятельство, — добавил Костров. — Ведь Бойко организовал засаду не на том участке, где рекомендовал нам Редькин, а зашел вперед на восемь километров. А на тот участок, как сообщают наши железнодорожники, выходил ночью немецкий бронепоезд. Вот в чем дело...

— Значит, если бы Бойко не изменил маршрута, то мог бы иметь дело с бронепоездом?

— Так получается.

— Совсем интересно! Чьих же это рук дело: телеграфиста или Редькина?

— Затрудняюсь ответить. Редькин ничего объяснить не может, я с ним говорил еще два раза. Он только твердит: «За что купил, за то и продал, и не путайте меня».

Зарубин задумался. Этот Редькин определенно не внушал доверия. Во-первых, хищение парашютного мешка, во-вторых, эта история с эшеломом, с каким-то телеграфистом. Поднималась досада на самого себя. Надо было давно заняться Редькиным, не спускать с него глаз и добиться полной ясности.

«Тут я прошляпил, — ругнул себя Зарубин. — И дело надо исправить».

Шедший впереди Пушкарев остановился, дождал отставших от него Зарубина и Кострова, а когда те приблизились, вдруг рассмеялся.

— Что случилось? — удивленно спросил Зарубин,

— Да я все думаю об этом человеке с большой буквы, — сказал Пушкарев и зашагал вперед.

— Хитрый мужичонка! До чего же хитрый! Не хочет идти в лагерь. Дошел до заставы, вызвал Рузметова. «Дальше, — говорит, — ходу мне нет, потому как разговор у меня секретный, а у вас есть люди ненадежные». Вы слышали?

— Так и сказал?!

— Да, да.

— А что за секретный разговор?

— Не сказал даже Рузметову, требует главного. «Я, — говорит, — его хорошо помню».

Передовая застава размещалась в большой, глубокой, с амбразурами землянке, расположенной в километре от лагеря и тщательно замаскированной снегом и молодыми елками.

Около землянки стоял с автоматом дедушка Макуха.

— Дежурим, старик? — весело спросил Пушкарев.

— Дежурим, хлопчик, — ответил дед. — Табачком не побалуешь?

Пушкарев вынул из кармана кисет.

— Идите, а то у Усмана с тоски зубы заболят. Этот лохмотник со своей военной тайной сидит и молчит.

В землянке, около железной печурки, разогретой докрасна, сидели на низких чурбачках друг

против друга Сурко и Рузметов. Молчание, видимо, длилось долго, потому что Рузметов, увидев вошедших, облегченно вздохнул.

Сурко, одетый в невероятно изодранный полушубок, встал, быстро оглядел вошедших и, узнав в них старых знакомых, поздоровался.

Все расселись на чурбачках возле печи.

— Опять с радостной вестью? — спросил Зарубин, доставая табак и бумагу.

Сурко отрицательно помотал головой и покосился на двери.

— Там все в порядке, — сказал Зарубин.

Тем не менее Сурко, наклонившись вперед, тихо, вполголоса начал говорить:

— Среди вас есть предатель... Он приходит в деревню, встречается с подозрительными людьми и опять исчезает. Я проследил его.

Воцарилась минутная тишина.

— Почему ты решил, что он предатель? — спросил Пушкарев.

Сурко нахмурился.

— Напрасно говорить не буду, — отрубил он. — Предатель самый настоящий. Приходит он в дом бандюги, у которого сын работает на фашистов, а зять по своей воле в Германию уехал. Был случай, когда в доме сидел гестаповец, а ваш партизан зашел туда и вышел целым и еще под хмельком. Это что, не предатель? Определенно предатель!

Зарубин попросил описать наружность партизана, заподозренного в предательстве.

По словам Сурко, это был человек высокого роста, немного сутуловатый; черты лица у него не совсем правильные, волосы рыжие, редкие. Носит сейчас треух.

— Насчет фамилии не скажу, потому как не знаю, — добавил Сурко, — но опознать смогу и промаху не дам.

Все напряженно старались представить, кто из партизан подходил под эти приметы. И тут Кострову пришла в голову мысль, навеянная разговором по дороге.

— Не Редькин ли? — произнес он не совсем уверенно.

Все подтвердили это предположение. Да, приметы совпадали: рост, сутулость, редкие рыжие волосы.

— Узнаешь, если покажем? — спросил Пушкарев.

— Узнаю! Ведите! — решительно заявил Сурко.

— Так. Еще один момент, — сказал Зарубин и от волнения встал. — Как называется твоя деревня?

— Выселки.

Командир бригады взглянул на Кострова. Ту же деревню назвал и Беляк.

— Да, все ясно, — произнес Костров. — И Редькина звать Василием. Вы фамилию владельца дома знаете? — обратился он к Сурко.

— А как же! Волохов...

Сурко охарактеризовал Волохова. В далеком прошлом, в годы нэпа, Волохов держал в деревне лавку, а в хозяйстве у него постоянно работали батраки. В период коллективизации он был инициатором и участником убийства председателя райисполкома, прибывшего в деревню по делам только что созданного колхоза. Волохова осудили. В сорок первом году он вернулся. Живет с дочерью, муж которой по неизвестным делам выехал в Германию. Сын Волохова — телеграфист, работает на железной дороге.

Теперь не было сомнений в том, что провокация с эшелонном была задумана сыном Волохова и Редькиным совместно, по заданию врага.

— Я думаю, что Редькина мы вызывать не будем, — сказал Зарубин, — а поймем его, как говорят, с поличным. А товарища Сурко отпустим.

Возражений не было. Сурко поблагодарили и отпустили. Когда он ушел, Зарубин сказал:

— Я думаю, что мы не ошибемся, если представим его к награде...

Пушкарев поднял руку.

— Я — за. Могу даже и вторую поднять. Уверен, что полковник Гурамишвили нас поддержит.

Подошла суббота, которую все ждали с особенным нетерпением. Был принят план, разработанный Костровым и Снежко еще в городе вместе с Беляком. Во второй половине дня Костров, Бойко и Снежко отправились на лыжах в леспромхоз, где должны были переночевать у старосты, а назавтра, в воскресенье, не позднее шести вечера появиться в деревне Выселки, в доме Волохова.

Метель прекратилась утром. С полдня начал крепчать мороз, и снег звонко похрустывал под ногами. По знакомой дороге трое партизан быстро добрались до леспромхоза.

Староста Полищук пожаловался, что ночью у него со двора увели полугодовалого поросенка. Он сидел в комнате, слушая разговор гостей, и то и дело вздыхал.

— В чем дело, старина? Чего вздыхаешь? — поинтересовался Снежко.

— Про порося никак забыть не могу. Жалко! С него бы моя старуха такого кабанчика выпестовала... И надо же греху случиться. А я мечтал пару окорочков вам в лес послать...

— Ну, не горюй, — успокоил его Снежко.

— А мы и без окороков перезимуем, — добавил Бойко. — Оно, конечно, заманчиво ветчинки покушать. Да еще запеченной в тесте, с такой поджаристой корочкой. Я бы, откровенно говоря, не против. Как вы смотрите, Георгий Владимирович?

— Да ну вас, — отмахнулся тот. — Не дразните.

— В общем, не горюй, еще наживешь и тогда с нами поделишься, — сказал Снежко.

Полищук ухмыльнулся, почесал поясницу.

— А чего мне наживать? У меня еще пара есть. Правда, не такие, поменьше.

Все дружно рассмеялись.

— Этих-то не украдут, — продолжал он. — Я их в лесу держу, в землянке. Тоже растут подходящие...

— Значит, будут окорока? Тогда плюй на все и ложись спать, — посоветовал Бойко, — Может быть, у какого-нибудь бедолаги нет мяса к Новому году, вот он и решил одолжить у старосты. Небось, уверен, что староста уж себе добудет мяса. — И Бойко решительно полез на печь, давая понять, что разговор окончен и пора спать.

Снежко остался у опушки леса, спрятавшись за деревьями, а Костров и Бойко пошли в деревню.

Было уже без пяти шесть. Шли без опаски, зная, что в этой деревне, стоящей у самого леса, оккупанты бывают очень редко, наездами,

На стук вышел Волохов, босой, в нижней рубахе. Росту он был небольшого, узкий в плечах, с бородкой клинышком. Маленькие, глубоко запавшие глаза внимательно осматривали незнакомых людей. Но никаких признаков волнения и беспокойства он не проявил. Упрятав ладони под мышками и поеживаясь от холода, он скорее с любопытством, нежели с тревогой, поглядывал на гостей.

«Совесьть чернее ночи, а не трусит, — подумал Бойко. — Видать, стреляный волк».

— Волохов? — спросил капитан Костров, обивая хворостинкой заснеженные сапоги.

— Точно так. А вам кого надо?

— Вас и надо. Привет вам от Ганса. Он просил передать, что сено подсохло.

— Ну и хорошо, и замечательно. Прошу в хоромы, — засуетился Волохов.

В пятистенной, с большими сенями избе было светло и жарко. Окна замаскированы. В первой комнате стоял стол, накрытый цветистой клеенкой, в одном углу висела большая икона, в другом, на маленьком столике, блестел начищенный медный самовар, в простенке между окон тикали ходики.

— Прошу садиться, дорогие гости, — пригласил Волохов и крикнул: — Варвара!

Из соседней комнаты открылась дверь, и у порога встала рослая, рябая, лет тридцати женщина.

Костров подумал, что это, вероятно, дочь Волохова, муж которой находится в Германии.

— Ну? — довольно недружелюбно спросила она Волохова, не считая нужным поздороваться с вошедшими.

— Достань-ка нам яблочков моченых... мисочку.

Варвара не торопилась исполнять приказание, и когда Костров заявил, что они сыты и ничего не хотят, она повернулась и скрылась опять в той комнате, из которой только что вышла.

— Скоро ожидаете? — спросил Костров, не назвав ни имени, ни фамилии человека, которого он имеет в виду.

— Да, Василий Андрианович аккуратный человек, — ответил Волохов и посмотрел на ходики. — Он себя долго ждать не заставит.

Хозяин оказался прав. Не прошло и пяти минут, как к дому подкатил кто-то на лыжах. Костров и Бойко насторожились.

Волохов привстал.

— Повстречать надо Андриановича. Это он пожаловал.

— Сиди! — приказал Бойко, глядя на Волохова тяжелым, недобрим взглядом.

Тот оторопело посмотрел на гостей, не находя, видимо, объяснений столь быстрой перемене тона.

Слышно было, как заскрипела дверь. Потом раздался знакомый Кострову голос Редькина:

— Волохов! Пес старый! Где пропал?

— Тут я... Здесь... Проходи, Василий Андрианович, — отозвался хозяин и поочередно поглядел на Кострова и Бойко, как бы спрашивая: «Так я или не так ответил?»

— Не опоздал я? — вновь заговорил Редькин.

— Нет, нет, боже упаси...

Наконец дверь открылась и ввалился Редькин. Автомат висел у него за спиной. Предатель был уверен, что его здесь встретят радушно, и ничего не опасался. Увидев Кострова и командира отряда Бойко, он озлобленно и тревожно уставился на них, но тут же спохватился и попытался изобразить на своем лице улыбку.

— А вы как сюда попали, товарищи командиры? — спросил он.

От слова «командиры» Волохов беспокойно заерзал на скамье. Он, кажется, начинал соображать, с кем имеет дело.

— Руки вверх! — приказал Костров и навел на предателя пистолет.

— Быстрее шевелись! — прикрикнул Бойко.

Он подошел к Редькину, сорвал с него автомат, нож, обшарил его карманы.

— Не ожидал, что так получится? — спросил Бойко.

— Нет! — делая вид, что ничего не понимает в происшедшем, ответил Редькин.

— Частенько бывал в этом доме?

— Нет...

— А ротенфюрера, которого я из-за реки привел, помнишь?

— Нет...

— Давно продался, подлец?

— Нет...

— Недавно! — усмехнулся Костров. — Ну, ладно. Нам нет времени твои «неканья» слушать.

— В лагере у тебя, надеюсь, язык развяжется, — добавил Бойко.

Редькину и Волохову завернули назад руки и прочно связали их.

— Вперед, марш! — скомандовал Костров.

На улице поджидал Снежко.

— Все в порядке, — шепнул он на ухо капитану, — староста подкатил на паре... быстро довезет.

Не успел Костров по возвращении рассказать об удачно проведенной операции, как вошедший в землянку дежурный доложил командиру бригады, что крестьянин Сурко хочет его видеть.

Зарубин недоуменно пожал плечами. «Неужели опять какая-нибудь новость? Может быть, что-либо спутали или не того, кого надо, взяли?»

— Веди его сюда, — приказал он дежурному.

Вошел Сурко. В его всклокоченной редкой бороде и в усах торчали сосульки, и с них сразу же начали падать капли.

— Прямо сюда пришел и не побоялся? — спросил его Зарубин...

— Теперь уже не боязно. Сволочугу убрали. Я наблюдал все время...

— Его взяли? — задал вопрос Костров.

— Его.

— Какие же ты новости еще принес? — поинтересовался Зарубин.

Сурко доложил. После того как увели Редькина и Волохова, примерно через час к дому на санях подъехали двое. Один из приехавших, по словам Сурко, старик, вылез из саней, вошел в избу и через несколько минут вышел оттуда с дочерью Волохова. Та ему что-то говорила, а старик расспрашивал. Потом, сев в сани, он со своим спутником укатил обратно.

Сурко считал, что Костров и Бойко допустили оплошность. Следовало не торопиться с уходом из дома, а подождать часок. Тогда бы удалось захватить еще двух фашистских приспешников.

На этот раз Сурко явно ошибался. Незвестным стариком и «фашистским приспешником» был, вне всяких сомнений, Дмитрий Карпович Беляк. Было условлено, что он появится в деревне не ранее семи вечера и желательно с кем-нибудь из свидетелей. Беляк так и поступил, захватив с собою одного из работников управы.

— Этот неизвестный, что заходил в дом, действительно старик? — спросил Добрынин.

— Не хочу брехать... — ответил Сурко. — Ночью можно и ошибиться... По голосу вроде как пожилой.

— Ладно, товарищ Сурко. Спасибо, что пришел и сообщил, — поблагодарил его Зарубин. — Если еще раз появится — скажи, мы его подкараулим и словим... Обязательно словим, — добавил он, сдерживая улыбку.

— Да нет, теперь его не споймать, — с разочарованием заметил Сурко.

— Ты только за этим, батенька мой, и приходил? — тоже улыбаясь, спросил Пушкарев.

— Еще есть дело.

Сурко расстегнул полушубок, достал из внутреннего кармана пиджака небольшой голубой конверт и подал его Зарубину.

Не поинтересовавшись, кому адресовано письмо, Зарубин разорвал конверт, извлек из него маленький листок бумаги и, быстро пробежав глазами, обвел всех недоуменным взглядом.

— Не понимаю. Убейте — ничего не понимаю! — И он прочел вслух: — «Дорогие товарищи! Я жив. Далеко меня завезли, но теперь я уже близко от родного края. Доберусь или подохну. Ваш Бакланов».

Рузметов растерянно поднялся с места.

— Тьфу... Тьфу, — сплюнул Пушкарев, — что-то невдомек мне. Дай-ка я сам прочитаю. — И, взяв из рук Зарубина письмо, медленно прочел его вслух.

— Ничего не происходит в природе такого, что не должно происходить, — съязвил Добрынин.

— Да, да... — подхватил Пушкарев. — Вот именно так и выходит.

— Воскрес из мертвых! — радостно воскликнул Рузметов. — Значит, при взрыве в гостинице он не погиб. А мы его зачислили в покойники. Вот узнает Беляк!...

— Значит, жить ему сто лет! — рассмеялся Зарубин.

— Как же попало к тебе это письмо? — спросил Костров у Сурко.

— Жена Бакланова живет по соседству. Она и передала.

Как попало письмо к Баклановой, Сурко не знал.

Ночь. Канун Нового сорок третьего года. Большая заснеженная поляна, огражденная черной стеной леса. Снег по колено, пушистый, мягкий. Мороз — за тридцать градусов. Лес угрюм и молчалив.

Партизаны слушают своего начальника штаба. Рузметов посматривает на часы и говорит спокойно, не торопясь, дорожа каждым словом:

— Наступление наших войск продолжается. Эта весть, пожалуй, самая радостная для сердца советского человека, сердца партизана. Красная армия идет на запад. Удар за ударом наносит она зарвавшимся гитлеровцам. Только в среднем течении Дона за последние десять дней бойцы Красной армии освободили от оккупантов более восьмисот населенных пунктов...

Пар от дыхания сотен людей клубами поднимается в морозный воздух и тает в нем. Мигают огоньки сигарок. Партизаны вслушиваются в каждое слово молодого командира. Все надо запомнить. Завтра многие из них пойдут в села и расскажут крестьянам о последних событиях на фронте, сообщат, сколько взято пленных, сколько разбито и захвачено немецких танков, орудий, сколько сбито самолетов, какие потери понес враг в живой силе. Народ знает, что победа измеряется не только пройденными километрами.

— Слово за нами, товарищи! — продолжал Рузметов. — Новый год надо отметить новыми ударами. Мы сегодня в штабе бригады рассмотрели и утвердили план тринадцати операций. Есть среди них простые и сложные, большие и малые, трудные и легкие, но все их надо осуществить. Это дело партизанской чести. И крайний срок — завтрашняя ночь...

Рузметов поднял руку с часами к самым глазам и умолк, вглядываясь в светящийся циферблат.

— Ну вот, дорогие друзья, — продолжал он взволнованно, — вот и Новый год... Сейчас, в эту минуту, в Москве кремлевские куранты отбивают двенадцать ударов. Их слышат на Дальнем Востоке, на севере, на юге, в окопах и землянках на фронте, в цехах заводов, в колхозных клубах... Мы с вами не слышим курантов, но они бьют и для нас. Разрешите мне по поручению бюро подпольного окружка и командования бригады поздравить вас с Новым сорок третьим годом, который приблизит победу и разгром врага... Мы не можем поднять новогодних бокалов по той простой причине, что их нечем наполнить. Так давайте вместо этого прокричим наше победное «ура». Пусть враг слышит и чувствует, что мы готовы к бою. За победу! Ура!

Многоголосый протяжный клич прогремел над поляной подобно грому и раскатился эхом по лесным просторам.

А с утра боевые группы покинули лагерь и вышли на новогодние задания.

Пушистый иней покрыл деревья и строения небольшого поселка, в котором до войны находился стекольный завод. Густой лес вплотную подошел к поселку. Дым из труб курчавыми столбиками поднимается над домами и растворяется в черном небе.

В натопленной большой избе, где размещаются местные полицаи, только что окончили «работу». На столе горит керосиновая лампа. Старший полицай и его ближайший подручный пересчитывают деньги, отобранные у мирных жителей. Предатели довольны — они собрали приличный куш.

Вот уж скоро два года будет, как они безнаказанно творят свое гнусное дело: грабят стариков, издеваются над измученными женщинами, беспощадно расправляются с семьями красноармейцев, партизан.

Но партизаны все знают и все помнят. Рано или поздно для каждого предателя подойдет черед расплаты.

Полицаи оканчивают подсчет денег и укладывают их в стол. На столе появляется литровая бутылка с самогоном и яичница.

— Садись, а то остынет, — приглашает полицай своего начальника и сам первый усаживается к столу.

Начальник следует его примеру. Отломив изрядную краюху хлеба, он подносит ее ко рту.

Но что это? В комнату вваливается поздний, непрощенный гость. От заиндевелого, ободранного и перехваченного в поясе веревкой зипуна валит пар. Брови и ресницы человека опущены снегом.

— Чего тебе надо? — грубо спрашивает старший полицай.

Вошедший робко оглядывается, дует на озябшие руки, кашляет в кулак, постукивает ногой о

ногу и молчит.

— Тебя спрашивают, скотина безрогая, что надо?

— Мы из соседней деревни, — тихо говорит посетитель. — Кто тут будет господин старший начальник?

— Не видишь? Я начальник!... С какой бедой тебя черт принес?

— Дело есть к вам... с жалобой мы...

— А кто это мы?

— Как кто? — удивился вошедший. — Мы — я!

— Ну, так и говори, что «я», а не мыкай, — проворчал старший полицай.

— Да нам все одно, что «мы», что «я». Мы люди темные, неграмотные, — не торопясь, возразил посетитель.

Полицай бросил косой взгляд на стол. Яичница остывает. Вновь поднялась досада против незваного гостя.

— Ну, давай выкладывай, что надо, да и убирайся ко всем чертям, — поторопил он вошедшего.

— Мы можем и побыстрее, — ответил тот. — Мы с жалобой к старшему начальнику. Партизаны доняли, господин начальник.

— Что? Партизаны? Какие партизаны? — взволновался полицай.

— Какие? Самые что ни на есть обыкновенные. Вам-то лучше знать, вы ведь оберегать нас поставлены.

— Где? — заорал полицай и вскочил с места. — Где партизаны?

— Известное дело, где. В лесу, — спокойно ответил гость. — Они каждую ночь у нас ночевать повадились.

Полицай окончательно разозлился. Стынет ужин, соблазнительно блестит на столе литровая бутылка. А тут возись с этим оборванцем.

Кривоногий, коренастый, с лоснящимся от жира лицом, полицай подошел вплотную к жалобщику, заложил руки в карманы и, покачиваясь на широко расставленных ногах, строго спросил:

— А кто ты такой будешь, гусь лапчатый?

— Мы-то?

— Да, вы-то.

— Человек, известное дело, — спокойно ответил гость.

— Документ у тебя есть, сукин ты сын?

— А как же! Это можно показать. Потому как без документа все одно, что без рук. — И гость полез вначале в один, затем в другой карман. Не обнаружив там ничего, он задумался и похлопал себя по ляжкам.

— Ну, шевелись, паршивец! — прикрикнул старший полицай и поднес к носу гостя большой красный кулак.

— Мы и то шевелимся, — произнес посетитель и полез за пазуху.

Перед лицом полицая вдруг что-то зловеще сверкнуло.

— На тебе документ! — И выстрел в упор свалил на пол фашистского наймита. — И ты, гадина, не уйдешь! — Еще два выстрела, и второй полицай сполз под стол.

В комнату влетели дед Макуха и партизан Рахматулин.

— Порядок, товарищ командир! — заметил Рахматулин.

— Деньги из стола в мешок, — приказал Бойко. — Оружие забрать.

— Водочку и омлетик тоже, видать, прихватить надо, — осторожно сказал дедушка Макуха, лукаво поглядывая на командира.

Бойко не возражал.

— Ладно, только быстрее! — коротко бросил он.

Литровая бутылка с самогоном провалилась в карман деда. Яичница вместе со сковородкой, обернутые газетой, ладно примостились за пазухой.

— Пошли! — скомандовал Бойко.

— Вот тебе и Новый год! — ухмыляется дедушка Макуха, стараясь не отстать от идущих впереди партизан.

Командир отряда Толочко, маленький, подвижной, с нежным, почти девичьим лицом, вел своих людей к шоссе. Он шел во главе группы, пробираясь по лесным сугробам. Хотелось поскорее добраться до шоссе, «поработать» там и к утру возвратиться в лагерь. Чутье подсказывало Толочко, что погода скоро изменится — начнется буря.

Из-под ног командира отряда испуганно взметнулся заяц и бросками подался в чащу.

— Эх ты, пуганая душа! — весело крикнул ему вслед кто-то из партизан.

— Тихо! — вполголоса строго приказал Толочко.

Когда пересекли длинную, узкую лесную поляну, встретили посланного вперед разведчика.

— Ну? — спросил Толочко.

— Есть дело, товарищ командир, — тяжело дыша от быстрой ходьбы, доложил разведчик. — На шоссе в падине засела колонна машин.

— Сколько?

— Восемь.

— Грузенные?

— Видать, грузенные... закрыты брезентом...

— Немцев много?

— Душ двадцать будет.

— Сколько до шоссе?

— С километр, не больше...

— Веди! — приказал Толочко.

...Вражеские машины растянулись метров на пятьдесят. Большие, тупорылые, они резко выделялись на белом снежном фоне. Передняя, развернувшись поперек дороги, задерживала колонну. Она села на дифер и, завывая мотором, буксовала. Шофер прибавлял газ, раскачивал машину взад и вперед, а она только еще глубже уходила в рыхлый снег.

Вокруг передней машины копошились восемь солдат, они пытались столкнуть ее с места. Остальные грелись у разведенного костра.

Партизаны некоторое время наблюдали за врагом, приготавливаясь к нападению. Затем по сигналу Толочко в сторону костра и к передней машине одновременно полетели гранаты. Раздался взрыв. Партизаны прикинули к снегу.

Костер разлетелся. Разбросанные взрывом в разные стороны головешки шипели в снегу. Буксовавшая машина перевернулась набок. Уцелевшие солдаты бросились бежать, но по ним начали бить из автоматов.

Из продуктов на машинах нашли только ящик с консервами. Весь остальной груз колонны составляли мины.

Убитых обыскали. Забрали документы и оружие. Из железных бидонов бензин вылили на кузова машин.

— Поджигай! — скомандовал Толочко.

Лес и дорога озарились огромными факелами. Партизаны быстро углублялись в лес. Пламя разгоралось все ярче и ярче. Когда группа отошла уже за километр от шоссе, раздался первый взрыв.

— Новогодний салют, — громко сказал Толочко и остановился.

Минуту спустя последовал второй взрыв, третий, четвертый...

— Теперь до утра рваться будут, — сказал Толочко. — Пошли...

А в это время отряд Веремчука лежал у железнодорожной насыпи, в снегу, в полусотне метров от разъезда.

Партизаны во главе с Добрыниным и Веремчуком прошли за день и часть ночи пятьдесят шесть километров по глубокому снегу. Веремчук отобрал наиболее выносливых бойцов, одел их в маскировочные халаты, захватил с собой шесть ручных пулеметов.

В пять часов ночи отряд вышел к перелеску, от которого до железной дороги было уже недалеко. Оставшееся до разъезда расстояние преодолевали ползком, по-пластунски.

Отряд должен был выполнить две задачи: взорвать железнодорожный мост, находящийся в полукилометре от разъезда, и уничтожить караульную команду, насчитывающую шестьдесят солдат.

Мост охранялся двумя часовыми, сменявшимися через каждые два часа. Команда жила в длинном бревенчатом бараке, единственном помещении на разъезде. Гарнизон здесь прижился крепко и не сменялся ни разу со времени прихода оккупантов. В зону охраны караульной команды входил перегон между двумя станциями протяжением в тридцать километров. Гитлеровцы выставляли на перегоне подвижные патрули, заминировали подходы к железнодорожному полотну, вырубали лес там, где он вплотную подходил к дороге, устраивали засады на тропах и выходах из леса и время от времени предпринимали «проческу» лесного массива. Они чувствовали себя здесь полными хозяевами.

— Чего это наши молчат? — озабоченно шепнул Веремчук лежавшему рядом с ним Охрименко.

Часть отряда во главе с Рузметовым ушла взрывать мост. Грохот взрыва был условным сигналом для нападения на барак. Все с нетерпением ожидали этого сигнала.

Между тем поднялся и быстро крепчал ветер. Стал падать почти незаметный мелкий снежок. «Быть бурану, — подумал Веремчук. Его начинало уже беспокоить отсутствие сигнала. Он знал, что прежде чем подорвать мост, надо бесшумно снять часовых. — Что же могло помешать? Может быть, разведчики ошиблись и часовых у моста не два, а больше?»

К Веремчуку бесшумно, почти невидимый на снегу в белом маскировочном халате, подполз комиссар Добрынин. Он набрал пригоршню снега и потер им нос.

По перрону, скрипя огромными эрзац-валенками, укутанный в большой тулуп, прохаживался единственный бодрствующий солдат-часовой.

— Избаловали мы фашистов, — зашептал Добрынин. — Вот, доверились они одному человеку, спят себе и в ус не дуют.

Партизаны замерли в напряженном ожидании сигнала. Стволы пулеметов, винтовок, автоматов устремлены на барак, пальцы лежат на спусковых крючках.

Часовой подходит к висящему возле главных дверей барака буферу, снимает с его тарелки кусок железа и колотит: раз, два, три, четыре, пять, шесть.

Звон, подобный колокольному, торжественный и мерный, разносится по лесу.

Вьюга усиливается, и теперь уже слышен посвист гуляющего в лесу ветра. Снег падает все гуще.

И вдруг взрыв. Короткий, издали похожий на треск переломанного надвое дерева. Мгновенная пауза, и резкий голос Веремчука:

— С Новым годом, фашистские мерзавцы! Огонь!

Ливень огня обрушивается на барак.

— Заходи с флангов! — командует Веремчук. — Бросайте бутылки!

Партизаны охватывают разъезд полукольцом, подбираются вплотную к бараку и встают уже без опаски во весь рост. В окна летят бутылки с зажигательной смесью.

Кое-кто из солдат в нижнем белье выскакивает из окон, но тут же падает под пулями.

— Не выпускать ни одного! Гранаты в ход! Окружайте! — командует командир отряда.

Барак в кольце. Правая сторона его уже горит. Внутри один за другим раздаются грохочущие взрывы — это рвутся противотанковые гранаты. Партизанам теперь не холодно, они разогрелись жарким боем и забыли, что несколько минут назад поеживались и побряхтывали от мороза.

Яркая белая ракета рассыпается трепещущими звездочками в предутреннем воздухе — сигнал отбоя. От моста бегут подрывники. Наиболее отчаянные партизаны выскакивают из пылающего барака с оружием, с какими-то ящиками. Это боевые трофеи.

— Как, товарищ комиссар бригады? — задорно улыбается Веремчук. Ушанка держится у него на самом затылке.

— Хорошо, Борис. Удачно. Командуй!

— На лыжи! — раздается голос Веремчука.

В полдень сделали первый привал и, усталые, повалились прямо на снег. Веремчук заметил под головой партизана Королева объемистый черный ящик.

— Что это? — спросил он.

— Трофеи, товарищ командир отряда, — ответил Королев, приподнимаясь со снега.

— А что внутри?

— Аккордеон.

— А зачем он тебе понадобился? — поинтересовался Добрынин. — Тащить такую тяжесть полсотни километров...

Королев усмехнулся.

— Я его, товарищ комиссар, все сто проташу и не пикну. До войны я играл на аккордеоне и после войны играть буду. Вы только взгляните на него, — и Королев открыл футляр.

Это был хороший аккордеон на восемьдесят басов, снежно-белый, с круглыми углами, с черной клавиатурой.

— Как же ты его отыскал в бараке? — спросил Добрынин.

— Нюхом, товарищ комиссар, — ответил Королев.

Командир отряда предупредил людей, что на отдых отводится час и что второй привал будет в старом лагере.

Командиры уселись на ствол поваленной сосны, закурили.

— Зол я был на эту караульную команду, — заметил Веремчук. — Трое ребят моих тут погибли.

— На разъезде? — спросил Охрименко.

— Нет, на перегоне.

— А как? Расскажи!

Партизаны придвинулись поближе.

Веремчук рассказал, что с того времени, как немцы усилили охрану дороги, снабдили свою стражу миноискателями и начали проводить тщательный осмотр путей, подрывать железнодорожные эшелоны стало труднее. Надо было находить новые способы.

И вот партизаны, отказавшись от самовзрывающихся мин, придумали «удочку» — очень примитивный, но оправдывающий себя снаряд. Взрывчатку стали укладывать в деревянный ящик прямо в грунт и ставить самый простой взрыватель натяжного действия. От него выводили шнур длиной в пятьдесят-шестьдесят метров, тщательно его маскируя. Такую мину миноискатели не обнаруживали. Конец шнура в нужный момент дергал подрывник. Обычно взрывали мину под паровозом или прямо под серединой состава. Но метод этот был неудобен тем, что приходилось сидеть с «удочкой» очень долго.

С такой «удочкой» как-то пристроилась тройка партизан. Собственно говоря, их было четверо, но только один потом унес ноги. По его словам, дело происходило так. Партизаны поставили заряд, протянули шнур и стали ждать. Ждать пришлось долго, почти всю ночь. Пропустили два состава, идущие с фронта, и от усталости все четверо задремали. Фашистский патруль производил обход путей и обнаружил плохо замаскированный шнур. Поняв, в чем дело, солдаты перерезали шнур у самой взрывчатки, а потом по шнуру добрались до дремавших ребят. Уйти удалось лишь одному.

Охрименко покачал головой.

— Это наука, — сказал он. — Спать на задании не полагается.

— Точно, — подтвердил Веремчук и поднялся. — На отдыхе сейчас спать тоже не полагается. Отдохнем в лагере. — И он отдал команду трогаться в путь.

...Вьюга усиливалась с каждым часом, и надо было хорошо знать местность, чтобы при такой погоде не потерять ориентировку и не сбиться с маршрута.

— Теперь пусть хоть с собаками ищут, все равно не найдут нас, — заметил Добрынин.

Снег быстро заметал следы лыж.

Ночевали в старом лагере. В уцелевшие землянки натаскали вороха хвойных ветвей, а в большую, бывшую окружкомовскую, землянку внесли железную печь, прихваченную с передовой заставы. В помещение набилось множество партизан, и стало так тепло, что все

поснимали верхнюю одежду.

Ночь... Казалось бы, что после такого утомительного перехода надо спать мертвецким сном, но в окружкомовской землянке никто не спит. Раскаленная докрасна печурка освещает людей, разместившихся на низких нарах, на полу. Король играет на аккордеоне. Играет вдохновенно, с душой, закрыв глаза, и его бледное длинное лицо кажется озаренным каким-то внутренним светом. Звуки вальса Штрауса, плавные, чарующие, несутся по лесу и теряются в чаще, смешиваясь с завыванием вьюги.

Партизаны просят Королеву сыграть «Рябину», танец лебедей из балета Чайковского...

— Вот это да!... Вот это играет!...

— Как Бог...

— Что ни закажешь — все знает! — раздаются одобрительные голоса.

Король устал, но продолжает играть, опершись спиной о промерзшую стену землянки. На его лице уже выступили капельки пота.

— Виктор Михайлович, — просит Королеву Добрынин, — а ну, попробуй «Землянку».

— Правильно! — поддерживает Веремчук. — А я попробую спеть...

— И мы поможем.

Король улыбается, откидывает голову назад, делает несколько сложных и красивых переборов. Потом кивает Веремчуку. Тот начинает чистым, звонким тенором:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза...
Присоединяются другие голоса:
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...

Как всегда, музыка и песни навевают разные думы. Перед глазами встают картины мирной, довоенной жизни, милые, родные лица.

Отдыхают партизаны, поет Веремчук, играет Король, а новогодняя вьюга воет в лесу, как голодный зверь. Ветер мечется по завьюженным партизанским тропам, пробивается в чащобы, лютует в лесу. Под его дикие напевы, качаясь, стонут березы, сосны, ели.

6

Костров и Снежко вторые сутки жили под развалинами элеватора, не показываясь ни в городе, ни в окрестностях. Продукты приносил им Якимчук. У них было вдоволь черных мучных лепешек и вареной холодной картошки. Конечно, иной раз хотелось побаловать себя партизанским чайком — кипяточком, но о нем приходилось лишь мечтать.

По совету Якимчука Костров и Снежко пытались в одной из подвальных клетушек распалить костер, чтобы немного погреться, но из этой затеи ничего не вышло. В закрытом помещении костер не горел, дым стлался по полу, разъедал глаза.

А на дворе уже который день хозяйничал буран. Бесновался ветер, завывая на все голоса. Погода была такая, что хуже не придумаешь. Но подпольщикам это на руку. Едва ли кто-нибудь мог рискнуть в такую пургу вести слежку за одинокой человеческой фигурой, пробирающейся по городу. Человек шел навстречу ветру, пряча голову в куцый воротник. На перекрестке, где буран выплясывал бешеный танец, человек поворачивался спиной к пронизывающему ветру, пятился несколько шагов задом, оглядывал сквозь молочную пелену снега пустынную улицу, — нет ли где посторонних глаз. Потом он вновь поворачивался и быстрее, уверенней шел вперед. Так он вышел к окраине города, миновал шоссе и зашагал по заметенному снегом жнивью в открытую степь...

Это был Дмитрий Карпович Беляк. Он торопился к элеватору. Время, назначенное для сбора, истекало.

В подвале элеватора Беляка уже ожидали Снежко, Костров и Якимчук. Посмотрев на часы,

Снежко обернулся к сидящему в углу на корточках Якимчуку.

— Пора, папашка! Дуй на-гора! Смени Микулича, а то замерзнет старик.

Якимчук вздохнул и молча вышел. Через несколько минут в клетушку вошел занесенный снегом Микулич.

— Что за погода!... — Он покачал головой. — Буран за бураном. Злой февраль выдался.

— «Как февраль ни злися, как ты, март, ни хмурься, а весною пахнет», — так, кажется, говорили в старину? — спросил Снежко.

— Говорили и так и по-другому, а пока что этот весенний запах до костей пробирает. Как вы только терпите здесь вторые сутки? — с возмущением сказал Микулич.

— Терпи, казак, атаманом будешь, — заметил Снежко.

— Ну уж нет, извиняюсь, не согласен, — решительно заявил Микулич.

— С чем не согласен-то? — удивленно спросил Снежко.

— С тем, что терпеть надо.

— А что предлагаешь взамен терпенья?

— Подумать надо, можно и предложить. На худой конец, у меня на кладбище в любом склепе лучше будет. Я хоть кипятком снабжать буду. Нельзя же самим себя заживо хоронить. Тут настоящий холодильник. Этак недолго и в ящик сыграть.

— Тоже дело не страшное, — отозвался Снежко, — в ящик, так в ящик.

Микулич поглядел на Снежко, как бы желая проверить, серьезно он говорит или шутит, и, видя, что тот молчит, заговорил укоризненно:

— Как же это так? Ты, парень, своей жизни не хозяин, а потому и бросаться ею нечего. И я и вон Владимирович — все мы своим жизням не хозяева. Я так понимаю: наши жизни для дела требуются, а поэтому их беречь надо. Так что насчет ящика ты не совсем того... — И, довольный своим поучением, Микулич умолк.

— Не возражаю, — весело согласился Снежко. — Ты прав, конечно. У меня это так просто сорвалось. Согласен с тобой целиком и полностью.

— Ну вот и правильно, — миролюбиво закончил польщенный Микулич. — Поэтому я и говорю, что больше сидеть в таком холодильнике не следует — застудиться можно.

Послышались шаги, говор, и вслед за тем вошли Якимчук и Беляк.

— Благодать-то у вас здесь какая! — отряхивая снег и потирая озябшие руки, произнес Беляк. — Вы посмотрите только, что на дворе творится.

Костров и Снежко поглядели на Микулича и рассмеялись.

— А ты говоришь — холодильник! — упрекнул Снежко.

— Ничего, ничего, — не сдавался старик, — он с часик посидит — запоет другое.

Теперь наверх пошел Микулич, чтобы встретить еще одного гостя — Марковского, из-за которого сегодня все собрались здесь.

Несколько дней назад с Большой земли неожиданно сообщили по радио новость. Было точно установлено, что в здании, которое раньше занимала психиатрическая больница, теперь размещается школа абверкоманды, где подготавливают для переброски за линию фронта кадры шпионов, диверсантов, террористов. На Большой земле выловили нескольких вражеских лазутчиков, прошедших эту школу, и они дали о ней самые подробные показания. После этого командование партизанской бригады получило указание: разгромить школу, захватить документы, уничтожить личный состав. Сейчас под руководством капитана Кострова шла кропотливая, всесторонняя подготовка к этой ответственной операции.

Микулич вскоре возвратился вместе с Марковским, и Костров, не мешкая, приступил к делу. Марковский подробно рассказал о Скорняке, которого отлично изучил за период совместной работы. Как и всякий нечистый на руку человек, Скорняк был труслив, дорожил не в меру своей собственной персоной, и, по словам Марковского, припугнуть его ничего не стоило.

Через бывших работников психиатрической больницы Марковский узнал, что приход оккупантов застал Скорняка в прежней должности — больничного завхоза. Здания больницы сразу приглянулись гитлеровцам. Это были фундаментальные, благоустроенные корпуса с водопроводом, канализацией и центральным отоплением, с надворными пристройками,

расположенные в сосновом бору в семи километрах от города и обнесенные высоким кирпичным забором.

Вначале оккупанты хотели разместить здесь госпиталь, но потом почему-то раздумали. Больница в первые месяцы оккупации продолжала жить своей жизнью. Больные, которых не успели эвакуировать, и медперсонал, не пожелавший их бросить на произвол судьбы, оставались на месте. Не покидал своего «поста» и завхоз Скорняк.

Но в декабре сорок первого года на территории больницы неожиданно появилась группа гитлеровских офицеров. Это была специальная комиссия от абверкоманды. Офицеры тщательно осмотрели оба корпуса, подсобные постройки, обошли палаты, заглянули в кладовые, облазили чердаки, подвалы и, видимо, остались довольны помещением. Около комиссии все время крутился завхоз Скорняк. Когда стало ясно, что оккупанты будут занимать больницу, Скорняк через переводчика спросил старшего офицера в чине майора:

— Как же быть с этими?...

— С кем?

— С психами?...

— А-а-а... — протянул майор и задумался. Действительно, больных девать было некуда.

Скорняк хихикнул, осененный внезапной мыслью, и, поднявшись на цыпочки, шепнул что-то переводчику.

— Что он бормочет? — поинтересовался майор.

— Предложение у него есть... и довольно интересное, — доложил переводчик.

— Что за предложение?

— Он предлагает отпустить этих, как он их назвал, психов, по домам... в долгосрочный отпуск... Открыть двери палат на день, и они разползутся сами, как тараканы. Этот господин, — переводчик кивнул на Скорняка, — работает тут давно. Он заверяет, что больные все местные, по характеру спокойные и рады будут оказаться дома.

Офицеры захохотали. Предложение пришлось им по душе.

— Идея! Шедевр! — щелкнул пальцами майор.

Осуществление этой идеи возложили на Скорняка. В помощь ему нарядили несколько солдат.

Холодной декабрьской ночью около трехсот человек душевнобольных разбрелись по городу и его окрестностям. Одни из них бросались на прохожих и наносили им побои, другие метались по улицам, умирали от холода и голода под заборами.

Помещение психиатрической больницы освободилось. Медперсонал разбежался. Остался один Скорняк, которого и взял к себе на работу руководитель школы, разместившейся на территории больницы.

— Ну, как решим? По-моему, необходимо побеседовать со Скорняком, — сказал Костров.

Мнения разделились. Беляк и Снежко были за беседу со Скорняком, хотя и не знали всех соображений Кострова. Микулич и Якимчук высказались против. По их мнению, встреча с предателем не могла дать ничего хорошего. Марковский предпочитал не высказывать своего мнения, считая себя человеком недостаточно осведомленным в делах подполья.

Тогда Костров объяснил, чего он хочет добиться этой встречей. Объяснения его были столь убедительны, что все тотчас же склонились на его сторону.

Не вызвал споров и вопрос о том, кто именно будет беседовать со Скорняком. Единодушно решили поручить это дело Кострову и Снежко. Оставалось только решить, где провести встречу. Было предложено несколько мест: кладбище, квартира Марковского, будка Якимчука, подвал элеватора. Все эти предложения Костров спокойно, но решительно отверг.

— Давайте побеседуем с ним в его же доме, — сказал вдруг Снежко.

Это было очень смело, рискованно и заставило всех призадуматься.

Костров видел смысл в предложении Снежко. Оно было выгодно хотя бы тем, что исключало необходимость показывать предателю квартиру кого-либо из подпольщиков.

«С оружием в руках мы всегда сможем покинуть его дом, и ничего с нами он не сделает, — рассуждал про себя Костров. — Как я раньше не пришел к такой простой мысли?»

Но он хотел, прежде чем высказать свое одобрение, послушать мнение других.

— А как же семья? Ведь у него полон дом, — задумчиво произнес Беляк.

— Но мы не с семьей, а с ним будем разговаривать, — резонно возразил Снежко. — Неужели в доме не найдется комнатухи, где можно побеседовать с глазу на глаз?

— Комнат хоть отбавляй, — заверил Марковский. — За этим дело не станет.

— Да и он сам, наверно, не совсем дурак, чтобы при семействе с чужими людьми беседовать, — добавил Микулич.

— В таком случае, можно, — высказался Якимчук. — Надо только проследить, чтобы в это время в доме посторонних не было.

— Мой вариант самый подходящий, — продолжал доказывать Снежко. — Договоримся с ним — хорошо, не договоримся — что же делать, не надо. Пригрозим ему — и лови ветра в поле.

Предложение Снежко было принято. Решили «навестить» Скорняка в его квартире.

Марковский сообщил, что по субботам Скорняк приезжает домой, проводит в семье вечер, воскресный день, а в понедельник утром снова отправляется в школу. Микуличу и Марковскому тут же поручили точно выяснить, один ли будет Скорняк в доме в эту субботу или с кем-либо из посторонних. Им же предстояло наблюдать за домом, когда в него войдут Костров и Снежко.

На том и порешили.

Вечер в субботу был тихий, безветренный. После вчерашней вьюги установилась хорошая погода.

Дом Скорняка выходил на улицу пятью окнами и парадным крыльцом. В трех окнах узкими полосками проглядывал свет. Зная, что хозяин у себя и посторонних в доме нет, Костров и Снежко поднялись по ступенькам на крыльцо и постучали в парадную дверь.

Послышались шаги. Дверь приоткрылась, насколько позволяла накинута изнутри цепочка, и женский голос спросил:

— Вам кого надо?

— Господина Скорняка, — ответил Костров.

— А кто вы будете?

— Мы из городской управы, от заместителя бургомистра господина Скалона.

Дверь захлопнулась.

— Видали вы гуся! — возмущенно шепнул Снежко. — Без доклада не принимает.

Прошло несколько секунд в ожидании. На противоположной стороне улицы показался Микулич. Навстречу ему шел Марковский. Они разминулись и пошли каждый своим путем.

Прошло еще несколько секунд, прежде чем послышались шаги и дверь отворилась.

— Чем могу служить? — спросил кто-то скрипучим голосом, и на лица гостей поочередно упал яркий свет карманного фонарика.

— Если вы господин Скорняк, то мы к вам с поручением от господина Скалона. Надеюсь, вы его знаете?

— Как же... как же... Собственно говоря, лично с ним незнаком, но преотлично осведомлен.

Прошу заходить, — пригласил Скорняк.

Из передней гости попали в большую, пестро обставленную комнату. За длинным прямоугольным столом, освещенным керосиновой лампой, собралась вся семья. Шла игра в лото.

Появление чужих людей нисколько не смутило играющих. Пожилая женщина гнусавым голосом продолжала выкрикивать числа.

Вслед за хозяином Костров и Снежко прошли дальше и попали в маленькую темную комнату с окном, выходящим во двор. Хозяин загремел ящиком письменного стола, — извлек оттуда огарок оплывшей свечи и зажег ее, прилепив на пресс-папье, которое сплошь было залито стеарином. Костров и Снежко сели и огляделись. Кроме письменного стола, дивана и кресла, в комнате ничего не было. Она казалась нежилой, неудобной, холодной.

— Раздеваться не приглашаю — простынете, — предупредил Скорняк. Он плюхнулся в

глубокое ободранное кресло и вдруг добавил, обращаясь к Кострову: — А ваше лицо мне очень знакомо! Где-то мы с вами встречались.

«Только этого не хватало, — с тревогой подумал Костров, глядя в рыхлое, одутловатое, с маленькими глазками лицо хозяина. — Неужели и в самом деле встречались? Нет! Определенно нет. Если бы я его хоть раз видел, то, безусловно, узнал бы».

Он спокойно сказал:

— Возможно, что и встречались... Мир не особенно велик...

— Точно, точно. Я вас где-то видел, и причем совсем недавно. Вот смотрю на вас, в голове крутится, а вспомнить никак не могу. — И Скорняк постучал себя по лбу ладонью.

— У меня тоже так часто бывает, — вмешался в беседу Снежко. — Крутится, крутится, а в голову не приходит. Прямо злость берет.

— Совершенно верно, — согласился Скорняк. — Но я вспомню. Обязательно вспомню. Теперь я уже уверен, что мы встречались и даже, по-моему, разговаривали друг с другом.

— Не старайтесь вспоминать, — разочаровал Костров хозяина, — думаю, что мы с вами не встречались. Я редкий гость в этих краях. Вы меня с кем-то путаете.

— Посмотрим... посмотрим, — не сдавался Скорняк. — А теперь я к вашим услугам. — И он принял удобную позу, приготовившись слушать и отвечать.

Костров встал с дивана, подошел к двери и прикрыл ее плотнее.

— Вы сейчас где работаете? — обратился он к хозяину, усаживаясь на прежнее место.

— В воинской части...

— А точнее?

— Точнее? — переспросил Скорняк. — В школе.

— Работа вас устраивает?

— Вполне. А что?

— Вот мы это и хотим знать. Значит, устраивает?

— А почему она меня может не устраивать?

— Ну, мало ли почему. Значит, вы сидите прочно?

— Да, как будто прочно. Полагаю, по крайней мере, что так. Начальство претензий ко мне не предъявляет.

Немного помолчали. Скорняк сорвал пальцами верхушку нагоревшего фитиля, сплюнул на пальцы и вытер их о кресло.

— Этот дом принадлежит лично вам?

— Да, мне, — ответил Скорняк и с удивлением посмотрел на Кострова, потом на Снежко. Он не мог понять, что требуется от него гостям. — Но я никак не пойму... — проговорил он.

— Чего вы не поймете? — спросил Костров.

— В связи с чем, так сказать...

— Не волнуйтесь... — успокоил его Костров. — Все поймете, все выяснится.

Скорняк замахал руками.

— Нет, нет... вы меня не поняли, я не то хотел сказать. Я не волнуюсь, но вы, когда вошли, кажется, изволили сказать, что имеете поручение...

— Поручение от господина Скалона. Вы это хотели сказать?

— Да-да...

— Совершенно правильно, — заметил Костров.

— Хорошо, что напомнили, — добавил Снежко.

— Так, так... очень приятно... Я слушаю.

— Семья у вас большая? — поинтересовался Снежко.

— Я девятый.

— Ого!...

— Что «ого»? — насторожился Скорняк. — Я несчастный человек: теща — женщина, жена — женщина, шесть дочерей — женщины. Это же черт знает что! В доме единственный мужчина — это я, если меня можно считать мужчиной.

Гости невольно улыбнулись. Костров спросил:

— Все живут с вами?

— А куда же им деваться, я вас спрошу?

— Вот этого мы не знаем, — резко сказал Костров. — Нас эта проблема не интересует. Нас в данный момент интересует другое: куда вы собираетесь, вы лично, деваться, когда ваши хозяева — гитлеровские мерзавцы — получают от нас по макушке?

Лицо Скорняка покрылось вдруг сетью морщинок и на мгновение застыло. Глаза стали совсем маленькими и потеряли блеск.

— Вы поняли, что нас интересует? — переспросил Костров. Скорняк ничего не ответил. Он отрицательно замотал головой.

— Мы можем повторить вопрос, — наклоняясь вперед, проговорил Снежко. — Нас интересует, куда вы собираетесь эвакуироваться со своим женским монастырем, когда оккупанты станут перед выбором: или ложись в нашу землю, или прочь с нее. Ясно?

Теперь Скорняк закивал головой утвердительно.

— Вот и замечательно. Идя сюда, мы надеялись, что найдем общий язык, — заметил Костров.

Опять молчание.

— Вы что, язык проглотили? — со злой усмешкой бросил Снежко.

— Нет, нет... я не то что... как вам сказать, — сбивчиво залепетал Скорняк. — Мне жарко.

— И он расстегнул ворот рубахи.

— Незаметно, — сказал Костров.

— Да нет, я не о том... — путаясь в словах, продолжал Скорняк. — Я хочу напомнить... вы опять не поняли меня... Мы никак не найдем общего языка... Вы же сказали, что имеете поручение...

— Хватит кривляться, — оборвал его Костров и расстегнул свою ватную фуфайку. За поясом у него торчал пистолет. — Мы партизаны. Держите себя, во избежание неприятностей, совершенно спокойно и давайте разговаривать без обиняков.

Если бы в эту минуту блеснула молния и ударил гром, это противоестественное для февраля явление природы, пожалуй, произвело бы на Скорняка меньшее впечатление, чем то, что он услышал.

Обхватив ладонями локти, он сжался в комок и смотрел на гостей, как кролик на удава. Его маленькие глаза почти не мигали. В комнате стало так тихо, что отчетливо слышалось частое свистящее дыхание Скорняка.

Костров напомнил Скорняку об участии майора Шеффера и заместителя бургомистра Чернявского, гестаповца Бергера и предателя Брынзы, немецкого пособника Дубняка и нового коменданта Менгеля, пояснив при этом, что партизанам прекрасно известно, кому принадлежало «рациональное» предложение о роспуске больных из психиатрической больницы.

— Только за это одно, — предупредил Снежко, — мы можем сейчас свести с вами счеты, и никто этому не помешает.

Скорняк слушал молча и лишь изредка вздрагивал всем телом, словно его кто-то толкал в бок.

Тогда Костров предъявил ультиматум. Скорняк должен устроить на работу в школу хорошо ему известного слесаря-водопроводчика Марковского. Устроить срочно, в самые ближайшие дни, и чем скорее, тем лучше. Как? Это его личное дело. Кроме того, он обязан в трехдневный срок собрать в школе все интересующие партизан данные, а именно: количество людей — немцев и русских, их размещение, вооружение, распорядок дня, расстановка постов, расположение канцелярии и места хранения служебных документов. И, конечно, он должен молчать как рыба.

Если все это Скорняк выполнит, партизаны гарантируют ему жизнь. Это же послужит для него смягчающим обстоятельством в будущем, когда в город вернется советская власть. Не выполнит — пусть пеняет на себя. Разговор будет очень короткий.

Скорняк согласился. Он принял все условия и сроки и любезно проводил ночных гостей из

дому. Трудно сказать, что переживал он в последовавшие за этим визитом дни, но на третьи сутки в условленном месте, в развалинах сгоревшей библиотеки, партизаны нашли объемистый пакет.

Скорняк просил срочно направить Марковского на территорию больницы непосредственно к коменданту школы, который о нем уже знает. Марковский будет работать, как и до войны, слесарем в кочегарке.

Далее Скорняк сообщал все интересующие партизан сведения о школе.

— Пусть Марковский сегодня же отправляется туда, — предложил Костров Беляку.

— Не продаст, собака? — высказал опасение осторожный Микулич.

— Не думаю, — сказал Беляк. — Жить, скотина, хочет...

— Тогда я пойду к Марковскому. — И Микулич стал прощаться.

— Иди, иди, — напутствовал его Беляк. — Надо ковать железо, пока горячо.

В подвале остались Костров, Беляк и Снежко. Беляк передал начальнику разведки документы, изготовленные для Охрименко и Макухи, которые были заказаны задолго до этого.

— Не догадываешься, зачем это нужно? — спросил с улыбкой Костров.

Беляк покачал головой.

— Думаю провести параллельную проверку. Одно сообщил Скорняк, другое разведает Марковский, а третье увидят своими глазами наши ребята.

— Ничего себе ребята! — усмехнулся Беляк, имея в виду возраст Охрименко и дедушки Макухи. — А под каким предлогом они там появятся?

Костров объяснил свой план.

— Неплохо, — согласился Беляк.

Тут же решили, что как только поступят сведения от Марковского, Беляк без задержки направит их в леспромхоз. Потом распрощались.

Костров и Снежко покинули подвал.

7

Выслушав начальника разведки, Зарубин сказал:

— Ты, конечно, уверен, что Марковский будет принят на работу к останетца цел и невредим? Да, Костров был в этом уверен. Поведение Скорняка рассеяло всякие сомнения. «Большой трус, — решил Костров. — Во-первых, опасается за свою шкуру, во-вторых — за судьбу своего выводка, в-третьих — за свой дом. Он, наверно, даже рад, что дело обернулось таким образом, что и волки сыты и овцы целы».

— Все твои три варианта разведки, — сказал Зарубин, — будут лишь подготовкой. Потом настанет моя очередь действовать. А поскольку это так, пойдем сегодня в леспромхоз.

Новая прогулка не особенно улыбалась Кострову: частые путешествия в город и обратно очень утомили его.

— А что, если мы не пойдем, а поедем? — осторожно спросил он командира бригады. — Запряжем парные сани и покатаем.

— Еще лучше, — ответил Зарубин. — Давай командуй и заходи в окружкомовскую землянку. Надо попрощаться с комиссаром и Пушкаревым. Предупреди Охрименко и Макуху. Пусть будут готовы.

...Пушкарев и Добрынин готовились идти в бригаду Локоткова, и Зарубин застал их за упаковкой вещевых мешков. В ближайшие дни должна была состояться межбригадная партийная конференция, которую надо было хорошо подготовить.

— Ну как, наговорились? — встретил Зарубина комиссар.

— Наговорились.

— Получается что-нибудь?

— Хорошо получается.

— У Кострова, батенька мой, всегда получается, — весело заметил Пушкарев. — Я удивляюсь только, как он мог работать до войны преподавателем. Он по призванию или разведчик, или дипломат.

— Пожалуй, верно, — согласился Зарубин и коротко рассказал, что сделали Костров и Снежко в городе.

И Добрынин и Пушкарев выразили искреннее удовлетворение.

— Я часто думаю о Кострове, — сказал Пушкарев, — и пришел к такому выводу, что... — Он осекся. В землянку вошел капитан Костров.

Тут же начали прощаться, так как Костров доложил, что сани готовы.

— Вот что, Валентин Константинович, — сказал Пушкарев, положив руку на плечо Зарубина. — За своевременную явку делегатов твоей бригады на конференцию несешь ответственность ты, как член бюро окружкома. Разреши надеяться, что все будет в порядке?

— Разрешаю, — улыбнулся Зарубин и обнял Пушкарева. — Не подведем. Тут есть и кроме меня член бюро. — Он подмигнул в сторону Кострова. — Я их всех заставлю помогать мне...

— Правильно! — одобрил Добрынин. — Но ты не вздумай только без меня школой заняться.

— Нет, нет, — успокоил комиссара Зарубин. — Для меня самого еще неясно, как ею заняться. Вот соберем с Георгием Владимировичем все данные, а тогда сообща подумаем. Во всяком случае, до конференции ничего не получится.

Все еще раз пожали друг другу руки. Зарубин и Костров направились к заставе, где их ожидали сани.

В сторонке от заставы, около саней, горел костер, и вокруг него сидели партизаны. Погода стояла тихая, безветренная, теплая. Аромат хвои смешивался с запахом махорки, которой усиленно дымили партизаны. Охрименко и Макуха лежали в санях, о чем-то беседуя. При появлении командира бригады и начальника разведки, которых сопровождал дежурный по лагерю, все поднялись.

— Вернется лейтенант Рузметов, — сказал Зарубин дежурному, усаживаясь в сани, — передайте ему, что я буду завтра.

— Есть! — коротко ответил тот.

Сытые кони взяли с места, и дедушка Макуха уперся ногами в передок, чтобы сдержать их горячий бег. Комья снега из-под копыт лошадей взметывались кверху, летели в сани, попадали в лицо. Зарубин и Костров улеглись на бок, лицом к лицу. Приятно было прокатиться в теплую погоду по лесу, зная, что тебя ожидает уютный, натопленный дом.

Зарубин впервые ехал в леспромхоз. До этого у командира бригады не было надобности показываться там, и он только смутно, со слов других представлял себе старосту Полищука, который уже оказал немало услуг партизанам.

«Посмотрим, каков он из себя», — думал Зарубин, пытаясь мысленно нарисовать себе образ старосты.

Ему представлялся высокий, бородатый, хмурый мужик с медной бляхой на груди, с басовитым голосом и черными сверлящими глазами. Таким он и приснился Зарубину, незаметно задремавшему в санях.

Очнулся Зарубин от звука голосов. Солнце закатывалось за зубчатую стену леса. Сани стояли в каком-то дворе, и около них были Костров, Охрименко, Макуха и староста Полищук, совершенно непохожий на того, который представлялся Зарубину.

Стряхнув с себя сено, Зарубин слез с саней. Ему стало неловко, что он проспал почти всю дорогу.

«Еще черт знает что подумают», — подсадовал он на себя, но его неприятные мысли тотчас были развеяны Макухой.

— Не езда, а скука, — сокрушенно доложил дед. — Враз все заснули. Один ты тихо спал, Константинович, а капитан с Охрименко всю дорогу хрюкали, ровно поросята.

«Значит, не один я храпака дал», — успокоил себя Зарубин.

— Как же не заснуть? — оправдывался Костров. — Такой воздух, солнце припекает, и лежишь без дела.

Вошли в дом. Жена старосты начала хлопотать у печи. Партизаны расселись за большим прочным столом.

Полищук стоял в сторонке, ожидая указаний.

— Садись, — сказал ему командир бригады.

Староста сел.

— Сколько саней посылаешь в больницу с дровами? — спросил Зарубин Полищука.

— Четверо.

— Так... — Зарубин прикрыл глаза ладонью, о чем-то сосредоточенно думая.

Костров наблюдал за ним, ожидая, что он скажет дальше.

— Ну? — как бы очнувшись, спросил Зарубин после минутного молчания. — На чем мы остановились?

— На четырех санях, — ответил Костров, сдерживая улыбку. Он догадывался, что командир бригады думал сейчас совершенно о другом.

— Чьи сани, лошади? Кто их пригоняет сюда? — интересовался Зарубин.

Строгие глаза, властная, сдержанная речь командира партизанской бригады внушали почтение Полищуку. Он с опаской поглядывал на Зарубина, боясь вызвать у него вспышку гнева. Ему довелось слышать от партизан, что командир их строг и любит во всем точность и ясность.

Подбирая каждое слово, Полищук растолковал, что подводы и сани обычно присылает управа и наряжает на трое-четверо саней одного возчика. Но поскольку на леспромхоз ложится обязанность разгружать и укладывать дрова в городе, приходится выделять своих людей. В таких случаях он, староста, наряжает полицаев или стариков, живущих в леспромхозе.

Зарубин смотрел в одну точку. Какая-то неотвязная мысль продолжала беспокоить его.

— А кто сейчас поедет с санями? — заговорил он. Староста посмотрел на Кострова, как бы прося его помощи. Он не знал, кого пошлет Костров.

— На каждые сани посадим по одному человеку, — ответил Костров. — На одних — возчик, на других — полицаи, на двух других — Охрименко и Макуха.

Зарубин поинтересовался, какой дорогой можно попасть к больнице и обязательно ли надо ехать через город.

— Нет, не обязательно, — ответил Полищук. — Есть объездная дорога, через нижний мост.

Зарубин достал из планшетки карту, разостлал ее на столе и начал рассматривать. Знакомая карта, над которой часто склонялись головы командиров, была испещрена пометками и воскрешала в памяти много ушедших в прошлое боевых эпизодов.

— Какую дорогу ты имеешь в виду, покажи, — строго сказал командир бригады.

Староста засуетился, зачем-то выдвинул ящик стола и полез в него, потом раскрыл стоящую в углу тумбочку, вернулся к столу и, наконец, промычав что-то невнятное, скрылся во второй комнате.

— Глаза, видать, не найдет, старая колода, — пояснил дедушка Макуха.

Полищук вернулся с большими очками в медной оправе, которые он протирал на ходу полкой рубахи. Водрузив очки на нос и упершись руками в колени, Полищук склонился над картой.

— Ну? — нетерпеливо спросил Зарубин.

Полищук молчал.

— Где же эта дорога?

Староста по-прежнему молчал.

— А?

Полищук выпрямился и смущенно обвел глазами присутствующих.

— Не вижу что-то дороги, — растерянно пробормотал он.

— Нету ее тут? Не обозначена? — допытывался Зарубин.

— Ничего не разберу.

— А что видишь? — нахмутив брови, спросил Зарубин.

Губы у старика дрогнули, и он сознался:

— Ничего не вижу...

Это вызвало общий смех. Зарубин улыбнулся. «Что мы от старика требуем? — подумал он.

— Наверное, и карту видит впервые!»

— Совсем ничего не видишь? — смеясь, спросил Охрименко.

— Все вижу, но ничего не разберу.

Дедушка Макуха хлопнул себя по ляжкам и хихикнул.

— Говоришь — китайская грамота? Это тебе, мил парень, не в старостах ходить, — уколол он Полищука.

Полищук беспомощно развел руками.

— Не приходилось иметь с ней дела, вот что, — оправдывался он. — А ты, видать, искушен в этой науке? — обратился он к Макухе.

Дед сразу перестал смеяться.

— Искушен, искушен! — передразнил он старосту. — Обо мне сейчас речи нет. Мой черед еще не подошел.

Зарубину вдруг стало жаль старика. Он пришел ему на выручку.

— Ты сам бывал в больнице когда-нибудь? — спросил он старосту.

Обрадованный тем, что со злополучной картой покончено, Полищук оживился, разгладил желтую, прокуренную бородку и рассказал, что лет пять-шесть назад ему довелось бывать в больнице. Он доставлял туда пиломатериалы. Полищук хорошо помнил объездную дорогу и расположение зданий на территории больницы.

Рассказ старосты удовлетворил Зарубина. Он встал, заложил руки в карманы, прошелся по избе и остановился у окна. На дворе сгущались сумерки. Тихой, безлюдной выглядела единственная улица леспромхозовского поселка. Никого не видно на ней. Окна в домишках закрыты наглухо ставнями, не пропускают света. А может, дома пустуют.

В голове Зарубина вырисовывался возникший совершенно неожиданно план, и командир, с того момента как заговорили о вывозке дров, все время напряженно думал о нем.

— Свет есть? — спросил он, резко повернувшись на каблуках.

— Сейчас, — ответил староста и выбежал из комнаты.

Возвратился он с ярко горящей керосиновой лампой.

Начали инструктировать Охрименко и Макуху, которые должны были на рассвете отправляться с дровами в больницу. Перед партизанами поставили задачу разведать движение по дороге, запомнить, где будут встречаться патрули, узнать, как производится проверка документов по пути. Самое же главное — попасть с дровами на территорию больницы, там заночевать, понаблюдать за ночным режимом, разведать, какова охрана, где стоят посты.

— Теперь вам остается хорошо поспать, — сказал Зарубин.

Охрименко и Макуха уже хотели воспользоваться советом, но вмешался староста.

— Зачем спать? Надо подкрепиться на ночь. Пойдемте-ка со мной, сыночки, старуха кое-что придумала.

— Пойдем, папаша, — согласился Макуха, и они с Охрименко отправились в другую половину.

Зарубин и Костров остались одни. Зарубин аккуратно сложил карту и положил опять в планшетку. Затем скрутил тонкую длинную сигарку, подал кисет Кострову и задымил.

— Мыслишка у меня возникла, — сказал он, отгоняя рукой клубы дыма.

— Чувствую, — отозвался Костров, — и, кажется, догадываюсь, когда она у вас возникла.

Зарубин затянулся и удивленно посмотрел на начальника разведки.

«Неужели догадался?» — подумал он.

— Ну, говори, кудесник, когда?

— Когда заговорили о четырех санях, — ответил Костров.

Зарубин рассмеялся.

— Совершенно верно. Мыслишка еще не оперилась, но мне думается, что в ней есть хорошее зерно. Надо выяснить у Полищука еще одну деталь, и тогда обсудим.

Вошел Полищук и в нерешительности остановился. «Помешал или нет?» — было написано на его лице.

— Прошу закусить, — пригласил он.

Зарубин посмотрел на Кострова.

— Если останемся ночевать, — сказал он, — то придется закусить.

— Конечно, останемся, — уверенно ответил Костров, — особых дел не предстоит, да и лошадям надо дать отдохнуть.

Когда сели за стол, Зарубин обратился к Полищуку:

— Немцы нас не накроют на твоей лежанке?

— Что вы! — с обидой в голосе ответил староста. — Можно ли об этом думать? Отдать тогда меня на мыло, если таких гостей не уберегу. Отдыхайте, как дома, а то еще и лучше.

— Хорошо, — сказал Зарубин. — Поинтересовался я потому, что первый раз в гостях у тебя. А теперь вот что скажи: сколько ты еще обязан доставить дров для школы?

Староста нахмурил лоб. «Для какой школы?... — недоумевал он. — Говорили все время о больнице, а тут какая-то школа появилась».

Костров пояснил, что речь идет о больнице.

Тогда Полищук ответил, что надо вывезти еще кубометров полтора.

— Остановка за людьми. Пилить и колоть некому, — добавил староста, — а в другом виде там принимать дрова не хотят.

Зарубин подмигнул Кострову и продолжал спрашивать:

— А если надо будет заготовить дрова к определенному сроку, ты заготовишь?

— Сделаю все, что можно.

— Это неверно. Надо делать то, что нужно, а не то, что можно, — поправил его Зарубин.

— Согласен с вами, но говорю так потому, что боюсь — рук не хватит.

— И при нашей помощи?

— Тогда дело другое.

Зарубин спросил: могут ли прислать за дровами сразу много саней? Полищук ответил, что все зависит от того, сколько будет заготовлено дров. Стоит ему завтра сообщить в управу, что для больницы заготовлено, допустим, двести кубометров, послезавтра, — Полищук в этом уверен, — ему пришлют хоть сто саней.

— Теперь мне все более или менее ясно, — сказал Зарубин, вставая из-за стола. — Дело, Георгий Владимирович, складывается неплохо. Пожалуй, можно лезть на печку, о которой ты мне так много рассказывал.

Полночи ушло на разговоры. Командир бригады и начальник разведки вчерне набрасывали план разгрома школы. Когда Зарубин изложил свои соображения, Костров сказал:

— Гениально! И главное — просто.

На рассвете, покидая дом гостеприимного старосты, Зарубин давал Полищуку последние указания:

— Завтра я пришлю десяток ребят. Пусть заготовливают дрова. А ты разведай насчет транспорта. Как только увидишь, что дело пошло, давай заявку. Заказывай побольше, не стесняйся. Людей у нас хватит. Когда заявку примут, немедленно поставь нас в известность. Ты понял меня?

— Очень даже хорошо.

— Ну, бывай здоров!

нетронутым снегом озера. Группа состояла из шестнадцати человек — делегатов партизанской межбригадной партийной конференции.

Впереди всех бодро, твердой, пружинистой походкой шел Зарубин. Он поднялся на правый, крутой берег озера, подошел к холмику, окруженному березами, остановился и снял шапку. Вслед за ним обнажили головы и остальные.

Тут, под холмиком, усыпанным снегом, в братской могиле лежали боевые друзья: Селифонов, Дымников и другие.

Партизаны постояли несколько минут молча, вспоминая ту темную, тревожную ночь, когда отряд прорывал кольцо блокады...

Предстояло пересечь железную дорогу, шоссе, а затем пройти восемнадцать километров на запад.

Все делегаты понимали, каким значительным событием в партизанской жизни является первая партийная конференция. Она — свидетельство большого роста народного движения против захватчиков, она — результат огромной работы, проведенной коммунистами-партизанами за период лесной борьбы.

Делегаты должны были обсудить на конференции задачи борьбы с врагом в новом, сорок третьем году и выбрать подпольный окружной комитет. Предстояло наметить меры для дальнейшей активизации боевой деятельности отрядов, для дальнейшего подъема народной войны во вражеском тылу.

...До полудня светило веселое солнце. В час пополудни погода изменилась. Густая молочная мгла, точно вата, заволокла все вокруг. Солнце как бы растворилось в небе. Для делегатов такая погода была как нельзя кстати: туман часто выручал партизан.

Уже ночью подошли к железной дороге. Залегли в сотне метров от полотна в снегу, под косогором. Рузметов и Снежка ползком отправились вперед и скрылись в темноте: надо было разведать возможность перехода через линию.

— Прохватывает, — тихо пожаловался кто-то, зябко поеживаясь.

— Как и полагается. Морозец правильный.

— Вот это делегаты я понимаю, — проговорил Охрименко. — На брюхе на конференцию ползем. Будет о чем рассказать сынам и внучатам. Это тебе не на поезде, не на машине, с суточными и командировочными.

— Чш-ш, — предостерегающе зашипел Зарубин.

Смолкли. Прислушались. Со стороны железной дороги доносились, все усиливаясь, звуки незнакомой песни.

Пели немецкие солдаты, совершавшие ночной обход путей.

Чужая песня не трогала сердце, не касалась души. Вскоре она потерялась в ночной тишине, замерла.

Перед командиром бригады выросла фигура Рузметова.

— Можно идти, — сказал вполголоса начальник штаба.

— Как насчет мин? — поинтересовался Зарубин.

— Незаметно. Мы присматривались. Может быть, под снегом, глубоко. Я и Королев пойдем впереди.

Все поднялись.

Железную дорогу перевалили быстро и снова вошли в лес, занесенный снегом. Ни дорог, ни троп. Партизан Королев — отрядный аккордеонист — по каким-то ему одному ведомым приметам и признакам уверенно вел группу. Впрочем, он вместе с Охрименко уже несколько раз хаживал этим маршрутом в соседнюю бригаду.

Около шоссе лежали с полчаса. Надо было пропустить растянувшуюся автоколонну.

— Вот бы когда поиграть с ними, — заметил Веремчук, поглядывая на пробегающие машины.

— Терпи, Борис. Поиграем на обратном пути, если удастся, — успокоил его Бойко.

Но вот и шоссейная дорога осталась позади.

— Теперь будет спокойнее, — весело заявил Королев. — Можно и закурить. Глушь,

болота... Тут уже хозяйничают локотковские ребята.

— А правильно идем? — спросил Костров.

— Правильно, товарищ капитан. Насчет этого не беспокойтесь. Через три-четыре часа будем на месте.

Конференция приступила к работе рано утром. Она проходила в деревушке, которая уже давно была занята партизанами локотковской бригады. На далеких подступах к деревне Локотков выставил усиленные заслоны, засады, секреты. В тех направлениях, откуда можно было ожидать появления гитлеровцев, дороги заминировали.

Партизаны Локоткова чувствовали здесь себя уверенно, спокойно, как хозяева, ходили группами по деревне, распевали песни.

Через всю неширокую улицу висело полотнище, сшитое из парашютного шелка. На нем четкими буквами было написано: «Привет делегатам первой партизанской межбригадной партконференции! Смерть гитлеровским захватчикам!»

В небольшое помещение школы втиснулось около восьмидесяти делегатов. «В тесноте, да не в обиде», — шутил Пушкарёв.

Добрынин познакомил своих делегатов с командирами соседней бригады. Разговорились. Внезапно появился начальник разведки Лисняк. Он что-то громко говорил и энергично проталкивался вперед, сопровождаемый шутками и смехом. Приблизившись к Зарубину, Лисняк раскинул свои мощные руки.

— Ну-ка, давай обниматься! — Он сдавил в своих мощных объятиях Зарубина. — Еще на коней будем спорить? — спросил он и захохотал раскатистым басом.

Потом он принялся жать руки Кострову, Рузметову и остальным гостям.

...У маленького стола, покрытого красным полотнищем, встал Пушкарёв и попросил делегатов занять места. Мгновенно наступила тишина. Конференция открылась. В президиум избрали семь человек, еле-еле разместившихся за столиком.

Основному и единственному докладчику Пушкарёву время не ограничивали, да он и сам не растягивал доклад. Он был скуп на слова и говорил только о самом главном.

Все с вниманием слушали секретаря подпольного комитета.

— Что можно сказать, дорогие друзья, о проделанной работе, чтобы было коротко и понятно? — начал Пушкарёв. — В памятном сорок первом году осталась нас, коммунистов, в этих лесах малая горсточка, тридцать шесть человек, а сейчас вот здесь собралось одних делегатов восемьдесят человек. Это же армия! Я прошу поднять руки тех делегатов, которые до прихода в партизанские отряды были беспартийными.

Поднялось множество рук, по комнате прошел говор, раздались возгласы удивления.

— Вот лучший показатель нашей работы, — сказал Пушкарёв. — Абсолютное большинство делегатов — молодые коммунисты, пришедшие в наши ряды в дни борьбы с врагом. Они успели не только вступить в партию, но и завоевать доверие своих товарищей, оказались их избранниками на конференцию. А что пришлось нам пережить, давайте вспомним...

В памяти делегатов возникли тяжелые дни сорок первого года, первые, еще неуверенные шаги отрядов, поиски активных средств борьбы, подготовка кадров командного состава, подрывников, разведчиков, разработка планов боевых операций, радость успехов, горечь неудач...

— Я верю, что наша конференция войдет в историю борьбы советского народа с иноземными захватчиками, — продолжал Пушкарёв. — Это необычная конференция. Шесть делегатов не дошли до этой комнаты. Их на пути встретил враг, и они погибли в схватке с ним. Все присутствующие, как видите, сидят с оружием в руках, готовые встретить врага. У входа стоят пулеметы. Я не ошибусь, если скажу, что едва ли кому-нибудь из нас довелось ранее участвовать в работе такой конференции. Уже одно то, что мы, большевики-партизаны, под носом у оккупантов, на земле, которую они считают покоренной, собираемся в таком количестве и решаем, как лучше бить этих самых оккупантов, говорит о том, что мы хозяева русской земли.

Пушкарёв познакомил делегатов с итогами партизанской борьбы, и эти итоги вызвали у

каждого из присутствующих чувство гордости. Да и было чем гордиться, — хорошо поработали советские патриоты. Но впереди еще много трудностей, много испытаний, и об этом секретарь предупреждал коммунистов.

— Свою борьбу с гитлеровскими захватчиками мы должны сочетать и увязывать с интересами и планами командования Красной армии, — продолжал Пушкарев. — Фронт требует усиления диверсионных ударов по коммуникациям врага, и мы обязаны усилить их. Надо оседлать железные дороги, шоссе, большаки, проселки, надо дать почувствовать оккупантам, что мы — везде, мы — всюду. Подрывать мосты и пускать под откос воинские эшелоны надо регулярно, ежедневно, даже по несколько раз в день, по заранее разработанному твердому, нерушимому графику. Надо поставить задачу — ни одного дня без крушения на железной дороге. Другая задача — еще шире поднимать народ на борьбу с врагом, сильнее разжигать в человеческих сердцах ненависть к оккупантам. Я беседовал со многими коммунистами и пришел к выводу, что некоторые из нас недооценивают работу среди населения районов, временно захваченных врагом: на это, дескать, нет времени. Так большевики говорить не имеют права. Может не хватать времени на отдых, на сон, на еду, но на работу его должно хватать. Давайте запомним это.

Делегаты одобрительно зашумели.

— Народ верит в победу, верит, что Красная армия разобьет врага, но ведь одной веры недостаточно. Запомните и разъясняйте всем, что за верой должны следовать дела. Это не мои слова. Они принадлежат любимцу народа и партии, железному Феликсу Дзержинскому, чье имя носит бригада товарища Локоткова. Это был девиз Дзержинского. Мало верить в победу, — надо биться за нее.

Пушкарев говорил о необходимости усилить подпольную борьбу в городах и поселках, селах, деревнях, подчеркивая при этом, что работа подпольщиков ответственна, сложна и опасна, что на их пути встретится много разочарований и трудностей, что неизбежны жертвы.

— Мы знаем, что арест тяжелейшее испытание для партизана-подпольщика. Арест, попросту говоря, обычно равнозначен смерти. Провокацию и шантаж уговаривания и запугивания, издевательства и пытки — все пускает в ход гестапо, чтобы сломить волю и дух советского патриота. Этого никогда нельзя забывать товарищам, решившим посвятить себя подпольной работе. Были среди нас бойцы, смертью которых мы можем гордиться. Партизан Герасим Багров был схвачен фашистами с экземплярами подпольной газеты «Вперед». Он не только ничего не сказал гестаповцам, но вообще не промолвил ни единого слова. Это героизм! На такие подвиги способны только люди, ставящие интересы родины превыше всего. Но были среди нас и люди, которые, попав в лапы гестаповцев, оказались малодушными, струсили. Надеясь спасти свою жизнь, они рассказывали о себе, о товарищах, о своей работе. В итоге же получалось, что они губили и себя и дело, которому обещали Честно служить. Подпольщик должен уметь стянуть свое сердце железными обручами и терпеть. Подпольщик должен не только бороться, — он должен, когда это нужно, уметь и умереть за дело, которое Родина доверила ему.

Напряженны и строги лица делегатов. Слова секретаря бюро, их товарища по совместной боевой работе, сильны своей суровой правдой, они доходят до сердца. В комнате стоит тишина. Изредка лишь раздается сдержанное покашливание.

— Мы любим свою Родину и преданы ей, — заключает Пушкарев. — На нашей стороне правда, а где правда, там и победа. Недалеко уже время, когда в этой школе вновь зазвонит радостный смех наших ребят и учительница, войдя в класс, расскажет ученикам, как мы здесь заседали, как мы боролись за счастье наших детей, за счастье всего человечества. Недалеко время, когда мы сдадим на склад автоматы, винтовки, гранаты и вернемся к прерванному мирному труду. Чем активнее и злее мы будем воевать, чем сильнее будем громить врага, тем скорее придет это время...

Конференция работала около шести часов. Были решены все вопросы. Секретарем бюро окружкома вновь был избран Иван Данилович Пушкарев.

Постоянным местопребыванием секретаря и двух его заместителей была назначена деревушка, в которой работала конференция.

Охрименко был немного удивлен, когда Пушкарев сказал ему, что он опять должен вернуться в бригаду Зарубина.

— До этого ты был представителем локотковской бригады в окружке, а теперь будешь представителем окружкома в бригаде Зарубина, — пояснил Пушкарев. — У Зарубина коммунистов меньше, чем здесь, а работы столько же.

Охрименко не возражал. Он уже свыкся с зарубинскими партизанами и знал, что без дела сидеть там не будет.

Как только стемнело, делегаты бригады Зарубина, крепко пожав руку Пушкареву, отправились в обратный путь.

9

Спустя пять дней после партийной конференции в заброшенной лесной сторожке, тускло освещенной лучинками, разрабатывался план очередной боевой операции бригады Зарубина — разгрома школы абверкоманды.

За стенами шумела ветреная февральская ночь, а в избушке было тепло, хотя и очень дымно: дрова в полуразвалившейся печи горели плохо, едкий дым стлался по маленькой комнатухе.

— Это все из-за тебя мы, Дмитрий Карпович, в копченые селедки превращаемся, — шутил Добрынин.

Беляк не имел времени, чтобы добраться до леспромхоза, поэтому встречу пришлось назначить здесь, в лесной сторожке, ближе к городу.

— Ничего, ничего, — отвечал Беляк, — копченая продукция, как известно, отличается тем, что дольше сохраняется...

В распоряжении Беляка было всего три часа, и за это время предстояло все подробно обсудить.

Партизаны уже располагали точными данными о школе, расположенной на территории психиатрической больницы. Данные эти шли из трех источников. Во-первых, немало рассказал Скорняк, который оказался в курсе многих дел. Марковский тоже не дремал и, вступив в должность истопника, усиленно вел разведку. Наконец, кое-что успели разузнать Охрименко и Макуха. Не напрасно они сопровождали сани с дровами и провели ночь на территории психиатрической больницы.

Беляк доложил обобщенные и систематизированные данные разведки. Немецкий штат школы состоит из восьми человек, включая начальника капитана Керна и его заместителя обер-лейтенанта Вульфа. В школе обучается одновременно сорок человек. Охрана насчитывает тринадцать солдат, размещенных в караульном помещении. В первом корпусе на втором этаже круглосуточно дежурит немецкий офицер. На территории школы — три наружных поста охраны, из которых один подвижной.

— Кроме того, — добавил Беляк, — при школе работают пятнадцать вольнонаемных: врачи, уборщицы, чернорабочие. Семеро из них живут на территории больницы, а остальные каждое утро приходят из города.

— Сколько же всего людей там насчитывается? — поинтересовался Зарубин.

— По моим подсчетам, шестьдесят восемь, — сказал Костров.

— Ну-ка, давай свой план! — обратился Зарубин к Беляку.

Беляк вынул из кармана лист бумаги, развернул и положил на пол. План этот начертил Марковский. На нем были обозначены все постройки: общежитие офицеров-преподавателей школы, дом, занимаемый начальником школы и его заместителем, караульное помещение, общежитие курсантов, столовая, комната дежурного, посты.

Зарубин внимательно вглядывался в лист бумаги.

«Значит, я ошибся! — рассуждал он про себя. — Я думал, что там двадцать, максимум тридцать человек, а их, оказывается, чуть не семьдесят. Это в корне меняет дело».

— Кто-нибудь дрова вам помогал складывать? — спросил он Охрименко.

— Нет. Сами.

— Хорошо! А куда сгружали?

— Вот сюда! — Охрименко ткнул пальцем в кружочек, вычерченный на плане. — Тут подвал, а в люке сделан специальный желоб, ведущий в кочегарку.

Зарубин придирчиво расспрашивал о мельчайших деталях. Его интересовало все: кто именно принимал дрова и расписывался за них, кто наблюдал за разгрузкой, в каком помещении спали Охрименко и Макуха, удалось ли им походить по территории школы, сколько времени затрачено на дорогу туда и сколько на обратный путь, осматривали ли сани при въезде во двор.

Когда со школой было выяснено, Зарубин обернулся к Рузметову и Веремчуку, которые только что вернулись из леспромхоза.

— Полищук ждет, — доложил Рузметов. — Послезавтра должны прибыть под погрузку тридцать шесть саней. Но дрова заготовлены только наполовину.

— Плохо, — заметил Зарубин, — но дело это поправимое.

— С санями приедут по меньшей мере десять возчиков, — вставил Веремчук.

Зарубин закусил губу: он совершенно упустил из виду это обстоятельство!

— Тридцать шесть подвод, — подсчитывал вслух Зарубин. — Тридцать шесть человек минус десять возчиков. Остается двадцать шесть. Двадцать шесть против семидесяти... Этого мало. Очень мало! Надо что-то еще придумать. Придется со стороны леса подвести к больнице группу партизан. Но только не пеших. Пеший переход займет много времени.

— А с возчиками нехорошо получается. Десять человек, — хмуро сказал Добрынин. — Кто они такие?

— Никто на это не ответит. Полищук тоже не знает, кого пришлют, — сказал Рузметов.

— Что же с ними делать? — спросил Беляк.

Все промолчали.

— Может быть, их оставить на отдых в леспромхозе?... — неуверенно предложил Веремчук.

— Не годится. Очень уж подозрительно будет, — покачал головой Добрынин.

— Да, так не пойдет, — согласился Зарубин.

— Возчиками займусь я сам, — внезапно сказал Костров. — Не возражаете?

Все с любопытством посмотрели на Кострова.

«Что-то придумал», — решил про себя Зарубин.

— Хорошо! — сказал он. — Положимся на Кострова. А теперь, Усман, скажи мне, сколько в бригаде лошадей, которых можно поставить под седло?

Рузметов начал подсчитывать.

Выяснилось, что в бригаде можно собрать пятьдесят шесть лошадей, но не хватает седел. Зато имеется шестнадцать парных саней, на которые можно посадить сразу по пять-шесть человек.

— Это совершенно другое дело, — обрадовался Зарубин. — На шестнадцать саней мы посадим по четыре человека. Это будет шестьдесят четыре человека. Двадцать четыре поедут верхом. Получается восемьдесят восемь. Вполне достаточно!

Уже во втором часу ночи закончили обсуждение плана операции. Послезавтра, во вторник утром, Костров, Рузметов и Веремчук с тридцатью партизанами должны быть в леспромхозе. На них возлагается заготовка дров. В среду ночью дрова должны быть доставлены в школу. Ответственным за эту часть операции назначается начальник штаба Рузметов. Костров обязан заняться возчиками. Всей операцией на месте будет руководить командир бригады Зарубин.

Добрынин, посмотрев на часы, предложил попить чаю, прежде чем расходиться.

За чаем Рузметов вдруг, вспомнив о чем-то, хлопнул себя по лбу и начал шарить по карманам.

— Ой-ой! Совсем забыл! Дмитрию Карповичу сюрприз!

— Какой сюрприз? — удивился Беляк.

— Сейчас узнаешь, не торопись, — лукаво сказал Добрынин, догадавшийся, о чем идет речь.

— Вот, вот, нашел, читай сам. — Рузметов протянул Беляку записку Бакланова, полученную через Сурко.

Беляк быстро пробежал записку, недоуменно пожал плечами, потом прочитал еще раз вслух.

— Ума не приложу! Неужели жив?... Это не провокация? — спросил он.

Ему рассказали, каким путем попало в бригаду это письмо.

— Неужели вернется? Ну и радости будет!... Вот дела так дела!... — задумчиво проговорил Беляк и вдруг спохватился: — Да, ведь я тоже получил письмо, только не радостное.

Он извлек из подкладки своей шапчонки сложенный в несколько раз клочок бумаги и подал его Зарубину. Тот развернул бумажку, всмотрелся и вздрогнул.

— Что это? — глухим голосом спросил он.

— Кровью написано, — тихо ответил Беляк.

Все затаили дыхание. Зарубин начал читать вслух:

— «Прощай, Клава! Прощай, сын Петя! Прощайте, братья и дорогие друзья! Мой жизненный путь окончен. Никого из вас я больше не увижу. Судьба моя и моих друзей решится на днях. Что нас ожидает, мы не знаем, но свое дело мы сделали. Никому из вас не придется краснеть за мужа, отца, брата и товарища. Хочу верить, что эти строчки, написанные моей кровью, дойдут до вас. Ваш Андрей».

— Откуда это письмо? — спросил Бойко. Беляк рассказал, что письмо принес Микуличу надзиратель тюрьмы. В тюрьму на днях доставили группу советских офицеров. Среди них и этот Андрей. Над ними ведется следствие.

— Постой, постой!... О чем говорится в последней радиограмме с Большой земли? — спросил Зарубин начальника штаба.

Рузметов напомнил. В последней радиограмме командование просило разузнать об участии двадцати девяти советских офицеров, попавших в руки врага после выполнения важного задания. На Большой земле были сведения о том, что эти офицеры находятся в городе.

— Не о них ли ты говоришь? — обратился Зарубин к Беляку.

— Вполне возможно.

— А надзиратель надежный человек?

— Если бы он был ненадежный, то мы не читали бы этого письма, — сказал Беляк. — Это старый знакомый Микулича. Устроился в тюрьму по нашему поручению.

— Ты поручи ему узнать поподробнее все, что касается этих заключенных, — попросил Зарубин.

— Я уже поручил. Через неделю будем знать обо всем. Только... Следствие-то, видно, к концу идет.

— Нельзя ли что-нибудь предпринять? — сказал Добрынин. — Ведь решается судьба наших людей. В таких случаях нам оставаться в стороне нельзя.

— А тюрьма большая? — спросил Зарубин.

— Нет, не особенно большая, — сказал Беляк.

— По-моему, один корпус, — добавил Толочко,

— Подумаем, — обещал Зарубин, — Может быть, найдем какой-нибудь способ.

Беляк отставил котелок и стал прощаться. Протягивая руку Зарубину, он спросил:

— Значит, моих людей завтра встретят?

Речь шла о людях, подготовленных подпольной организацией к уходу в лес, в партизаны. О них уже договорились раньше, но, к удивлению Беляка, Зарубин вдруг изменил прежнее решение.

— Отставим, — твердо сказал он. — Подождем неделю-другую, не больше. Мы твоих людей сначала проверим на боевой работе. На какой — это я тебе скажу после. Но очень прошу: поторопись с доставкой сведений о тюрьме.

Беляк возражать не стал. Он знал, что Зарубин скороспелых решений не принимает и уж если отменяет свое распоряжение, то причины на это должны быть важные.

В понедельник утром, еще затемно, из лагеря в леспромхоз вышли тридцать человек. В эту группу подобрали наиболее солидных, пожилых партизан. Самыми молодыми были Рузметов, Веремчук и Снежко.

К леспромхозу подошли, когда уже вечерело. Остановились в леске за рекой. На разведку пошел Снежко. Он тотчас же вернулся и доложил начальнику штаба, что все спокойно.

— Двигаемся вон к тому бараку, — указал Рузметов. — А оружие и гранаты складывайте в баню.

Несколько человек собрали автоматы, винтовки, гранаты и понесли в указанное место. Остальные, не таясь, шумной гурьбой вошли в поселок и по единственной улице направились прямо к бараку.

В рубленом, крытом черепицей бараке было тепло и чисто. Сквозь узкие, расположенные почти под потолком окна проникал яркий свет. У самых дверей жарко горела большая железная печь. Вдоль обеих стен тянулись нары, между ними стоял стол с ножками, вкопанными в землю.

— Отдыхать будете? — спросил Полищук, зайдя в барак и пытливо поглядывая на партизан. Полищук потратил целые сутки, чтобы привести барак в порядок, остеклить разбитые окна, вымыть нары, и теперь староста явно хотел услышать похвалу себе.

— Конечно, неплохо бы тут и отдохнуть, — ответил ему капитан Костров. — Видно, что ты рук не пожалел, поработал. Прямо гостиница!

Полищук самодовольно ухмыльнулся.

— Так что же, отдохнете? — повторил он.

Костров отрицательно покачал головой.

— А кто за нас работать будет? — сказал Рузметов. — Сколько заготовлено дров?

Староста почесал в затылке и сказал, что заготовлено маловато.

— То-то и оно! — заметил Рузметов. — Нет, папаша, нам работать надо.

— И то дело, — согласился Полищук.

— Струмент готов? — поинтересовался подошедший Макуха.

— Все, как полагается, — заверил староста.

Не теряя времени, принялись за работу. Зазвенели пилы, застучали колуны. Партизаны сбросили верхнюю одежду.

Штабеля березовых дров быстро росли вдоль стены барака.

И все-таки к ночи сделали лишь третью часть всей работы. Рузметов выразил опасение, что когда сани придут, их нечем будет грузить, но партизаны его успокоили.

— С утра работа споро пойдет.

— Успеем. Дело привычное.

Решено было встать пораньше.

Как ни хорошо было в бараке, как ни вкусны были пшенная каша и настоящий чай, который пожертвовала для партизан жена старосты, разговоры не клеились. Партизан после трудового дня тянуло ко сну. Когда Рузметов, проверявший посты, вошел в освещенный фонарем барак, он услышал лишь дружный храп.

Во вторник поднялись чуть свет. А в полдень, в самый разгар работы, кто-то крикнул:

— Едут!... Едут!...

В поселок медленно въезжали сани.

— Ну, ребята, глядите в оба и насчет болтовни поосторожнее, — предупредил Охрименко.

— И не глазейте... Пусть себе едут, а вы работайте.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, — считал Снежко. — Всего шесть возчиков. Это замечательно!

— Да, это неплохо, — сказал Костров. — Ожидали не меньше десяти.

Все продолжали работать, как будто не замечая появления обоза.

Обоз стал у крайних домов, под стеной леса. Возчики выпрягли лошадей, задали им корму, а

сами отошли в сторонку и задымили самокрутками.

— Папаша! — обратился Рузметов к Полищуку. — Пойди-ка понюхай, что за народ. Тебе по должности надо поинтересоваться.

Полищук зашагал к возчикам. С ним пошел и Макуха. Через несколько минут они вернулись.

— Ну как? — спросил Рузметов.

— Леший их знает, — ответил староста. — Сразу не доберешься. Сопят себе под нос, хмыкают, приглядываются, принимают. Я их хочу прощупать, а они норовят меня.

— А откуда они? — поинтересовался Костров.

— Двое из Клепановки, четверо из Крапивной.

— А ты слышал, — обратился Макуха к старосте, — что сказал про тебя тот чернобородый, когда мы от них пошли? Он, видать, думал, что я не услышу, а у меня уши — первый сорт.

Полищук, опасаясь подвоха со стороны острого на язык старика, попробовал отмолчаться.

Но Макуха не унимался.

— Ты слышал? — спросил он посмеиваясь. — Или не хочешь признаться?...

— Не слышал я ничего, — угрюмо сказал староста.

— Я скажу. Не обидишься?

— Чего же обижаться, — буркнул Полищук.

— Он говорит: «Вот бы этому борову немецкому воздух из брюха спустить. Ишь, нагулял жиру!» Он тебя, видно, за фашистского прихлебателя принял.

— Скажи, пожалуйста!... — поежился Полищук. — Вот разбойник! Гляди, еще в самом деле пырнет.

— Не пырнет, — уверенно сказал Костров. — Но, по-моему, надо подумать о том, где достать «горючего». Тогда легче будет разобраться, что к чему. Возможно, язычки у возчиков развяжутся.

— Хм! Горючего! — ухмыльнулся Веремчук. — Легче летом снега достать...

Но староста неожиданно заявил, что «горючего» он может достать, сколько потребуется. Для этого ему надо лишь отлучиться из леспромхоза на полтора-два часа и взять из бригадных запасов, хранящихся у него, полмешка зерна. И хотя запас зерна был неприкосновенным фондом, Рузметов, в виде исключения, разрешил.

Полищук ушел. Через десять минут, сидя на санях и похлестывая пегую леспромхозовскую лошаденку, он выехал из поселка и быстро скрылся в лесу.

Возчики долго держались особняком, около своих лошадей. Они о чем-то мирно беседовали и густо дымили самокрутками. Потом один из них — тот самый бородач, что высказался по адресу старосты, — подошел к работающим партизанам. Он сел на большое нераспиленное бревно и достал кисет.

Борода у него была черная, вьющаяся и аккуратно подстриженная. Глаза с прищуром, умные, хитроватые. Сам крепкий, широкогрудый, приземистый. По виду ему было за сорок.

— Бог в помощь! — баском прогремел он.

— Спасибо на добром слове, — ответил кто-то из партизан. Бородач молча наблюдал за лесорубами.

Подошли остальные пятеро возчиков, поздоровались и расселись тут же на бревнах.

— До ночи управитесь? — поинтересовался вдруг чернобородый.

— Не управимся, вы подсобите, — весело ответил Охрименко.

— И то дело. Мы к этому привычные, — оживленно заговорил маленький худощавый мужичок. — Мы с Климычем, если начнем пилить, — небу жарко станет. У нас рука в руку идет, с песенкой да с присказкой. Уж если работать, так только с Климычем! Как, Климыч?

Чернобородый заерзал на бревне, кашлянул и не без иронии ответил:

— Известное дело! Ты у меня как хвост у коня болтаешься.

— Веселые вы, видать, хлопцы, не унываете, — заметил дед Макуха.

Он отставил пилу, разогнул спину и болезненно поморщился. Выпрямился и его напарник Охрименко, устало вытирая ладонью вспотевший лоб.

— А что толку унывать? — затараторил худошавый мужичонка. — Унывай не унывай, лучше не будет. Госка сердце точит. А веселому и помирать легче. Я и помирать буду весело. У меня дружок был, Вавилой звали. Весельчак...

— Ну и балабон ты, Сидор, — оборвал чернобородый Климыч. — Нет тебе остановки ни днем, ни ночью. Одно — болтает и болтает.

Он затынулся последний раз, бросил окурок на снег, примял его ногой и встал.

— Ладно! Соловья баснями не кормят, — сказал он громко. — Давай подсобим ребятам. Ну-ка, Сидор, засучай рукава да впрягайся, а вы маленько передых сделайте.

Пила из рук Макухи и Охрименко перешла к Сидору и Климычу. «Сознательные ребята, с совестью», — подумал дед Макуха. Они с Охрименко присели в сторонке и закурили. Включились в работу и еще трое. Только шестой возчик, длинноногий рыжеватый дядя, продолжал сидеть, чертя хворостинкой на снегу.

Поработав с полчаса, Климыч повернул голову, сурово посмотрел на сидящего мужика и с укором в голосе сказал:

— А ты, Поликарп, чего сидишь? Видишь, парень обмозолил руки до крови. — Он кивнул головой на Кострова. — А ну, смени!

Поликарп ухмыльнулся и воткнул хворостину торчком в снег.

— Что-то в носу щекотка и работать неохотка, — ответил он. — Коли б еще водка предвиделась...

Он все же поднялся, взял из рук Кострова колун и встряхнул его, как бы испытывая прочность.

— Таким не обмозолишь! Разве что с непривычки, — усмехнулся он.

Костров смутился. Конечно, мозоли он натер с непривычки. Ему почти и не приходилось колоть дрова. За всю свою партизанскую жизнь расколол в землянке несколько поленьев. А до войны и совсем не случалось. Ведь в Москве в доме было центральное отопление, газовая плита. «Вот нелепо, — подумал Костров, — прожил жизнь и не колот дров. Объяви сейчас об этом — засмеют».

В это время на улицу поселка въехали сани Полищука. Пегая брюхатая лошаденка быстро семенила мохнатыми ногами. Староста грозно улюлюкал, потряхивая вожжами. Он проехал мимо работающих и даже не взглянул на них.

— Ну и борова послал вам бог на голову, — провожая взглядом удалявшиеся сани, сказал Климыч.

— Почему нам? — спросил Рузметов.

— А кому же еще? Не нам же...

— А нам на него тоже чихать, — вмешался в разговор Борис Веремчук. — Подумаешь, начальник нашелся!

— Начальник не начальник, — возразил Климыч, — а шишка на ровном месте.

Сидор хихикнул и поплевал на руки.

— Хочь и мал, да вонюч... — добавил он.

— Ерунда! — небрежно бросил Рузметов. — Вот прикажем ему водки поставить, и поставит.

— А нет, так забастовка, — рассмеялся Веремчук.

— Ого!... — многозначительно протянул Климыч. — Курносый, а туда же — забастовка.

«Как будто неплохие ребята, — подумал Костров, слушая беседу партизан с возчиками. — Но почему так скоро вернулся Полищук? — Он посмотрел на часы. — Как быстро прошло время! Неужели он ничего не достал?»

Но опасения его рассеялись, как только он увидел старосту. Полищук вышел без полушубка, без шапки, с расстегнутым воротом и, слегка покачиваясь, зашагал к лесорубам.

«Привез... достал, — радостно подумал Костров. — Да он и сам уже успел приложиться».

— Чего его сюда нечистая несет? — злобно пробормотал Климыч. Ему никто не ответил.

Полищук громко, с широкой улыбкой на хмельном лице, объявил:

— Хлопцы! Дотемна закончите — угощаю.

Сидор покосился на него, но ничего не сказал.

— Смотря чем! — бросил дед Макуха.

Староста рассмеялся, потер руки и сказал:

— Два бидончика первачка достал и порося заколоть пришлось. Жаль, правда, хороший бы кабанчик выгодувался, да уж ребята вы больно славные. Угостить надо.

Возчики с недоверием смотрели на Полищука.

«Как бы не сболтнул чего лишнего с пьяных глаз», — с опаской подумал Веремчук.

— Это ты последнего зарезал? — весело спросил Снежко. Староста мотнул головой, усмехнулся:

— Да нет, еще пара осталась.

— Опять пара?

— Опять, — махнул рукой Полищук и нетвердой походкой направился к своему дому.

Ночь. В бараке светло от фонаря «летучая мышь» и большой керосиновой лампы, жаром пышет от раскаленной добела железной печки. Пир идет горой. Староста не ударил лицом в грязь и организовал все как следует. На столе мясные щи, жареный поросенок, пшеничные лепешки, соленые огурцы.

Кое-кто уже успел захмелеть.

— Ну, за что же еще выпьем? — Охрименко встал, поднял большую глиняную кружку и обвел всех своими задумчивыми, умными глазами. — Что за мода: пить и молчать! Не воду же пьем.

— Правильно... А то как монахи, — раздались голоса.

— Давай что-нибудь сам придумай, — посоветовал Веремчук.

— А я и не знаю, что придумать, — дернув плечами, ответил Охрименко, соображая, как лучше приступить к делу.

Но совершенно неожиданно пришла помощь.

— За Россию выпьем, — неуверенно подал голос захмелевший Сидор и добавил громче: — За Россию-матушку!

Наступила напряженная тишина.

Охрименко с трудом сдержал подступающее к горлу радостное волнение. В его планы не входило выказывать сразу свои чувства.

— России нет! — громко сказал он. — Нет России, похоронили ее, а за покойников и пить нечего!

Возчики словно сразу протрезвели. Лица их стали бледными. Холодными, недоверчивыми глазами они смотрели на Охрименко.

А он стоял с кружкой в руке, сощурился, выпрямившись, и чувствовал, как в коленях его возникает противная мелкая дрожь.

«Шутка-то шуткой, — подумал он, — а за сердце хватает».

Напряженную тишину снова нарушил Сидор.

— А куда же она девалась, Россия? Что это тебе — пуговка, что ли? — мрачно спросил он.

— Была и нету. Немцу покорилась Россия, — ответил Охрименко все тем же громким, твердым голосом.

И вдруг чернобородый Климыч с размаху грохнул по дубовому столу своим большим кулаком так, что посуда подпрыгнула.

Все вздрогнули.

— Есть Россия! — крикнул Климыч. — Не покорилась она! Была, есть и будет Россия!

В глазах Охрименко заблестели радостные огоньки. Сдерживая себя, он как можно спокойнее ответил чернобородому:

— Не спорю, Климыч, может, Россия и есть, но людей русских нет, вывелись. Под фашистами смиренхонько ходят...

— Бреешь! — прервал его глухим криком Поликарп. — Бреешь, черт лысый! Нализался и несешь околесицу. Русские люди не выведутся. Не бывать тому... — закончил он, тяжело

дыша.

— Точно? — спросил его Охрименко.

— Точно!

— Мы тебе что, не русские люди?... — проговорил плечистый белобрысый возчик.

— Тогда предлагаю выпить за русских людей, за Россию! — Охрименко, улыбаясь, высоко поднял руку с кружкой.

Костров посмотрел на сидящего против него бледного Рузметова и с усилием глотнул воздух.

— За советскую власть! — выкрикнул Афонька.

Снежко вскочил с места, и голос его прогремел, как труба:

— За любимую партию предлагаю выпить!

Все поднялись, точно по команде.

— Тише... Тише... — остановил кто-то.

— Что тише? — огрызнулся Сидор. — Громче! За Россию! За Сталина!

— Правильно! За советскую власть!

Климыч опешил. Взявшись обеими руками за ворот рубахи, он с силой рванул его.

— Что же это такое? Кто вы есть такие? — спросил он сидящего рядом деда Макуху.

— Русские мы, советские люди мы, — лукаво подмигнул дед. — И дело свое знаем, будь покоен!

Климыч внезапно повалился головой на руки и как-то страшно захрипел, вздрагивая всем своим могучим телом.

— Сынка... Сынка... — прорывалось у него сквозь рыдания.

— Сына у него, Мишутку, эсэсы недавно шомполами до смерти засекли, — доверительным шепотом сообщил Макухе Сидор. — Вот он и мучается. Один был у него сынок.

— За что засекли? — нахмурившись, спросил Макуха.

— Партизанам в лес харчишки таскал, а они выследили и изловили...

— И сам партизаном был? — продолжал интересоваться дед.

— Куда ему там! — вмешался в разговор Поликарп. — Пятнадцать годков всего мальчонке... А вот смотри, видишь? — Он быстро поднял рубаху, обнажая грудь. — Видишь?

На груди возчика краснели широкие рубцы.

— Гитлеровцы — собаки. Штыком... — Поликарп заскрежетал зубами и опустил рубаху. — Думал, подохну, ан нет — выжил. А кабы не эти раны, думаешь, я тут бы с вами дрова колол? И все одно уйду, дай только подкрепиться маленько, пусть легкое заживет.

— Куда уйдешь? — усмехнулся Макуха.

— В лес.

— Зачем?

Поликарп внимательно поглядел в глаза старика, как бы решая, можно ли ему довериться, и сказал:

— К партизанам.

Дед Макуха расхохотался.

— Чего ржешь? — настороженно спросил Поликарп.

Макуха умолк и, обняв Поликарпа за плечи, серьезно проговорил:

— Ладно, не ищи партизан, я тебя сам сведу к ним, только подай сигнал, когда нужно.

— Ой, брешешь, старик?... — сказал с недоверием Поликарп.

— Ей-богу...

Климыч уже успокоился. Он смущенно оглядел всех, выпил остатки самогона и снова повеселел.

— Где этот боров толстобрюхий упрятался? — прогремел он басом. — Вот бы ему сейчас всыпать горячих под самую завязку. Староста! Пусть бы знал, как на немцев работать, Ишь, сволочуга!...

— Я вот тебя этой коряжиной огрею, — подал голос из-за печки Полищук и подошел с

увесистой дубиной к столу. — Тогда разберемся, кто на кого работает.

— Свой парень, не замай, — сказал кто-то из партизан.

— Таких бы да побольше, — добавил другой.

Климыч недоуменно тряхнул головой, шумно вздохнул.

Сидор залез на нары, подобрал под себя ноги и запел тоненьким, неверным голосом пьяную песню.

— Сидор! Черт окаянный! Уймись! А не то я тебе на людях выволочку устрою, — пригрозил Климыч.

— Кто он, мужик этот, Сидор? — допытывался дед Макуха у своего соседа.

— Хороший мужик, — заверил Поликарп. — Человек верный. Вот только молоть языком любит.

В среду в полдень, прежде чем грузить дрова, партизаны стали укладывать на дно саней винтовки, автоматы, гранаты. Только тогда возчики окончательно поняли, с кем они имеют дело. До этого, по признанию Климыча, они принимали партизан за жителей окрестных деревень, мобилизованных и согнанных в леспромхоз на бесплатную работу.

— Значит, неспроста все затеяно? — поинтересовался Климыч.

— Определенно неспроста, — ответил Рузметов. — Дело будет жаркое. А твои не подведут?

— Что ты, сынок! Ни в жизнь... Я вот только дивлюсь: среди вас молодых мало — раз-два и обчелся. Как же это так?

— А где ты теперь встретишь молодых возчиков? — лукаво спросил Рузметов.

— Оно, пожалуй, верно. Хитры вы, ребята!...

— В нужный момент и молодые появятся. Ну, поехали!

Обоз вытянулся вдоль улицы. На каждых санях сидел возчик, а на передних пристроился и леспромхозовский полицаи.

Солнце светило ярко, приветливо, его горячие лучи напоминали о том, что весна уже не за горами.

10

Звездной морозной ночью обоз с дровами остановился у железных ворот бывшей психиатрической больницы.

Пар от дыхания людей и вспотевших лошадей туманным облаком висит над обозом. Партизаны притихли. Они зорко вглядываются в ночной мрак. Лошади пофыркивают, потряхивают головами.

Рузметов отогнул рукав ватной фуфайки и посмотрел на светящийся циферблат.

«Вовремя приехали, — отметил он про себя. — Без четверти двенадцать. Пятнадцать минут в запасе. Хорошо!»

Полицай прыгнул с передних саней, подошел к воротам и постучал в них кнутовищем. Звон железа гулко раздался в ночной тишине. За воротами послышался говор, минуту спустя последовал звучный удар в колокол, а затем опять наступила тишина. Часовой, видимо, вызывал кого-то. Минуты две продолжалось томительное ожидание. Наконец ворота заскрипели на петлях и открылись. Вышел солдат с автоматом на шее, помигал карманным фонариком и что-то буркнул:

— Трогай! Во двор поехали! — громко, чтобы все слышали, сказал полицай, беря под уздцы переднюю лошадь.

За ним потянулись другие. На длинной аллее, обсаженной соснами и елями, обоз остановился.

К головным саням подошел какой-то человек. Он вгляделся в полицая, перешел ко вторым саням, к третьим и, наконец, к тем, на которых сидел Костров.

— Кого ищете? — спросил капитан и сразу догадался, что перед ним стоит Марковский, которого недавно принимали в партию.

— Вас ищут, вас... — радостно заговорил Марковский. — Сомневался, все ли у вас удачно. Ваши давно уже здесь, в яру отсиживаются, а меня послали предупредить. Котлы у меня в кочегарке гудят, как на паровозе. Пару нагнал такого, что, гляди, вот-вот на воздух взлетят. Команды буду ждать. Значит, все в порядке... — И он побежал.

«Зарубин тут! — с удовольствием подумал Костров. — Как всегда, точен и аккуратен. С ним никакая операция не страшна».

Сани вновь тронулись вперед, свернули налево и в беспорядке стали возле главного корпуса, у подвального люка. Солдат, одетый в русский дубленый полушубок, суетился тут же, считал сани, указывал, куда сгружать дрова, и зло поругивался, недовольный тем, что дрова пригнали поздней ночью.

Кроме этого солдата, никого не было видно. Часовой стоял далеко, за поворотом аллеи, у самых ворот.

Подошел Марковский и вновь исчез за углом корпуса. Костров что-то шепнул на ухо Рузметову. Тот кивнул головой и подозвал к себе рослого партизана. Неожиданно появилось новое лицо — небольшой, кругленький человечек.

— Скорняк? — позвал его Костров.

— Он самый, — ответил Скорняк и приблизился. Слышно было, как постукивают его зубы.

«От холода или от страха?» — подумал Костров и спросил:

— Узнаете?

— Как же, как же...

— Рад познакомиться, — вмешался в разговор Рузметов. — Слышал про вас. Господа ваши спят?

— Давно.

— Ну и пусть спят. Отведите-ка вот этого молодца, — он показал на рослого партизана, — к часовому у ворот. Он имеет желание поговорить с ним в вашем присутствии.

— Пожалуйста, — согласился Скорняк.

— Идите. Смотри в оба, Рахматулин!

Солдат, принимавший дрова, вдруг взбесился: отпустив несколько русских ругательств, он вцепился в бороду Макухи. Как после выяснилось, коварный старик, пронося мимо немца охапку дров, уронил увесистое поленце прямо ему на ногу.

Сейчас Макуха пытался освободить бороду, не решаясь начать военные действия.

— Стукай его вернее, только без шума, да в подвал, — тихонько подсказал Веремчук Климычу. — Чего он путается да еще за бороду хватает.

Климыч оглянулся, перекрестился, — он впервые должен был убить человека, — и ударил солдата наотмашь березовым поленом по голове. Тот рухнул, не издав ни звука. Секунду спустя его вместе с дровами спустили по желобу в подвал.

К Рузметову подошел Рахматулин и доложил, что часовой снят.

— Молодец! — похвалил начальник штаба и быстро пошел к саням.

— Счет открыт, — сообщил ему Веремчук.

— Сам видел! Ладно! Перекидывайте сани и доставайте, что надо, — коротко бросил он, отошел на несколько шагов, вернулся и добавил: — Четырех человек с автоматами к воротам. Да быстрее. Сейчас тут майор будет.

Большой двор больницы бесшумно оживал, наполнялся темными движущимися фигурами. Появились Зарубин, Добрынин, Бойко, Толочко.

Зарубин сразу принял руководство операцией.

— Двух часовых мы убрали, — отрывисто сказал он Рузметову. — Где еще?

— Третий у ворот, тоже убран, — доложил тот.

Зарубин приказал Бойко немедленно выводить разгруженные сани в яр, где остались лошади партизан. Потом спросил Кострова, как обошлись они с возчиками, и когда тот ответил, что возчики участвуют в операции, подал команду:

— Начинаем! Все по своим местам! Костров — к дежурному! Толочко — в караульное помещение! Бойко — во второй корпус! Рузметов, за мной!

Командиры пошли вдоль стены главного корпуса, а за ними цепочкой потянулись партизаны.

Костров, Снежко и Рахматулин поднялись на второй этаж в комнату дежурного. На лестничных клетках, у дверей уже накапливались партизаны. Бесшумно, быстро скользил впереди Веремчук.

В большой комнате светло. На диване, сидя, откинувшись на спинку, спал дежурный офицер. Костров, а за ним следом Снежко и Рахматулин на цыпочках вошли в комнату. Едва они сделали несколько шагов, как где-то недалеко одна за другой грохнули четыре противотанковые гранаты. Дежурный мгновенно вскочил, но тотчас же свалился, срезанный короткой очередью из автомата.

— Документы! Бумаги! Все до одной взять! — громко сказал Костров и стал из пистолета простреливать замок сейфа.

Рахматулин и Снежко быстро опорожнили шкаф и ящики письменного стола. Подшитые дела и отдельные бумажки, печати и штампы, циркуляры и бланки — все уложено в заранее заготовленные мешки.

Вновь Костров услышал, как совсем близко, — наверное, внизу, — взорвались гранаты: одна... две... три...

— Готово! — доложил Снежко.

— Обыскать убитого! Оружие, документы, — коротко бросил Костров. Но Рахматулин уже обыскивал офицера.

— Вниз! — приказал капитан. — Сдайте все комиссару.

Рахматулин и Снежко с мешками в руках выскочили из комнаты.

Костров открыл наконец дверцу сейфа. Внутри оказались советские червонцы, имперские знаки, американские доллары, несколько больших запечатанных и залитых сургучом пакетов и, самое ценное, — альбом с многочисленными фотокарточками.

— Вот это находка! — невольно вырвалось у капитана.

Он торопливо уложил все в вещевой мешок и бегло оглядел комнату — не забыто ли что-нибудь. Где-то со звоном вылетели оконные стекла. Слышно было, как по крыше топают чьи-то тяжелые шаги. Внизу строчили автоматы и глуховато щелкали пистолетные выстрелы.

Когда Костров выбежал из комнаты на лестничную площадку, на дворе раскатилась длинная пулеметная очередь.

«Наши пулеметов условились не брать! — мелькнуло у Кострова. — Значит, немецкий пулемет».

На площадке кто-то упал и тихонько стонет. Костров подбежал, всмотрелся. Дедушка Макуха. Славный дедушка Макуха, «хитрюга», шутник. Он старается приподняться, опираясь на локоть, но тотчас валится. Голова его с глухим стуком падает на цементный пол. Из-за уха бьет кровь.

— Дедушка, дорогой! — зовет Костров.

Он одной рукой поднимает голову деда Макухи, светит фонариком. Глаза закрыты, лицо мертвеет. Нет, дедушка Макуха уже не скажет ни слова.

Костров с усилием поднимает тело старика и взваливает на плечо. Надо нести. Очень тяжело, но надо. Партизанский закон непреложен и строг: ни убитых, ни раненых врагу не оставлять. Но кроме деда надо нести еще и автомат и мешок.

На втором этаже Кострова встречают Снежко и Рахматулин. Они подхватывают мертвое тело и почти бегом спускаются вниз.

По двору снуют партизаны. И вдруг сквозь треск автоматных очередей, стук пулемета и ухающие разрывы гранат раздается крик, от которого у Кострова останавливается в жилах кровь:

— Майор убит!

— Командира убили!

Стрельба усиливается. В доме забаррикадировались несколько гитлеровцев. С чердака строчит пулемет.

Показывается Рузметов. Он без шапки, что-то ищет глазами.

— Смотри, — показывает Костров на дом.

— На чердак! — командует Рузметов. — Закидать гранатами.

«Но кто крикнул, что убит командир? — думает Костров. — Может быть, ошибка?»

Нет, не ошибка. Несколько партизан несут командира бригады на руках. Голова Зарубина странно, безжизненно свисает.

Костров стоит посредине двора, не в силах сказать что-либо, не в силах тронуться с места.

— Сюда! Сюда! — кричит доктор Семенов. — Сюда скорее! — Он торопится к столовой, бежит, спотыкается.

Пулемет огрызнулся короткой очередью и смолк. Гулко прогремели взрывы гранат. Не слышно больше автоматных очередей. В проходах между первым и вторым корпусами видно несколько саней с впряженными парами лошадей. Возбужденные кони похрапывают, прядают ушами, танцуют на месте, приседают на задние ноги. Партизаны тащат к саням оружие, свертки, тюки, ящики с боеприпасами.

Рузметов вытер вспотевший лоб и только сейчас заметил, что он без шапки. Посмотрел на часы.

— Всего четырнадцать минут, а кажется, что вечность прошла, — проговорил он вслух и бросился к столовой. «Неужели убит? Неужели нет больше Зарубина? — билась в голове тревожная мысль. — Ну, гады, подождите!... Вы еще узнаете нас!...»

Зарубин лежит на большом столе. Около него Добрынин, Костров, Толочко, чернобородый Климыч. Доктор Семенов уверенным движением вспарывает на Зарубине гимнастерку и по частям отделяет ее от тела. Ему светят несколькими карманными фонариками.

Командир бригады не подает признаков жизни. Доктор тщательно осматривает его. Видно отчетливо, что одна пуля прошла ниже ключицы насквозь, а вторая попала под правый сосок и не вышла.

Семенов прикладывает ухо к сердцу и одновременно щупает пульс.

Безмолвная, напряженная тишина. Ее нарушают шаги вбежавшего Рузметова.

— Тише! — сердито бросает доктор, не меняя позы.

Опять тишина. Кажется, что никто не дышит. Лиц не видно, снопы света скрещиваются на груди командира.

— Жив! — коротко говорит доктор, и общий вздох, радостный, облегченный, отвечает ему.

— Пока жив! — добавляет доктор, и вновь лица людей мрачнеют. — Будем делать операцию, пока не поздно. Можно здесь. — Он оглядывается по сторонам и решительно сбрасывает с себя санитарную сумку с инструментом. — Больше свету! Как можно больше свету!

— Доктор, вы что, в уме? — спрашивает его Добрынин.

— А вы? — в том же тоне отвечает доктор. — Капитан Костров! Вы будете помогать мне. Кипятку!

— Доктор! — с тревогой продолжает Добрынин. — Через полчаса здесь будут немцы. Мы в семи километрах от города!

— А мне на это наплевать! Я хирург и, что надо делать, прекрасно знаю.

— Отставить! — зло и резко бросает начальник штаба Рузметов. — Быстро командира в сани!

Темный лес. Темная ночь. Темное, без единой звездочки небо. Глубокая, тягостная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием сучьев в огне. Два больших костра освещают часть поляны, а дальше — мрак, чащоба. Желтые искры от костров взлетают высоко вверх и мгновенно гаснут, растворяются в темноте. Между кострами — перевернутые сани, покрытые плащ-палаткой. На них — Зарубин.

Несколько десятков фонарей освещают тело командира. Семенов заканчивает операцию.

Зарубин так и не приходит в сознание.

— Ну, кажется, все... — устало говорит доктор и дует на озябшие руки. — Будем надеяться...

11

Стоит март, но весна чувствуется лишь днем, когда под теплыми лучами солнышка появляются первые проталины. А к вечеру мороз снова крепчает, и кажется — весна так же далека, как была в январе.

В подвале под развалинами элеватора, где опять встретились капитан Костров и Дмитрий Карпович Беляк, сейчас особенно сыро и неуютно. На перевернутом вверх дном ящике горят две свечи, тускло освещающие мрачную клетушку. На полу — пучки грязной, истоптанной соломы. Зябко, холодно, пробирает дрожь.

Предстоит встреча с надзирателем тюрьмы, которого должен привести сюда Микулич. Но до встречи еще добрый час. Друзья неторопливо беседуют.

— В городе опять паника, — заметил Беляк. — Заседаниям, совещаниям в управе нет конца. Немцы требуют от Скалона решительных действий, а что он может сделать?

Гитлеровцы не могли смириться с тем, что в семи километрах от города, что называется, под самым носом городских властей, партизаны совершили дерзкий налет на школу. Но ответить ударом на удар оккупанты не могли, — партизаны были неуловимы. Единственное, что оставалось гестаповцам, — это провести массовые аресты по городу. Было схвачено и посажено в тюрьму около трехсот человек. Началось следствие, подобное тому, какое велось после взрыва гостиницы. Только тогда фашисты считали, что диверсионный акт совершен небольшой группой — двумя-тремя лицами из числа горожан, а теперь они были уверены, что в разгроме школы участвовало не меньше сотни хорошо вооруженных людей, безусловно, не городских. Тем не менее арестованы были горожане, и гестапо упорно добивалось от них показаний.

— Я опасюсь за Полищука, — произнес Костров. — Боюсь, что не выдержит, сдаст, а тогда дело примет плохой оборот.

Начавшиеся в городе аресты в первые же дни коснулись и леспромхоза. Да и не могли не коснуться. Нетрудно было установить, что в ночь налета в школу пришел обоз с дровами. Полищука арестовали. Правда, прямых улик против старосты гитлеровцы не имели, причастие его к налету на школу ничем не подтверждалось. И все же его посадили в городскую тюрьму.

Через надзирателя тюрьмы было известно, что на допросах Полищук вел себя очень спокойно. Он твердил одно: его дело заготовить дрова и погрузить, а за остальное отвечает управа. Откуда она берет возчиков и что это за люди — его не касается. Он сожалеет только, что бесследно пропал один из его полицаев, посланный с обозом.

Такие доводы были вполне убедительными, но старосту пока что по-прежнему продолжали держать под арестом.

— А я за старика не боюсь, — сказал Беляк. — Он производит на меня хорошее впечатление. Другое дело — Скорняк. Эта дрянь может подпортить нам.

В ночь налета на школу Скорняк исчез, как сквозь землю провалился. Когда бои подходил к концу, Скорняк сказал Добрынину, что «на растерзание немцев» он оставаться не намерен и потому, дескать, решил уходить к партизанам. Но на первом же привале выяснилось, что Скорняка нет. Розыски в городе не дали никаких результатов. Возникли опасения, что Скорняк может предать известных ему Марковского и Микулича. Но тех пока не трогали.

— Мне вот что кажется, — проговорил Костров. — Не стукнул ли его кто-нибудь из наших ребят под горячую руку? Видят — чужой, а приказ был уничтожить всех до единого. Вполне возможно.

На это Беляк ничего не сказал. Зябко передернув плечами, он поднялся с места и крупными шагами начал ходить по клетушке из угла в угол. Костров последовал его примеру. От

ходьбы становилось немного теплее.

— Точно арестанты в камере, — пошутил Беляк. Он остановился и, с тревогой посмотрев на Кострова, сказал: — Простынешь ты здесь, Георгий Владимирович, а к себе приглашать я боюсь.

— Ничего, перетерпим, — бодро ответил капитан. Ему, как и в прошлый раз, предстояло провести в подвале несколько дней. Иного выхода не было: шла энергичная подготовка к налету на тюрьму, и один Беляк справиться со всеми делами не мог.

Идти на квартиру к Беляку было нельзя. Приходилось считаться с положением в городе, где перепуганные и обозленные оккупанты брали под подозрение каждого нового человека и «для проверки», как правило, сажали в тюрьму. Костров учитывал и то, что налет на тюрьму являлся делом еще более сложным, нежели разгром школы. Надо было соблюдать полную конспирацию, чтобы не насторожить врага, не выдать преждевременно своих намерений.

План налета на тюрьму разрабатывался в лагере. В обсуждении принимал участие весь командный состав бригады. Рассмотрели множество всяких вариантов, но ни один из них не был принят.

Тюрьма стояла на краю города против кладбища. Подойти к ней особого труда не составляло. Но дело заключалось не только в том, чтобы подойти. Надо было проникнуть во двор, в здание тюрьмы и, главное, — проникнуть без шума. Первый же выстрел, первый разрыв гранаты вызовет тревогу в городе. Тотчас подоспеют гестаповцы, части гарнизона, и операция будет сорвана.

Кто-то внес предложение выступить всей бригадой. Несколько боевых групп должны проникнуть во двор тюрьмы, а остальные будут их прикрывать. Но могло ли это гарантировать успех? У партизан не хватало сил и техники, чтобы противостоять гарнизону города. Да и не имели права партизаны ставить под удар свои основные силы.

— Как же быть, товарищи? — спросил руководивший совещанием начальник штаба Рузметов.

Все молчали, напряженно думая и нещадно дымя сигарками.

— Неужели ничего не придумаем? — сокрушался Добрынин. И в этот критический момент капитан Костров подал мысль о том, чтобы «заняться тюрьмой в момент бомбежки города».

Все оценили значение этой идеи. Поднялись споры. Постепенно все выяснилось, уточнилось. Через несколько минут после совещания Топорков, во время очередного сеанса, отстукивал радиogramму на Большую землю.

Партизаны уведомяли, что налет на тюрьму может быть совершен при условии, если город в это время будет подвергнут обработке с воздуха.

На вторые сутки ночью пришел ответ. Большая земля соглашалась совершить налет на город силами авиации и обещала растянуть бомбежку на час-полтора — время, необходимое для успешного завершения операции. Было условлено, что сам город при этом бомбить не будут, а все ориентиры и объекты для бомбежки партизаны должны выбрать на окраинах и сообщить Большой земле за два дня до срока, намеченного для налета.

Предстояло также уточнить данные о тюрьме, ее охране, проинструктировать участников операции из числа патриотов, подготовленных подпольной организацией к уходу в лес. Их насчитывалось около семидесяти человек, и с ними необходимо было встретиться, переговорить, разработать план действий, определить место сбора. К этой сложной работе Беляк и Костров привлекли Микулича, Крупина, Якимчука, Горленко и других подпольщиков.

Вчера Костров отослал в лес для передачи на Большую землю перечень объектов бомбежки. Самолеты должны были бомбить железнодорожный узел, аэродром, большое бензинохранилище, две радиостанции, расположенные за кирпичным заводом. Одновременно определили, в каких частях города и что именно надо поджигать, чтобы усилить панику.

«Кажется, все сделано, — размышлял Костров, вышагивая по клетушке. — Остается переговорить с надзирателем тюрьмы, отослать последнее донесение в лес — и можно

начинать».

Смущало его только одно — отсутствие Зарубина. Налет на тюрьму являлся, пожалуй, самой сложной и ответственной операцией бригады. А Зарубина не было. Через несколько дней после разгрома школы абверкоманды командование фронтом прислало самолет, на котором командир бригады был вывезен в очень тяжелом состоянии.

— О чем ты думаешь? — спросил Беляк.

Костров поделился с ним своими сомнениями.

— Я уверен, что все пройдет хорошо, — сказал Беляк. — По-моему, самая большая заслуга Зарубина именно в том и состоит, что он вырастил командиров, за которых можно не беспокоиться и которые всегда его заменят. Возьми любого: Веремчука, Бойко, Толочко. Орлы! Рузметов? Я помню, как он в сорок первом, осенью, спал у меня на квартире. Смотришь на него — мальчишка да и только! А теперь? У него и голос другой стал. Просто диву даешься. Я, откровенно говоря, когда узнал, что его сделали начальником штаба, подумал: «Был боевой парень, а будет писарь». Ведь получилось иное. Зарубин сделал из него своего боевого помощника. Так что Зарубин может сейчас спокойно поправляться. Его питомцы не подведут.

Кострову припомнились некоторые операции, разработанные и проведенные Рузметовым, и он мысленно согласился с Беляком. Рузметов подходил к каждому делу не менее серьезно, чем Зарубин. Правда, будучи кадровым офицером и имея боевой опыт, Зарубин многие сложные вопросы легко решал самостоятельно. Зато Рузметов во всех трудных случаях смело прибегал к «коллективному уму». Он созывал совещания командиров и выносил вопрос на их обсуждение. Ведь план предстоящего налета на тюрьму тоже был разработан коллективно. Рузметов твердо держался старой истины: «Ум хорошо, а два — лучше».

— Пожалуй, ты прав, Дмитрий Карпович, — коротко сказал Костров. — Рузметову вполне можно довериться.

Наконец появились Микулич и надзиратель тюрьмы Фролов. Микулич тотчас же ушел по делам, а Фролов остался. Ни Беляк, ни Костров до этой встречи его не знали. Но это не помешало деловому разговору.

Лицо у Фролова было бледное, болезненное и какое-то печальное. Говорил он медленно, обдумывая и взвешивая каждое слово и, — что понравилось Кострову, — глядел при этом собеседнику прямо в глаза. Это как бы придавало особый вес каждому его слову, заставляло внимательно вслушиваться в его речь.

К поручению партизан и подпольной организации Фролов отнесся очень добросовестно и собрал все необходимые сведения.

Трехэтажное здание тюрьмы, как он сообщил, настолько забито заключенными, что в камерах нельзя ни сесть, ни лечь. Тюрьма обнесена высокой кирпичной стеной. Во дворе находятся баня, больница, мастерские, канцелярия, гараж, караульное помещение. По приблизительным подсчетам Фролова, в тюрьме содержится сейчас не менее тысячи человек.

Пленные советские офицеры, которыми интересовалась Большая земля, пока еще живы и рассажены по разным камерам второго и первого этажей. Последние несколько дней их не вызывают на допросы: гестаповцы и полиция заняты следствием по делу разгрома школы.

Староста Полищук тоже жив и сидит в общей камере на первом этаже. Его два раза водили на допрос, но, кажется, он отделался пока только легким испугом.

Среди заключенных около ста коммунистов и комсомольцев, схваченных гестаповцами и доставленных в тюрьму из разных мест.

— Охраняется тюрьма крепко, — сказал Фролов. — Один часовой у ворот, на четырех угловых вышках тоже часовые. В караульном помещении постоянно находятся человек пятнадцать да на каждом этаже по два дежурных надзирателя.

— Ключи от камер у кого? — спросил Беляк.

— У надзирателей. На всякий случай ломики нужно припасти. Ломиком раз стукнул, и долой замок, а ключом в горячке, пока попадешь в дырку, много времени уйдет.

«Да еще перепутаешь ключи», — подумал Костров и сделал заметку в своей книжечке.

— Как фамилия начальника тюрьмы? — спросил он.

— Майор Квачке. Он немец. А его заместитель Шурпак — русский из белогвардейцев, — ответил Фролов.

Обе фамилии также попали в книжечку начальника разведки.

Далее Фролов рассказал, что под тюрьмой есть большое бомбоубежище. Пользуются им все кроме заключенных. Все караульные посты связаны между собой электросигнализацией. В кабинете начальника тюрьмы, его заместителя и в комнате дежурного стоят телефоны.

Костров продолжал делать заметки. В таких случаях полагаться на память было нельзя.

— Кто находится в больнице? — поинтересовался Беляк.

— Сейчас там народу немного, — ответил Фролов. — Но этих в расчет не принимайте. Кто попадает в больницу, через несколько дней — человек конченный. В больницу кладут после допросов.

Беседа с Фроловым заняла более часа. Условившись об очередной встрече, его отпустили.

Костров сел писать донесение в лес.

...Когда Костров уже собирался спать и сооружал себе ложе, неожиданно появился Микулич.

И Беляк и Костров по лицу старика сразу определили, что он пришел с какой-то важной вестью.

— Ты что, старик, на ночь глядя пожаловал? — спросил Костров.

Губы Микулича растянулись в ухмылке.

«Старый хитрец, — подумал Беляк. — Никогда сразу не выложит. Сейчас начнет загадки загадывать».

Так и случилось.

Микулич сел на камень, закурил сигарку, раскурил ее. Делал он все это не торопясь, с хитрой улыбкой на губах.

— Спрашиваешь, чего пожаловал? Сейчас скажу... Помотался я по городу, а потом айда к себе. Полчаса назад, не больше. Вошел в сторожку, гляжу — и глазам своим не верю. Ажно дух у меня захватило. Сидит за столом и улыбается во весь рот. И кто бы, вы думали?

— Твоя старуха, конечно, — ответил Беляк с самым серьезным видом.

— Тьфу! — сплюнул Микулич. — А чего же у меня от нее дух захватывать будет?

— Как отчего? При одном виде, от радости.

— Тоже придумали!... Совсем не старуха.

— А кто же?

— Иван Тимофеевич Бакланов!

— Кто?... — в один голос вскрикнули Беляк и Костров.

— Бак-ла-нов! Бакланов. Понятно?

— Да ты что?!

— Точно так.

— Где же он сейчас? — спросил Беляк.

— А вот тут за стеной выстаивает...

— Ты в своем уме? — воскликнул Беляк и сорвался с места. За ним последовал Костров.

Но Бакланов уже показался у входа.

Если бы кому-либо из партизан пришлось увидеть Бакланова невзначай, то, конечно, никто бы его не узнал. Голова у него побелела, правая щека была сильно изуродована, левая рука не действовала. С прежним Баклановым никакого сходства.

Друзья горячо обнялись.

— Это тебя ресторан так преобразил? — внимательно разглядывая Бакланова, спросил Костров.

— Да, после ресторанчика, — с усмешкой ответил Бакланов. — По самый гроб я его помнить буду.

— Крепко! — сказал Микулич. — Родная мать не узнает.

— Спасибо, говорю, что хоть жив остался, — махнул рукой Бакланов. — Это главное. Я потом уже узнал, что после взрыва мало кто ноги унес.

— Но как же все это получилось? — спросил Беляк, вспоминая тот последний перед взрывом ресторана разговор, когда Рузметов наставлял Бакланова и советовал ему быть особенно осторожным в момент поджигания шнура.

— Так вот и получилось... Не нарочно же я. Не враг самому себе. Действовал правильно. Все помню, ровно это вчера происходило. Отлично знал, что в моем распоряжении оставалась минута или полторы. Но подвел меня этот старый хрыч Расторгуев. Только я вошел в свою комнату, запер дверь на крючок, выдвинул ящик стола, в который был выведен шнур, чиркнул спичку и опять задвинул ящик, как слышу — кто-то дергает дверь. Потом голос Расторгуева: «Открой, Иван Тимофеевич!» Я обмер. Но мне-то ведь все равно надо было выходить через эту дверь, не оставаться ж в комнате. Думаю: времени еще хватит — где полторы, там и две минуты. Надо бы мне открыть дверь, оттолкнуть Расторгуева и бежать, а я впустил его и стою как вкопанный. Он вошел, посмотрел на меня и спрашивает с усмешкой: «Деньги считаешь, что ли?» И тут я только сообразил, что стою и шепчу про себя, как учил Усман: «Тридцать один, тридцать два, тридцать три...» — секунды высчитываю. Уже к минуте подходит. «Пойдем», — говорю Расторгуеву. А он мне показывает на ящик стола: «Цигарку-то куда засунул! Гляди, дым валит! Пожару еще наделаешь. Загаси». И зачем я решил вернуться к столу, вместо того чтобы выскочить вон, не знаю. Только сделал шаг, и вдруг — хрясь!... И больше ничего не помню.

Впервые очнулся Бакланов, по его подсчетам, на третьи сутки, в поезде, по дороге в Германию. Его эвакуировали с несколькими тяжело ранеными немецкими офицерами в специальном санитарном вагоне: приняли, вероятно, за какую-то высокопоставленную личность, приглашенную на банкет.

Полученные раны и сотрясение мозга приковали его на долгие месяцы к постели. За это время он успел побывать в больницах Берлина, Франкфурта, Лейпцига. Его дважды оперировали. Врачи сомневались в благополучном исходе, но здоровый организм поборол все.

— Инвалид я теперь вкруговую. Жинка не примет, скажет: «Иди туда, откуда пришел».

Бакланов засмеялся. Несмотря на все пережитое, он не потерял бодрости.

— Ничего она не скажет, чего зря на бабу наговариваешь? — упрекнул Микулич.

— Все может быть, — возразил Бакланов. — Я ведь и в самом деле инвалид полный. Раньше была одна нога не в порядке, а теперь рука прибавилась. Хромой да безрукий. Да вот это еще. — Он ткнул пальцем в щеку. — Одним словом, со всех сторон меченный. Но злобы на фашистов накопилось еще больше...

— Значит, дух остался? — спросил Беляк.

— А куда ему деваться?

— Это самое главное, Ваня. Дух есть, тогда и бороться можно. Что делать собираешься?

— Как что? — удивленно спросил Бакланов. — Драться! Что прикажете, то и буду делать. Ладонки у меня чешутся, аж горят.

Беляк что-то шепнул на ухо Кострову. Тот утвердительно кивнул головой.

— Поезжай в деревню к жене, на поправку, — сказал Беляк. — Мы тебе отпуск даем, а когда нужен будешь — получишь сигнал.

Бакланов раздумывал. Конечно, правильно решили товарищи. Вначале он, правда, хотел домой не показываться, а остаться в городе и сразу включиться в работу подполья. Но теперь ему стало ясно, что домой зайти надо.

— Не возражаю, — сказал Бакланов.

— Там в деревне, у нас есть верный человек, — пояснил Костров, — жена твоя его знает. Вот через него и держи связь с нами.

— Кому он верный? Вам или жене? — шутливо хмурясь, спросил Бакланов.

Беляк и Костров засмеялись.

— Эх ты, черт блудливый! — проговорил Микулич с напускной строгостью. — Болтался по свету чуть не два года, а жену ревновать вздумал. Ишь ты, гусь лапчатый!...

— Шучу, шучу я.

— То-то!

Бакланов поделился своими впечатлениями о Германии. Весть о Сталинграде пронеслась по всей стране. Теперь гитлеровцы не в состоянии скрыть зимних поражений германской армии. Но они еще верят, что дела их поправятся вновь, с наступлением лета. На лето они возлагают большие надежды.

...Только в три часа ночи друзья разошлись. Костров расположился отдыхать.

12

Последний короткий привал. Плотные тучи закрыли звезды. До города восемь километров, и четыре из них надо идти открытой безлесной равниной, изрезанной оврагами. Надо переобуться, перемотать портянки. Партизаны разговаривают вполголоса, едят что-то всухомятку, осторожно курят, закрывая сигарки ладонями, шапками, полами шинелей.

Добрынин озабоченно поднимает глаза к небу, ищет хотя бы одну звездочку, хотя бы один просвет. Ровным счетом ничего. Его охватывает волнение. «Могут не прилететь, — думает он, — и тогда придется все отложить, все начинать сначала. Опять сборы, утомительный переход, опять надо посылать связного в город и предупреждать Кострова, Беляка, а они, в свою очередь, должны предупредить подпольщиков, назначить новые сроки. Хуже нет, когда что-то подготовленное, решенное вдруг срывается, когда готовность, напряжение, порыв сменяются чувством досады, неудовлетворенности». Добрынин тяжело вздохнул, вложив в этот вздох все свои чувства: досаду, сомнение, беспокойство. Рузметов наблюдал за комиссаром, понимая его состояние, но думал о другом. «Вчера и позавчера, — рассуждал он, — с вечера тоже было так же темно и облачно, а к одиннадцати часам все изменилось». Ему верилось, что и сегодня к полуночи погода изменится. Поэтому он бодро сказал:

— До часу ночи, Федор Власович, еще далеко. И все будет хорошо.

— Мне тоже так кажется, — ответил Добрынин, хотя думал иначе.

Где-то неподалеку слышится немецкая речь. Кто разговаривает, не видно, — все скрыто мраком ночи, зарослями леса. Но все знают, что это Веремчук и Охрименко проводят очередную «репетицию». Уже несколько дней кряду они тренируются, разговаривая только по-немецки.

Мысли всех заняты предстоящей операцией, но никто об этом не говорит. Все обсуждено, решено заранее. В сводный отряд Рузметов отобрал шестьдесят самых молодых, выносливых, боеспособных партизан. Он разделил их на три группы и назначил командирами Веремчука, Бойко и Толочко.

Группе Толочко дали шесть ручных пулеметов. Партизаны двух других групп имели на вооружении лишь автоматы и гранаты. Некоторые несли с собой толстые железные прутья и ломы, которые советовал захватить надзиратель тюрьмы Фролов. Вчера допоздна подробно изучали план расположения тюрьмы, систему охранения, отработали задачи каждого командира и партизана в отдельности. «Теперь остается немного, — шутил перед выходом из лагеря Веремчук, — выполнить то, что наметили».

— Не пора ли, Усман? — спрашивает Добрынин.

— Да, пора.

— Кто пойдет первым?

— Толочко. Он лучше других знает дорогу. Бросай курить! — негромко, но четко отдает команду Рузметов.

Все быстро встают, вминая сигарки в снег.

— Толочко! — говорит Рузметов. — Вперед. Без спешки. Тщательно просматривайте местность. У кладбища в овраге встретят Костров и Снежко.

Группа Толочко с двенадцатью пулеметами бесшумно скрывается в темноте леса.

Через десять минут снимается с места группа Бойко, еще через десять — Веремчука.

— Знакомые, тайные тропы, наш верный союзник — тьма, — говорит Веремчук, становясь в голову цепочки.

Около огромной дыры в кирпичной кладбищенской стене, партизан встречают капитан Костров и Снежко. Они предупреждают, что надо соблюдать полнейшую тишину. Партизаны один за другим бесшумно ныряют в черное отверстие и скрываются на кладбище. Там их встречают Марковский, Микулич, Якимчук и разводят по заранее намеченным вместилищам.

Выставляются скрытые посты. Время тянется невыносимо медленно, и два часа, остающиеся до назначенного времени, кажутся вечностью.

Партизаны грызут сухари, запивают водой из фляг, ежятся, потирают руки, чтобы согреться.

— Супца бы сейчас хлебнуть на сале, с пшенной крупницей. Сосет червячок с полдня, — тихо жалуется кто-то, сидящий на корточках. — И так сосет, — будь он проклят! — что тошно становится.

— Ничего, Степа, крепись. Ты ремень ту же затяни. Я всегда так делаю. У меня тоже вот пупок к спине прилип, а ничего, терплю.

— Терпеть-то я умею. Если надо, неделю в рот ничего не возьму. Испытал уже, научился.

— Где же это ты учился?

— В окружении...

— А где?

— В Полесье.

— Ха! Так ты бы на ягоды нажимал, там их уйма.

— Непривычный к ним. Желудок не принимает.

В склеп попытался осторожно спуститься Рахматулин, но в темноте споткнулся на полуразвалившихся ступеньках и кубарем скатился, точно мешок, под ноги партизан.

Раздался сдержанный смех.

— Ровно домовой!

— Всех покойников переполошит.

— Тоже еще... потомок Чингисхана!...

Рахматулин чертыхнулся и доложил невидимому в темноте командиру:

— Звездочки на небе обозначились.

Рузметов облегченно вздохнул, улыбнулся и мигнул фонариком на часы: без семи двенадцать. Можно считать, что остается час.

Но чем ближе подходило условленное время, тем напряженнее и томительнее становилось ожидание. Люди уже не шутили, а сидели молча, оцепенев от ожидания, нарушая могильную тишину лишь нетерпеливыми вздохами.

В половине первого лейтенант Рузметов вышел наружу и долго не возвращался. Наконец послышался его певучий, с едва заметным акцентом голос:

— Тихо, поодиночке, за мной!

Небо чистое, усыпанное мерцающими звездами. Лишь высоко-высоко, словно выше звезд, плавают одинокие облачка. Дует свежий ветерок.

Цепочкой, обходя памятники, кресты, могильные холмы, обнесенные решетчатыми изгородями, натываясь на голые кусты сирени и стволы деревьев, следовали партизаны за идущими впереди Рузметовым и Добрыниным. И вдруг где-то далеко-далеко, едва ощутимо для слуха, послышались рокошующие звуки моторов. Все мгновенно остановились. Рокот рос, усиливался и слышался уже явственней.

И тотчас же рокот моторов был заглушён истошным воем сирены. Воздушная тревога! Значит, летят свои. Залились и паровозные гудки на станции. Рывкнули зенитки. По небу пошли шарить лучи прожекторов.

Совсем близко раздалась тревожные торопливые удары в звонкий колокол. Это в тюрьме. Враги зашевелились.

Вот и западная кладбищенская стена. За ней вырисовывается мрачное здание тюрьмы. Тюрьму и кладбище разделяет шоссейная дорога.

Партизаны прижимаются к холодной кирпичной стене. Она здесь в рост человека.

По шоссе, мимо тюрьмы и кладбища, без света стремительно проносятся автомашины. Одна... другая... третья...

В стороне вокзала зенитки хлопают особенно неистово. Раскатисто ухнули первые бомбы; под ногами закачалась земля.

— Так его!... — крикнул кто-то около Добрынина. — Сейчас начнется полоскание.

Комиссар хотел сделать замечание бойцу, нарушившему тишину, но голос его потонул в грохоте бомбежки. Началось «полоскание». За первой серией разрывов последовала вторая, третья, четвертая. Бомбы рвались уже не только в районе станции, но и у других намеченных партизанами объектов.

По шоссе и окраинным переулкам бежали люди. Слышались крики: «Десант! Парашютисты! Около аэродрома спустились парашютисты!»

Источник этой паники был хорошо известен партизанам. Слухи о десанте — результат работы Беляка, Микулича, Якимчука, Крупина, Горленко, Ляха и других подпольщиков города. Вот уже в разных концах города вспыхнули пожары. Это тоже дело рук патриотов.

Во дворе тюрьмы зарычал мотор, потом открылись железные ворота, выехала легковая машина и, резко свернув вправо, понеслась из города. Ворота закрылись.

— Пора! — коротко бросил Рузметов.

Недвижимые тени ожили, зашевелились. По одному, по два партизаны перебежали шоссе и падали около тюремной стены.

В это время низко над головами с грохотом и свистом пронесся бомбардировщик.

— Наш! — радостно произнес Добрынин.

Веремчук и Охрименко о чем-то переговорили, поднялись, подошли к тюремным воротам и громко забарабанили в них.

Никто не отозвался. Тогда Веремчук принялся неистово колотить рукояткой пистолета по железу ворот. Где-то за стеной откликнулся перепуганный голос.

— Кто есть живой? Быстро вызывай сюда начальника тюрьмы Квачке, — потребовал Охрименко.

— Его нет.

— А где он?

— В отъезде... Только выехал.

— Кто за него остался?

— Шурпак.

— Давай его сюда.

— Он в бомбоубежище.

— Черт с ним, где бы он ни сидел. Зови его сюда и быстрее поворачивайся, а то жалеть будешь.

— Он не пойдет. Сейчас тревога.

— Тогда скажи ему, что русские выбросили десант, захватили аэродром и двигаются на город. Начальник гарнизона полковник Грабе приказал срочно выводить заключенных из тюрьмы в ров, к кирпичному заводу. Если Шурпак хочет дожидаться большевиков, — пусть сидит. Они задерживаться не будут, скоро пожалуют, — пулеметной скороговоркой сыпал Охрименко.

— Ой-ой! — послышалось в ответ, и разговор прервался.

Вдали один за другим грохотали взрывы, и небо вспарывали огромные огненные вспышки. Но вот загремели ключи, скрипнула калитка и в воротах показался маленький толстый немец.

— Кто вы такой? — резко спросил Охрименко.

— Я дежурный, — ответил тот.

— Залезли в землю, точно кроты. Где же Шурпак?

— Пошли за ним, он в подвале. По инструкции, во время боевой тревоги...

— По вашей инструкции, — вмешался в разговор Веремчук, — мы, кажется, скоро будем болтаться с веревкой на шее.

— Это точно насчет десанта? — испуганно спросил дежурный и шагнул вперед.

— Говорят, что точно.

Толстяк хотел сказать еще что-то, но Веремчук схватил его обеими руками за горло, сдавил точно клещами и рванул на себя. Подскочили партизаны...

— Провода телефонные оборвали? — спросил Рузметов Бойко.

— Так точно.

— За мной! — скомандовал Рузметов и бросился в открытую калитку. За ним последовали остальные.

В нескольких шагах от ворот партизаны столкнулись с Шурпаком и сопровождавшим его солдатом. Ни тот, ни другой не успели издать ни звука.

— Расставляй ребят у ворот! — отдавал распоряжение Бойко.

На окраинах города гремели разрывы, а над центром висели разноцветные осветительные ракеты.

— Дают жару!... Молодцы летчики, ай да молодцы!...

— Вот что значит взаимодействие различных родов оружия!...

На одной из угловых вышек часовой, видимо, спохватился. Оттуда застучал пулемет. Но на вышку уже крались по лесенке двое партизан Веремчука. Минуту спустя пулемет замолчал. В караульном помещении гулко рвались гранаты. Там орудовал Бойко со своей штурмовой группой.

— Хочешь жить — веди в бомбоубежище! — кричал кому-то по-немецки Веремчук.

— Забирайте со складов все до нитки! — громко командовал Добрынин. — Людей выстраивайте по четыре в ряд. Фролов! Фролов! Ко мне!

Колонна заключенных росла — значит Рузметов успешно действовал внутри тюрьмы.

— Передайте Толочко, чтобы закрыл шоссе и никого не пропускал, — передавалась команда, видимо, исходившая от Рузметова. — Пусть ведет огонь из всех пулеметов.

— Полищук! Где ты?

— Здесь, сынок! Здесь! — отозвался староста и вместо Трофима Снежко, который его позвал, облапил незнакомого партизана.

— Что с тобой, дедок? — рассмеялся тот. — Пасха, что ли, что ты христосуешься?

— Да я же тут, Полищук! — сказал Снежко, стоявший рядом.

— Отбой! Кончать! — крикнул выбежавший во двор Рузметов. — Выводи людей, Федор Власович. Меня ожидай около леса. Я задержусь. Прикрою отход.

Распахнулись ворота.

Огромная масса людей, оборванных, полураздетых, стремительным потоком полилась на шоссе.

Заключенных, количество которых еще никто не знал, вели в старый лагерь отряда. Осталось пересечь большак, а там уже лес. Впереди Кострова крупным шагом шел Снежко. — Внезапно кто-то крикнул:

— Мины!

Но было уже поздно. Что-то вспыхнуло, грохнуло рядом с Костровым и Снежко.

«Глупая смерть», — мелькнуло у Кострова, и сознание его оборвалось.

Очередное бюро подпольного окружка партии заседало в расположении новой партизанской бригады, родившейся в ночь налета на тюрьму. С докладом выступал член бюро Охрименко. Он говорил о том, что создание новой бригады можно расценивать как явление чрезвычайного порядка в «жизни леса».

— И в самом деле, давайте вспомним. Большинство из присутствующих здесь пришло в лес в начале войны и должно знать, что никогда еще ни одно партизанское соединение не получало такого колоссального пополнения, какое получила в этот день бригада Зарубина.

— Что там говорить!...

— Если рассказать, так никто и не поверит, — раздался голоса.

— А факт остается фактом, — продолжал Охрименко. — Партизаны Зарубина вызволили из тюрьмы семьсот восемьдесят человек. Вы представляете себе: семьсот восемьдесят человек! Если исключить из этого числа престарелых, больных и женщин, которым тоже работа в лесу найдется, то остается шестьсот семьдесят человек.

— И из них тридцать два коммуниста и сорок три человека, имеющих военную подготовку, — бросил реплику Пушкарев.

— Совершенно правильно, Иван Данилович, — подтвердил Охрименко.

Охрименко подробно изложил членам бюро все, что он и Рузметов предприняли в связи с организацией новой бригады. Освобожденные люди были разбиты на три партизанских отряда, внутри отрядов созданы подразделения. Коммунисты распределены по всем отделениям. Созданы партийные организации, штаб бригады, подобран командный состав.

Охрименко рассказал, что в течение трех недель, прошедших с момента налета на тюрьму, освобожденные были заняты не только организационной работой, но и проводили боевые операции. Партизаны новой бригады уже пустили под откос четыре вражеских эшелона, взорвали два моста. Оружие добывается в бою. Уже вооружено более трехсот человек, имеется четыре пулемета. Сейчас бригада готовит налет на немецкий склад в сорока пяти километрах от лагеря. Это далеко, но зато есть надежда, что после этого налета все получат оружие.

— Нам еще надо решить, — заканчивая доклад, сказал Охрименко, — вопрос о назначении командира и комиссара бригады. Не надо закрывать глаза на то, что новые люди еще не изучены, что мы не знаем их, что есть несколько человек с неясным прошлым. В общем, работы — непочатый край. Мы обменивались по этому вопросу мнениями с товарищем Рузметовым. Уже можем назвать подходящие кандидатуры и на пост командира и на пост комиссара.

— Мы тоже думали, — усмехнувшись, сказал Пушкарев. — У тебя все?

— Все, — ответил Охрименко.

— Кто желает? — спросил Пушкарев и обвел всех взглядом.

Заседание происходило на берегу маленькой речушки, у тихой заводи, на том самом месте, где когда-то, почти год назад, Сережа Дымников рассказывал комиссару Добрынину о самодельном миномете, построенном во взводе Грачева.

«Как много с тех пор событий произошло!» — думал Добрынин, грустно глядя на гладкую поверхность заводи.

Вот тут сидел, опустив ноги в студеную воду, дедушка Макуха, а в реке тревожно металась стайками маленькая рыбешка. Вот тут лежал веселый, жизнерадостный Сережа Дымников. Рядом с Добрыниным сидел задумчивый, сосредоточенный Костров. А сейчас никого из них нет. Сложили головы Дымников, Грачев, Макуха... Где-то по ту сторону фронта, в госпитале, лежат раненые Зарубин, Костров, Снежко. Здесь, на заседании, присутствует много новых, недавно попавших в партизанскую семью людей, которых Добрынин видит сегодня впервые. А заводь и речушка все такие же, будто ничего не случилось за эти долгие месяцы...

— Ты будешь говорить, Федор Власович? — спросил Пушкарев, прерывая воспоминания

Добрынина.

— Да... несколько слов, — ответил тот, поднимаясь с земли. Он сказал о том, что сейчас, в связи с рождением новой партизанской бригады, необходимо строго распределить зоны боевых действий. Без этого, по мнению Добрынина, неизбежно будут получаться ненужные совпадения: разведка одних и тех же населенных пунктов, налеты на одни и те же объекты.

— Вот вам пример, — сказал Добрынин. — Товарищ Охрименко говорил здесь, что новая бригада готовит налет на немецкий склад. — Охрименко взглянул на Добрынина, потом на Рузметова и насторожился в ожидании. — Речь идет, по-моему, — продолжал Добрынин, — о складе в поселке Луговом...

— Точно! — подтвердил Охрименко.

— Ну вот, и получается очень плохо. Громить этот же склад собирается и командир отряда из нашей бригады Бойко.

— Уже собрался, — бросил реплику Веремчук. — Второй раз разведку послал...

— И мы посылали, — смущенно сознался Охрименко.

— Видите, как нехорошо, — заметил Добрынин.

— Очень нехорошо! Добрынин прав, — твердо отрезал Пушкарев. — Но в этом деле придется уступить место новичкам, — пусть вооружаются.

— Пожалуйста! — согласился Добрынин. — Дело ведь не в этом.

Точку зрения Добрынина поддержали все члены бюро и присутствующие командиры. Решено было наметить зоны действия для каждой бригады.

Наконец подошли к вопросу о назначении командира и комиссара новой бригады. Слово хотел взять Рузметов, но с места поднялся Пушкарев.

— Есть предложение, — произнес он и сделал паузу. — Есть предложение утвердить командиром бригады товарища Рузметова, а комиссаром товарища Охрименко.

Рузметов быстро встал с места, потом опять сел и тихо возразил:

— Это будет неправильно... Среди новых людей есть товарищи более опытные.

Пушкарев сделал вид, что ничего не слышал.

— Я хочу сказать, — заявил Добрынин.

— Что? — спросил Пушкарев, заранее убежденный в том, что комиссар не будет возражать.

— Предложение очень умное, — сказал с места Добрынин.

— В бригаде есть пять лейтенантов, восемь старших лейтенантов, восемь капитанов, три майора, — снова возразил Рузметов.

— Кстати, ты тоже уже не лейтенант, — бросил Пушкарев. — К сведению всех, товарищи! Перед совещанием я получил радиogramму. Приказом Центрального штаба партизанского движения за успешное руководство операцией по разгрому тюрьмы товарищу Рузметову присвоено внеочередное офицерское звание — капитана.

Рузметов смешался и покраснел. Он чувствовал себя очень неловко. Вместе с Охрименко он, добросовестно выполняя решение бюро окружкома, в течение трех недель занимался организацией новой бригады. Они знакомились с людьми, формировали взводы, отряды, штаб, водили молодых партизан на операции, советовались о том, кого лучше выдвинуть для руководства бригадой. Себя они, конечно, не имели в виду. И вдруг это внезапное предложение...

— У меня есть вопрос, — поднял руку Охрименко. — Это ваша личная инициатива, товарищ Пушкарев? На бюро, насколько мне известно...

— Это не мое предложение, — оборвал его Пушкарев. — Это предложение Центрального штаба партизанского движения. Есть радиogramма за подписью полковника Гурамишвили. А если вы хотите знать мое мнение, то оно не расходится с этим.

— Как слышимость? — толкнул в бок Рузметова сидящий рядом Веремчук.

— Неважная, — отшутился тот.

— А по-моему, важная, товарищ командир бригады.

Когда все вопросы были решены, Пушкарев объявил, что в ближайшие дни с Большой земли должен прилететь самолет, и все, кто хочет послать письма Зарубину, Кострову и Снежко,

должны передать их ему, Пушкареву, так как самолет прилетит в распоряжение бригады Локоткова.

Пушкарев с коммунистами из бригады Локоткова уехал на запад, Добрынин с Веремчуком — на север, в распоряжение своей бригады, а Рузметов с Охрименко остались на месте.

На полпути Добрынина и Веремчука догнал, тоже верхом на коне, Рахматулин.

— Опять на «железку»? — неодобрительно спросил комиссар.

Рахматулин уже несколько раз выходил в одиночку на железную дорогу и проводил на ней какую-то никому не известную работу. Не раз Добрынин и Веремчук допытывались у него о причинах этих отлучек, но Рахматулин только отделялся шутками.

— Вы же знаете, что я машинист, — отвечал он, — вот и тянет к «железке».

Сейчас Рахматулин явно спешил.

— Это вы так всю дорогу будете ехать? — спросил он Добрынина и Веремчука.

— А что? — в свою очередь, поинтересовался Веремчук.

— То, что в таком случае вы мне не попутчики. Я тороплюсь.

— Нет, брат, шалишь! — сказал Добрынин. — Довольно отмалчиваться. Выкладывай все начистоту. Пристраивайся, и без всяких разговоров...

— На таких условиях согласен.

— На каких?

— Чтобы без всяких разговоров.

— Нет, не выйдет, — сердито сказал Добрынин. — Выкладывай!

Рахматулин начал с вопроса:

— Вы, конечно, знаете мостик за шестьдесят вторым километром, за закруглением?

Кто из партизан бригады Зарубина не знал этого небольшого, однопролетного моста. Перекинут он был через быструю, небольшую, но своенравную речку. Гитлеровцы его особенно бдительно охраняли.

В радиусе полукилометра подступы к мосту были ограждены колючей проволокой в три ряда. Прилегающее к проволоке пространство было сплошь заминировано. Непосредственно у моста в глубоких гнездах стояли два зенитных орудия. Железнодорожное полотно в обе стороны от моста, очищенное от леса и кустарника, просматривалось более чем на два километра. Подходы к мосту по воде тоже были перекрыты. По обе стороны моста протянулись от берега к берегу металлические сети. Взвод солдат, охранявший мост, имел на вооружении один крупнокалиберный, три станковых и три ручных пулемета.

— Еще бы не знать этого моста, — сказал Веремчук. — Тебя можем с ним познакомить, Абдурахман Сабирович.

Рахматулин хитро ухмыльнулся.

— Кажется, я с ним на днях сам постараюсь поближе познакомиться. Надеюсь, что после этого знакомства поезда по нему недели две ходить не будут.

— Горяч ты, я вижу, парень!... — недоверчиво протянул Добрынин.

— Потомок Чингисхана, — гордо ответил Рахматулин.

— Мы уже не раз пробовали получше познакомиться с этим мостом, — заметил Веремчук, — да ничего не получалось. Людей жаль. Ты учти, что на мосту овчарок держат. А они наш партизанский запах за пять верст чуют.

— Мне на это наплевать, — небрежно сказал Рахматулин. — Я мост подниму в воздух и ни одного человека не потеряю.

«Вот уж не люблю, когда зря бахвалятся, — подумал Веремчук и внимательно взгляделся в Рахматулина. — Уж не выпил ли он, грешным делом?»

— Ладно, не тяни. Если задумал что — рассказывай, — предложил комиссар, которому надоела эта словесная перепалка.

И Рахматулин рассказал.

Идея зародилась у него еще ранней весной, когда недалеко от железнодорожной будки путеобходчика Рахматулин с группой партизан захватил троих немцев, ехавших по линии на автодрезине. Вполне исправную дрезину Рахматулин тогда же припрятал в лесу, надеясь, что

она еще пригодится. И постепенно у него созрел план. Прежде всего с помощью путеобходчика, помогавшего партизанам, Рахматулин установил расстояние от моста до заранее намеченного пункта в лесу на линии железной дороги. От этого места до моста оказалось ровно две тысячи двести метров. Далее Рахматулин стал подсчитывать, какое расстояние проходит автодрезина за одну секунду и сколько потребуется времени, чтобы она прошла две тысячи двести метров. Это определялось не теоретически, а практически. Четыре раза Рахматулин и путеобходчик ставили дрезину на рельсы и, подвергаясь опасности наскочить на немецкий патруль, гоняли ее на нужное расстояние. В двух случаях время совпало до одной секунды, а в двух других получилось расхождение на полсекунды и секунду.

После этого Рахматулин посвятил в свою тайну Рузметова и попросил сконструировать взрыватель, который взорвался бы точно в назначенное время.

— И теперь вот он, этот взрыватель, — похвалился Рахматулин, показывая небольшую цинковую коробочку. — Это трофейный взрыватель с часовым механизмом. Поставлен на нужное время. Уложу я на дрезинку полтонны взрывчатки, отверну скобочку и пушу моторчик.

Предприятие, задуманное Рахматулиным, особенно остро захватило Веремчука, любителя необычайных, смелых операций.

По приезде в лагерь взрыватель был подвергнут тщательному исследованию. У Веремчука возникло опасение: а вдруг он «сработает» на две-три секунды позднее, чем следует? Этого времени достаточно для того, чтобы дрезина пробежала мост.

— А ты учел, что дрезина будет идти с полутонным грузом? — спросил он Рахматулина.

— А как же! — улыбнулся Рахматулин. — Мы гоняли дрезину с пятью мешками земли.

Тогда возник другой вопрос: а что, если навстречу попадет поезд? Но Рахматулин предусмотрел и это. Он решил пустить дрезину вслед за поездом, который пойдет к мосту. Это совершенно исключало возможность встречи с другим составом, так как линия была однопутная.

Вечером возвратились разведчики. Они доложили, что в связи с большим подъемом воды в реке на мосту ведутся какие-то работы.

— Хорошо видели? — спросил Веремчук.

— Отлично, — доложил разведчик. — У нас один бинокль шестикратный, другой — десятикратный. Все как на ладошке.

Но сомнения все еще одолевали Веремчука. Он старался внести полную ясность в намеченный план диверсии, искал в нем слабые места, хотел предусмотреть каждую деталь.

— Пустим дрезину утром, — сказал Рахматулин.

— Почему утром? — удивился Веремчук.

— Фашисты, товарищ лейтенант, не дураки, — засмеялся Рахматулин и принялся объяснять, в чем дело.

Со слов путеобходчика ему было известно, что в ночное время при подходе к мосту поезда дают условные световые и звуковые сигналы. При отсутствии их по составу немедленно откроют огонь.

— А с какими сигналами проходит дрезина, нам неизвестно, — добавил Рахматулин.

— Но пускать ее утром, при свете, это же сумасбродство! — воскликнул Веремчук. — Заметят издали открытую дрезину без людей, поставят несколько «башмаков» на рельсы, и дрезина слетит под откос.

— Мы посадим на дрезину двух человек в немецкой форме, — сказал Рахматулин.

«Рехнулся парень, — подумал Веремчук. — Определенно рехнулся». Он недоуменно смотрел в узкие глаза Рахматулина.

— Пойдем, товарищ лейтенант, — предложил Рахматулин, — познакомлю тебя с этими людьми.

Около своей землянки Рахматулин пропустил лейтенанта вперед. Сделав два шага, Веремчук

вначале на секунду замер от неожиданности, а потом так расхохотался, что на глазах его показались слезы.

На нарах, свесив ноги и опустив руки, сидели в естественных позах два чучела в полной форме эсэсовцев. Чучела были сделаны так искусно, что на расстоянии двадцати-тридцати метров их можно было принять за живых людей.

— Убил!... Наповал убил!... — почти всхлипывал Веремчук, держась за живот. — Надо же придумать!... Кто это соорудил?

Оказалось, что чучела соорудил партизанский парикмахер Суровецкий, который тридцать лет работал гримером в разных театрах.

Ночью разведчики повели Веремчука и Добрынина к наблюдательному пункту, с которого хорошо был виден мост. Оба вооружились трофейными цейсовскими биноклями.

На рассвете они достигли пункта, облюбованного разведчиками. Здесь росли кусты орешника, в которых можно было хорошо замаскироваться. До моста оставалось около километра, но сильные десятикратные бинокли позволяли наблюдать за всем, что делается на мосту.

Разведчики правильно говорили, что отсюда видно как на ладонке: и кусок железнодорожного полотна, и мост, и копошащихся на нем немцев. На мосту, видимо, меняли шпалы.

В начале шестого, когда солнце уже залило светом всю равнину, раздался пискливый свисток паровоза и из лесу вылетел поезд.

— Пассажирский, — сказал Добрынин.

Веремчук посмотрел на часы.

— Через семь минут Рахматулин пустит дрезину, — заметил он.

И вдруг поезд резко сбавил ход и пошел совсем медленно, едва заметно приближаясь к мосту. Около моста стоял немец с флажком.

— Вот и все! — сказал Добрынин и зло выругался. Он даже хотел подняться с земли, но Веремчук удержал его.

Прошла минута... две... три... четыре, а паровоз только подходил к мосту. Он шел все тише и тише.

Добрынин не отрывал глаз от бинокля. Веремчук, бледный, взволнованный, то смотрел на мост, то переводил взгляд на часы, отсчитывая секунды.

— Дрезина! — вдруг приглушенно вскрикнул один из разведчиков.

«Все погубило, — решил Веремчук. — Взлетят на воздух один-два вагона, и делу конец. Стоило из-за этого тратить время, изобретать, ломать голову, портить нервы. Как же ребята не проследили, что поезд около моста замедляет ход?»

А дрезина стремительно летела вперед, и на ней сидели два чучела, одно — спиной, другое — лицом к мосту.

«Точно живые! — невольно подумал Веремчук. — Что здорово, то здорово!»

В это время на мосту заметили дрезину и всполошились. По путям побежал человек, размахивая флагом. Состав медленно проходил через мост. Дрезина быстро приближалась.

— Ура! — вдруг завопил Веремчук. — Вы понимаете, что получится? Замечательно будет... Давай... давай... нажимай! — кричал он, взмахивая руками, словно скакал на неоседланной лошади. — Еще!... Еще!...

Дрезина проскочила мимо ошеломленного немца с флажком в руках. Он еле успел отскочить в сторону, не удержался на ногах и упал под откос.

На мосту солдаты размахивали руками и лопатами. А дрезина неслась и неслась вперед.

И когда последний вагон поезда съезжал с моста, в хвост состава с ходу врезалась дрезина. Вначале партизаны увидели ослепительную вспышку пламени, которая показалась им ярче солнца, затем в воздух взметнулось что-то черное, большое, и, наконец, раздался огромной силы взрыв, потрясший землю. Когда все затихло, на месте моста осталась торчать странная тонкая жердь, приподнятая, как открытый семафор.

5 июля 1943 года немцы предприняли свое летнее наступление на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Началась вошедшая в историю великая битва на Курской дуге. С 6 по 11 июля, за пять дней, советские войска уничтожили более двух тысяч немецких танков, семьсот самолетов.

15 июля Совинформбюро объявило, что наши войска, расположенные севернее и восточнее города Орла, после ряда контратак перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось с двух направлений.

24 июля товарищ Сталин в своем приказе указал, что немецкий план летнего наступления нужно считать полностью провалившимся.

5 августа войска Брянского фронта освободили Орел, а войска Степного и Воронежского фронтов — Белгород.

Прогремели первые победные салюты.

— Смотрите, что получается, — весело говорил Снежко. — Я обязательно вычерчу диаграмму. В 1941 году они наступали по всему фронту в течение пяти месяцев, в 1942 году по фронту в триста шестьдесят километров — три месяца, а в этом году по фронту в шестьдесят километров всего лишь десять дней.

— Точно, точно! — отозвался его сосед, молодой широколицый парень. — А кричали сколько! Их командующий под Орлом, генерал Модель, перед началом наступления хвалился, что фюрер снабдил их таким оружием, которым они сразу отобьют у нас дыхание.

— А им вот и печенки отбили.

— Это не Франция, на которую потребовалось тридцать семь дней...

Разговор происходил в палате подмосковного госпиталя. Никто еще не спал, хотя было поздно. Окна были открыты, и ветер играл большими шелковыми занавесками.

Вошла дежурная сестра.

— Товарищи, пора спать. Вы же меня подводите, — сказала она притворно сердитым голосом. — У соседей давно темно.

— Там счастливы, Мария Даниловна. Без крови, без нервов, а мы...

— Довольно! — уже требовательно сказала сестра. — Там просто более сознательные люди.

— Ах, вот как?!

— Да, именно так. Тушу свет...

— Еще десять минуточек, Мария Даниловна!

— Ни одной секунды. Все... — И дверь закрылась.

Но спать никто не хотел. Все были взволнованы событиями. Как только затихли в коридоре шаги, свет снова зажегся. Трое раненых сползли с кроватей, забрались на широкий подоконник и закурили. Несколько человек, в том числе и Снежко, возвратились к висевшей на стене карте. Строили догадки, что принесет завтрашний день, о взятии каких городов известит приказ Верховного Главнокомандующего.

Кровать Кострова — самая крайняя. Снежко лежит во втором ряду, недалеко от него, а Зарубин — в третьем, у самой двери. Свое место Зарубин считает «стратегически выгодным». Он первым узнает, что творится в коридоре. Идет ли главврач, или спешит сестра, — Зарубин тотчас информирует товарищей, и они быстро принимают все меры предосторожности.

Закинув руки за голову, Костров лежал на койке и вспоминал о прошедших днях.

...Тяжелые ранения на долгое время вырвали его, Зарубина и Снежко из партизанских рядов. Два дня спустя после налета на тюрьму в лагерь прибыли два транспортных самолета, и все тяжело раненные и больные были вывезены на Большую землю. Они со Снежко попали в тот же госпиталь, где лежал Зарубин, и даже в одну палату с ним. В этом помогла им Наталья Михайловна Зарубина. Сначала Трофима Снежко хотели перевести в далекий тыловой госпиталь. Доводов друзей никто и слушать не хотел. Да и какие это были доводы: «Вместе воевали, вместе хотим лечиться». Исходя из этого, надо было бы создавать взводные, ротные

госпитали. Костров и Зарубин это прекрасно понимали, но уж очень велико было желание Снежко остаться с ними, очень трогательны были его настойчивые просьбы. Вряд ли из этого что-нибудь получилось, если бы не пришла на выручку Наталья Михайловна.

Она появилась на третий день после водворения раненых в госпитале, в тот момент, когда вопрос об эвакуации Снежко был уже почти решен. Наталья Михайловна, услышав просьбу Снежко, развила кипучую деятельность: от лечащего врача она бежала к главному, от главного — к начальнику госпиталя, от него вновь к главному врачу. Потом она уехала в Москву на попутной машине, а когда вернулась на другой день, сообщила, что ей разрешили оставить Снежко в госпитале до полного выздоровления.

Снежко ликовал, хотя и понимал, что с друзьями ему придется пробыть недолго. Для него и для его командиров было ясно, что они скоро расстанутся, а увидятся ли опять когда-нибудь — неизвестно. Снежко окончательно вышел из строя. Он потерял левую руку почти до плеча. Ему предстояло остаться в тылу. Зарубин и Костров уже поговаривали о возвращении в бригаду.

Впрочем, надо признаться, что была и еще одна причина, которая привязывала Снежко именно к этому госпиталю. Здесь осталась работать партизанская сестра Аня, дочь покойного Герасима Багрова.

— У них очень серьезные отношения, — рассказывала Зарубину Наталья Михайловна.

— И это с прошлого года, ты говоришь? — переспросил Зарубин.

— Да.

— Гм... А я и не замечал, — признался Зарубин. — Видишь, что происходит. Оказывается, война и любовь вполне уживаются, — обернулся он к Кострову.

Госпиталь расположен в сосновом бору. Деревья обступают каменное здание, теснятся вплотную к нему. За ними тянется в необозримую даль поле.

Дверь палаты выходит на большую веранду. Друзья каждый день перед завтраком собираются на этой веранде, чтобы полюбоваться лесом, подышать свежим воздухом, погреться на солнце.

С неба струится летнее тепло. Признаков осени еще нет и в помине. Зарубин, закинув руки за спину, молча шагает по веранде взад и вперед. Снежко сидит на своем обычном месте — на широких перилах веранды, опершись о столб и вытянув ноги. Он весь залит солнцем. Глаза его блаженно щурятся.

— Какая благодать! Какая теплынь! — медленно говорит он. — И до чего же я люблю солнышко!

Кострова тоже разморило и тянет ко сну: отяжелевшие веки против воли смежаются, и он с трудом поднимает их.

— Эх, и разленились же вы, друзья! — Зарубин остановился и, потягиваясь, широко развел руки. — Встать! — крикнул он вдруг. — За мной, шагом марш!

Костров и Снежко беспрекословно выполняют команду и спускаются с веранды в бор. Тут еще не исчезли следы ночи: под деревьями прохладно, влажно. Пахнет хвоей.

— Бегом! — раздается команда, и все бегут проторенной дорожкой к озеру.

Утренний туман клубится низко над водой. Плещется рыба, оставляя на поверхности озера расходящиеся круги.

У самого озера — большая палая сосна, покрытая лишайником. На ней друзья всегда сидят минут пять — десять, отдыхают, курят.

Снежко первый подошел к маленькому мостику, нырнул. Он с одной рукой остался прекрасным пловцом и умеет долго находиться под водой. Обычно его обнаруживают в пятнадцати-двадцати метрах от мостика.

Сегодня он особенно долго не показывается. Командиры уже с беспокойством молча шарят глазами по поверхности озера, но Снежко неожиданно показывается из-под мостика, отфыркивается и хохочет. Он решил напугать товарищей, неслышно вынырнул под мостиком и сидел там.

Потом он лег на спину и поплыл на середину озера. Там остановился, положил

единственную руку на грудь и спокойно отдыхал, непонятным образом держась на воде. Костров и Зарубин сидели на сосне, наблюдали за ним и умышленно медленно курили, не решаясь лезть в холодную воду.

— Жаль, что придется расставаться с Трофимом, — сказал Зарубин. — Я за это время привык к нему, как к родному. Какой прекрасный парень! И что мне особенно в нем нравится, — не унывает даже при отсутствии руки.

Зарубин встал, бросил папиросу и осторожно полез в воду...

— А вот и новость, — объявила Аня после завтрака, показывая письма.

— Откуда?

— Все с той стороны. Четыре письма.

Большая радость! Уже три месяца раненые узнавали о жизни бригады лишь по лаконичным, официальным радиogramмам, а хотелось знать гораздо больше.

— От кого же?

— О-о-о! Все пишут.

Одно письмо было коллективное. Под ним стояли подписи Веремчука, Бойко, Толочко, Рахматулина, Климыча, Королева и многих других. Подписи занимали больше места, чем само письмо.

Товарищи поздравляли всех троих с выздоровлением, наказывали им отдыхать, ни о чем не тревожась, и заверяли, что все будет хорошо.

— Как же так получается? — рассмеялся Зарубин, прервав чтение. — Оказывается, можно великолепно обходиться без командира бригады?

— Не совсем так, разрешите вас поправить, товарищ майор, — заметил Снежко. — Это без вас обходятся, а без командира бригады не обойтись. Значит, кто-то тянет это дело.

Поправка была существенная, и возразить было нечего. Зарубин вздохнул и продолжал читать.

Партизаны сообщали об удачно проведенной операции, в результате которой было отбито более ста голов крупного рогатого скота. Гитлеровцы рискнули гнать скот напрямик через лес и потеряли все стадо. Рассказывали и о взрыве моста при помощи дрезины.

В конце сообщалось о тех, кто навсегда и кто временно ушел из боевых рядов партизан.

Письмо взволновало всех.

Другое послание — от Рузметова и Охрименко. Написано оно было явно в охрименковском стиле: «Пишут вам не абы кто, а командир и комиссар бригады. Командир еще туда-сюда, хоть какое ни на есть воинское звание имеет, а комиссар — сплошная гражданка. Чудеса, да и только!...»

Хорошее, теплое письмо написал доктор Семенов. Все трое прошли через его руки. Он спас жизни всем троим. «Теперь мы за вас не волнуемся. Поправляйтесь, — писал доктор, как всегда, во множественном числе, — целуем и обнимаем».

Четвертое письмо — Добрынина — было коротким, но своеобразным: «Надо совесть знать, ребята. Вы, наверное, решили, что борьба окончилась и можно — на боковую. Бросили одного старика, и тяни, мол, сивка. Так дело не пойдет». В письме передавались приветы от Пушкарева, Микулича, Беляка и других подпольщиков.

Перечитывали эти письма по несколько раз в день, так что скоро знали их наизусть.

В квартире начальника госпиталя, подполковника медицинской службы Жильцова, было необычнолюдно и шумно. В одной из трех комнат на столе расстелена большая полевая карта. Окна без светомаскировки — открыты настежь. Табачный дым выходит из них клубами. Около карты — Гурамишвили, Жильцов, Зарубин, Наталья Михайловна, Снежко, Костров. Полковник показывает аэродром, откуда Зарубин и Костров завтра вечером вылетят к себе «домой» — в бригаду.

Во второй комнате скромно, по-фронтовому, накрыт стол.

— Езда займет шестнадцать часов, без учета всяких дорожных приключений, — сказал Гурамишвили, — а поэтому есть предложение выехать не позже чем через два-три часа. Нет

возражений? — Он положил большую ладонь на карту и обвел взглядом присутствовавших. Все молчали. — Ну, если так, не будем терять времени — и за стол.

Наталья Михайловна старалась держаться бодро, но глаза выдавали ее внутреннее волнение. Это заметил Гурамишвили.

— Ничего, дорогая, — сердечно сказал он. — Самое тяжелое уже осталось позади. Надо потерпеть еще немножечко, и все будет хорошо.

Наталья Михайловна благодарно посмотрела на полковника и кивнула головой.

Над шоссе густой пеленой висит пыль, идут бесконечные вереницы автомашин. Воздух дрожит от зноя и гула моторов.

Впереди в лучах заходящего солнца блестит река.

С трудом переехав по новому деревянному мосту на другой берег, машина сворачивает с шоссе на большак, потом на проселок и мчится к виднеющемуся вдали лесочку.

— Почти доехали, — говорит полковник и направляет машину прямо через поле.

Только подъехав совсем близко, друзья различили на опушке леса хорошо замаскированные в зелени самолеты.

В лесу разбросаны землянки, палатки и просто шалаши из ветвей. Здесь оживленно и шумно. Но полковник снова вывел машину из леса и покатил под гору, к раскинувшейся в низине деревушке.

— Куда же мы? — поинтересовался Зарубин.

— На мою базу, — усмехнулся Гурамишвили. Въехали в маленькую, в одну улочку, деревушку и завернули в первый же двор.

— Вот и все. Прошу высаживаться. — И полковник заглушил мотор.

Вылезли из машины и принялись сбивать пыль с одежды. Полковник прошел в дом и через минуту вернулся.

— Вон колодец, — показал он, — раздевайтесь, мойтесь и садитесь за стол. Меня не ждите. Я схожу к командиру полка и узнаю, какие виды на ночь. Возможно, спать не удастся.

Не спать, так не спать. Зарубин и Костров к этому готовы: чем скорее лететь, тем лучше.

Раздевшись до пояса, они поливали друг друга прямо из ведра. Холодная колодезная вода сразу сняла усталость.

В маленькой избе с небольшими сенцами хозяйничал усатый пожилой солдат. На столе урчал самовар, стояло молоко в кринке, лежал на тарелке творог, мед в сотах.

— Прошу угощаться, товарищи, — приглашал солдат. — Приказано кормить вас. — Он разлил по большим эмалированным кружкам молоко и добавил в него немного чая. — С дорожки перво-наперво чайком надо побаловаться.

Когда гости поели и задымили папиросами, возвратился полковник.

— Во-первых, освобождены Брянск и Бежица, а во-вторых... — Он налил себе большую кружку молока, выпил ее залпом и съел несколько ложек творогу. — А во-вторых, прошу на аэродром.

Деревенька уже давно спит, а на аэродроме кипит ночная жизнь. Один за другим в небо поднимаются самолеты. Воздух наполнен ревом моторов. В партизанскую зону идет четырехместный самолет. Сигналы получены еще вчера. С минуты на минуту здесь ожидают радиограммы: нет ли каких изменений в общей обстановке?

— Вот это письмецо передай Бойко. — Гурамишвили протянул Зарубину маленький тугой конверт, перевязанный крест-накрест суровой ниткой. — Это сынишка его пишет.

— Как он у вас? — поинтересовался Костров.

— Скучает немного, а так — ничего. Учится, много читает. Очень впечатлительный, любопытный мальчонка. Скажите Бойко — пусть не беспокоится...

— На посадку! — приглашает дежурный, и все идут к машине.

— Все в порядке? — спрашивает полковник высокого летчика в комбинезоне.

— У них там всегда все в порядке, — отвечает тот. — Мы уже привыкли, товарищ полковник. Летишь к ним в лес, точно к себе на аэродром. Молодцы ребята!

— А вот их командиры, — говорит полковник, показывая на Зарубина и Кострова. Летчик вытянулся, взял под козырек и крепко пожал руки обоим.
— Так что знай, кого везешь.
— Ясно, товарищ полковник!
Взревел мотор. Самолет, плавно покачиваясь, начал выруливать на старт.

15

Советская армия стремительно наступала. Огрызаясь, оставляя на полях сражений разбитую технику и горы трупов, гитлеровские захватчики тянулись на запад. Ничто не могло остановить яростного напора советских воинов. Безуспешно пытались фашисты закрепиться на заранее подготовленных оборонительных рубежах, на многочисленных водных преградах. Удары Красной армии следовали один за другим. Над шоссевыми дорогами, большаками, проселками днем и ночью стеной стояла пыль. Отступая, оккупанты старались увезти все, что могли. На поездах, автомашинах везли лес, железо, строительные материалы, скот, необмолоченный хлеб. Хлеба, стоявшие на корню, сжигались. В ночи зарево охватывало полнеба — горели подожженные хлеба. Фашистские изверги угоняли с собой народ: стариков, женщин, детей. Люди посильнее и посмелее уходили в леса. В эти дни гитлеровцы особенно боялись лесов, — там безраздельно властвовали партизаны. Радио ежедневно извещало мир о новых победах советских войск. В Москве гремели победные салюты.

Костры гасли. К ним подступала ночная тьма. Лес окутывался мраком, погружался в сон. Но шумный партизанский лагерь не затихал.

Сегодня утром Большая земля передала радиogramму:

«Примите шесть транспортных самолетов с десантом между часом и двумя ночи, сообщите немедленно сигналы. Гурамишвили».

— Что же они придумали? — сказал Зарубин, прочтя радиogramму.

— Взаимодействие, надо полагать, — высказал предположение Добрынин. — Совместный удар. Время подошло.

— Пожалуй, так, — согласился Зарубин.

Принимать самолеты решили на двух полянах, лежащих друг от друга в полутора-двух километрах. Это ускорит высадку десанта.

Подготовка началась с полудня. Разделились на две группы: Зарубин и Костров распорядились на одной поляне, Добрынин и Веремчук — на другой. Вблизи от посадочных площадок выставили охранение. На случай появления ночных истребителей врага приготовили пулеметы.

В десять вечера ночное небо наполнилось гулом моторов. Это шли на запад наши тяжелые бомбардировщики. Шли непрерывными волнами, и казалось — конца им не будет. Гул то стихал, то усиливался, мощный и грозный.

Ночь теплая. После дневных хлопот Кострова клонило ко сну. Он с трудом противился этому желанию: вставал, прохаживался по поляне, подходил к беседующим партизанам, непрерывно курил.

Зарубин лежал у края поляны и всматривался в небо.

— Ты слышишь что-нибудь? — спросил он Кострова. — Кроме гула самолетов.

Костров прислушался.

— Приляг сюда, — Зарубин показал на свою плащ-палатку. — Приложи голову к земле. Ну как?

Да, земля доносила гул канонады, еще далекий, едва уловимый, но звучащий, как радостная,

волнующая музыка. Костров пристроил поудобнее голову, улегся и замер, ловя звуки этой победной мелодии. И тотчас же закрылись глаза и вокруг стало тихо. Костров заснул.

Три самолета благополучно сели, высадили десант и вновь поднялись в ночное небо. На все это потребовалось только сорок две минуты.

Поляна мгновенно наполнилась говором, шумом.

— Никому не расходиться! Остаться на местах!

— Где наш командир отделения?

— Ящики с гранатами снесите в одно место!

— Челноков! Челноков! — громко кричал кто-то.

— Ты что, домой пожаловал?

— Так точно, товарищ гвардии лейтенант, домой. Отсюда до моей деревни не больше десяти километров. Места все знакомые.

— Гм... — недоуменно протянул лейтенант, не зная, что ответить. — Домой или не домой, все равно не шуми...

— Слушаюсь! — И уже тихо десантник опять позвал: — Челноков! Где же тебя нечистая носит?

— А из какой деревни будешь? — любопытствовал подошедший партизан.

— Из Выселок.

— Знаем... знаем...

— Ты из местных тоже?

— Нет, я из Донбасса, но в основном тут местные. Односельчан найдешь.

Несмотря на незнакомую обстановку и темноту, десантники действовали уверенно, быстро перетаскивая ящики с гранатами и минометы в одно место. Все они были налегке, в летней одежде, в пилотках, в пятнистых маскировочных халатах.

Гурамишвили высадился на другой поляне. Костров с Зарубиным направились туда и встретили его на полпути. Он шагал рядом с Добрыниным и Веремчуком. Все трое громко беседовали, смеялись.

— Ну вот, повоюем хоть немного вместе, — сказал Гурамишвили, пожав всем руки. — Где моих ребят разместить?

— Как где? В лагере. Пусть сюда идут. Веремчук, распорядись, — приказал Зарубин. — Да пусть наши ребята груз помогут перетаскать.

— Покормить же людей надо, — сказал Добрынин.

— И не думайте, — запротестовал Гурамишвили. — У них сухой паек на четверо суток.

— А потом? — спросил Костров.

— А потом подспеют полковые кухни и перейдем на обычный горячий рацион, — рассмеялся Гурамишвили. — По секрету, между нами говоря, наши передовые части в шестидесяти километрах от города. Понятно?

Кострову от этой вести стало вдруг жарко.

Наши части в шестидесяти километрах! Еще несколько дней, и кончится лесная партизанская жизнь. Эта мысль вызвала незнакомое, большое и торжественное чувство ожидания великих перемен.

— Как далеко стоит бригада Рузметова? — спросил полковник, когда пришли в лагерь. Он распорядился вызвать командно-политический состав бригады. К Рузметову послали двух верховых.

— К утру приедут? — спросил Гурамишвили.

— Безусловно.

— А теперь бы прилечь да вздремнуть немного, — предложил полковник. — Силенки поберечь надо для важных дел.

...Костров проснулся чуть свет. В землянке было полно народу: знакомые и незнакомые

люди.

Они горячо обнялись с Рузметовым и Охрименко, — это была их первая встреча после возвращения Кострова и Зарубина из госпиталя.

Познакомились с командирами отрядов и политруками Давыдовым, Котельниковым, Чугуевым, Апресьяном, Трухачевым. В большинстве это были кадровые армейские командиры.

— Внимание, товарищи! — раздался среди общего шума спокойный голос Гурамишвили, и сразу стало тихо. — Время не ждет, надо во всем успеть разобраться и начинать действовать. По данным, которыми мы располагаем, фашисты в этом районе задерживаться не собираются.

Все переглянулись.

— Они попытаются оторваться от наших частей, сохранить живую силу, технику, подойти к реке и закрепиться на правом берегу. Вот здесь. — Полковник показал на карте пальцем. — В их распоряжении пока что железная дорога и два шоссе. За город они особенно держаться не будут, но постараются его разрушить, сжечь, подорвать. Перед нами поставлена задача: оседлать железную и обе шоссевые дороги, лишить противника возможности организованно отойти к реке, помешать ему перебраться на тот берег и закрепиться. Стало быть, переправы надо захватить и держать в своих руках. Железнодорожный мост во что бы то ни стало надо спасти. Он нужен Красной армии. Город мы тоже не позволим подвергнуть разрушению. Большого от нас сейчас не требуется. Понятно, товарищи? — И, не ожидая ответа, полковник продолжал: — Бригада Рузметова выходит на старое шоссе и держит обе переправы, бригада Зарубина — на новое. На мою долю остаются железная дорога и мост. На город будем наступать всеми силами с трех сторон.

— Когда выступить? — спросил Охрименко.

— Скажу дополнительно. Это зависит не от меня. Оставьте надежных связных, а сами возвращайтесь в свои отряды и подготавливайте народ.

Совещание окончилось. Все вышли из землянки. Утренний туман седыми клочьями плавал по лесу, медленно оседая на землю. В небе, высоко-высоко, летели журавли. Их курлыкание едва было слышно.

Добрынину и Кострову подвели лошадей. Сегодня ночью им предстояло быть в городе.

На восточном горизонте, точно зарницы, полыхают огненные вспышки — ветер доносит все усиливающийся гул артиллерийской канонады.

Добрынин, Беляк и Костров сидят, притаившись, среди развалин элеватора. Хотя и темно, но они видят, как к черной дыре, ведущей в подвал, бесшумно подходят одинокие фигуры и так же бесшумно исчезают в ней. Якимчук и Микулич встречают проходящих у поворота дороги и провожают до входа в подвал.

— Уже пятьдесят восемь человек насчитал, — шепчет Добрынин.

— Ошиблись, — поправляет Беляк. — Шестьдесят два.

— Могло быть: дремота одолевает. Пропустить мог.

Неожиданно рядом с ними вырастает фигура Микулича. Он докладывает, что все в сборе.

По грудам щебня Костров ведет комиссара к знакомой щели. Добрынин здесь впервые.

— Какие-то катакомбы, — тихонько ворчит он себе под нос, осторожно идя следом за капитаном. — А как с охраной?

— Трое стоят на посту, — отвечает Беляк. — Да тут у нас тихо, как у вас в лесу.

В самой большой клетке подвала собрались активные участники подпольной организации. Они не знали друг друга и сейчас встретились впервые.

— Слово имеет комиссар партизанской бригады нашего района товарищ Добрынин, — торжественно объявляет Беляк.

— Обстановка не позволяла нам, товарищи, собираться вместе, — тихо начал Добрынин. — Но это не мешало каждому из нас бороться со злейшим врагом родины, отдавать себя

целиком нашему общему делу. Сейчас условия резко изменились. Мы получили долгожданную возможность собраться: через несколько дней в наших краях не будет ни одного гитлеровца, кроме мертвых.

Добрынин сказал, что фашисты попытаются уничтожить город и что партизаны и подпольщики должны помешать врагу выполнить это черное дело. Разрушать город оккупанты будут в последние часы перед отступлением. Поэтому необходимо завладеть городом раньше.

— Гитлеровцы хотят угнать на запад население, — говорил Добрынин. — Надо сорвать этот план. Они будут стремиться вывезти из города ценности, имущество, продовольствие, запасы, сосредоточенные на складах, — мы должны воспрепятствовать и этому. Сейчас можно действовать смелее — Красная армия в пятидесяти километрах от нас, и сегодня у всех нас особенно радостно бьется сердце — победа близка. Надо поднимать народ. Кто не способен на решительные действия, пусть уходит из города, бежит в лес, прячется где угодно, чтобы не попасть на фашистскую каторгу. Давайте уточним наши возможности, распределим силы и решим, кто и что будет делать.

— Надо, товарищ комиссар, расправляться с предателями, с пособниками врага, — раздался голос Наташи Горленко. — Они, точно крысы, уже разбегаются. Мы здесь, в городе, бессильны что-либо предпринять, а вы, товарищи партизаны, можете закрыть им дорогу.

Учитель Крупин сообщил, что в школе вчера разместилась команда факельщиков, с которыми фашистский офицер уже проводил несколько занятий. В команде больше ста человек. В школу привезли различные зажигательные средства. Крупин предложил совершить ночью налет на эту команду и уничтожить ее.

— Кто же будет участвовать в этом деле? — спросил Добрынин.

— Как кто? Мы!

— Кто мы?

— Я и мои ребята, ученики... Товарищ Беляк их знает.

— Каким образом вы думаете это осуществить?

— Очень просто. Выберем момент — и закидаем казарму гранатами. В каждое окно по две гранаты.

— А гранаты есть?

— Есть. Хватит. Мы зря не сидели.

Крупин рассказал, как школьники достали немецкие гранаты и как учились пользоваться ими.

Предложение Крупина приняли, поручив ему руководить группой, которая осуществит налет на факельщиков.

Марковский обратил внимание на подозрительную возню оккупантов в торговых рядах. По его наблюдениям, в большие подвалы торговых рядов что-то свозят и складывают. Марковский предполагает, что в подвалы складывают большое количество взрывчатки. Подвалы эти тянутся под площадью, на которой обычно происходили народные торжества.

Добрынин рекомендовал Марковскому продолжать наблюдение и, как только в город войдут части Красной армии, доложить о своих наблюдениях советским офицерам.

Совещание проходило напряженно, вопросы решались быстро. Большой группе патриотов было поручено блокировать склады, расположенные под городским собором. В них находились запасы муки, и эти запасы надо было сохранить, не дать их вывезти. Микуличу с семьей другими подпольщиками поручалось совершить налет на дом заместителя бургомистра, где велась спешная подготовка к эвакуации. Ольга Лях должна была дезорганизовать работу городского телефонного коммутатора. Якимчук брал на себя задачу вывести из строя шесть паровозов, стоящих в депо и подготовленных под эшелоны.

После рассмотрения боевых дел остался еще один вопрос: у Беляка находилось семь заявлений участников подполья о приеме их в ряды партии. Товарищи, подавшие заявления, уже больше четырех месяцев работали в подполье, выполняя все поручения Беляка.

— Можно расходиться, товарищи, и приступать к делу, — объявил Беляк. — Коммунистов и

подавших заявления прошу остаться. Запомните, что с сегодняшнего утра наш боевой штаб будет находиться здесь.

16

Никто из партизан, конечно, не мог точно предвидеть, что сегодняшнее, не по-осеннему сухое и теплое утро окажется началом последнего партизанского дня.

Еще затемно бригада Зарубина, выполняя часть общего плана, вышла на шоссе в тридцати километрах от города. Партизаны заняли оборону на большом участке, залегли, замаскировались.

Первым радостным приветом народившегося дня была девятка стремительных краснозвездных штурмовиков, с мощным ревом и рокотом пронесшихся над лесом, над самыми головами партизан. Когда шум моторов этой первой соколиной стаи почти затих, вдалеке пронеслась вторая девятка, за ней третья, четвертая...

— Ну, пошло дело!... Теперь держись...

— Как бы нас за фашистов не приняли и не причесали...

С этими штучками шутки плохие, недаром немцы их зовут «шварце тодт».

— Это что такое?

— А это значит «черная смерть».

На шоссе со стороны города показалась первая колонна тупорылых автомашин.

— Внимание! — раздался голос Веремчука. Он лежал со своими ребятами в придорожном мелком сосняке.

— Девять... десять... тринадцать... шестнадцать... — считал кто-то вслух.

До того места, где лежали Зарубин, Добрынин, Костров и другие командиры, машины не дошли. Их закидали гранатами партизаны отряда Веремчука и взяли под кинжальный огонь пулеметов и автоматов партизаны Толочко. В несколько минут все было кончено.

В колонне оказалось больше двадцати машин, нагруженных обмундированием, алюминиевой посудой, парашютами, парашютными мешками.

— Загораживайте дорогу так, чтобы ни проехать, ни объехать, — скомандовал Зарубин.

Партизаны дружно навалились на перевернутые, изуродованные взрывами машины, с шутками и смехом стаскивая их в одну кучу на шоссе.

Покончив с колонной, двинулись вперед к городу, но не прошли и трех километров, как услышали впереди шум, выстрелы.

— Это Бойко орудует, — сказал кто-то.

Прибавили шаг.

Бойко перехватил на шоссе десяток автомашин и, когда основная колонна подошла к месту происшествия, все уже было кончено.

— Место вы выбрали неудачное, — оглядевшись, сказал Зарубин.

— Согласен, товарищ майор. Недоучел немного. Сразу не заметил, что стороной объехать можно.

— Заминируйте места, удобные для объездов.

— Есть.

— Никого не потеряли?

— Нет, все в порядке. Времена другие пошли.

— Другие-то другие, а храбрыми без ума быть не старайтесь. Сейчас особенно тяжело терять людей.

Солнце подходило к зениту и припекало не по-осеннему жарко. От быстрой ходьбы спины у всех были мокрые.

Канонада с востока все усиливалась. Воздух гудел от беспрерывно идущих бомбардировщиков, штурмовиков и быстрых, точно молнии, истребителей. Самолеты летели и на запад и обратно на восток.

— Что-то негусто фашистов стало в воздухе.

— Зато в земле густо...

— Некуда им податься, — с притворной грустью сказал радист Топорков. — В землю зарываются — их на воздух поднимают, а в воздух лезут — их отправляют в землю. И ни туды и ни сюды. Вот времечко подошло!...

— Дай-ка, голуба-душа, я тебе одну сумку подсоблю нести, а то, я вижу, ты вконец выдохся, — предложил Топоркову идущий рядом пожилой партизан.

— Э-э, нельзя, дорогой. Сумочки эти закреплены за мной навечно, как земля за колхозниками, и передоверить их я не имею права.

— Ишь ты!...

— Да, да. Точно.

Перейдя вброд грязную, мутную речонку, чтобы сократить путь, партизаны остановились на одиннадцатом километре от города.

На севере небо потемнело. Быстро надвинулись тучи, скрыли солнце. Начался дождь, порывистый, сильный, косой. Всех промочило до нитки. Но через полчаса небо опять прояснилось, и только обильные лужи кругом да мокрые гимнастерки партизан свидетельствовали о прошедшем ливне.

— Комедия какая-то. Зачем же мы в речонке полоскались?

— Ничего. Чище будем, чай, к городу подходим.

— Ребята! Дайте табачку на сигарку и побыстрее, — попросил маленький белобрысый партизан. Он сидел на корточках и натягивал на себя выжатую рубаху.

— Почему это побыстрее?

— Фашисты скоро покажутся. Предчувствие такое. Я уж знаю: как начинается у меня в животе урчание, — значит фашист близко.

— Тише! — раздался окрик Зарубина.

Все замерли.

По шоссе с автоматом в руке бежал партизан из отряда Бойко.

— Где майор? — он остановился, еле переводя дух.

— Ты что, малец, ослеп? — спросили партизаны.

— Где майор, я спрашиваю? — нетерпеливо повторил посыльный.

— Обалдел!... Да против тебя-то кто?

— Простите, товарищ майор, — увидев Зарубина, извинился посыльный. — Я от товарища Бойко. Во-первых, мы захватили семь офицеров и четыре легковые машины с документами. Как с ними быть?

— Что за офицеры?

— Эсэсовцы.

— Свяжите их и сохраните вместе с документами. А во-вторых что? — улыбнувшись, спросил Зарубин.

— Во-вторых, товарищ майор, из-за этих офицеров мы упустили целый обоз. Сюда идет. Сорок шесть подвод и все парные...

— Далеко обоз?

— За поворотом. Не больше как в двух километрах. Я прямиком резал, на третьей скорости.

— Много народу на подводах?

— Не особенно. Подводы нагружены доверху, с ними человек до полсотни будет. Все обозники, видать.

Зарубин приказал Веремчуку и Толочко захватить обоз.

Партизаны быстро замаскировались. Стали ждать. Вдруг послышался треск мотора, и из-за поворота показалась грузовая машина.

— Пропустить и не стрелять! — приказал Зарубин. Но как раз против того места, где лежали партизаны, машина вдруг остановилась и из кабины выпрыгнул Охрименко. Он внимательно оглядел местность.

Появление его было так неожиданно, что никто не произнес ни слова. Все лежали и не

двигались. А Охрименко, продолжая осматриваться вокруг, проговорил:

— Что-то не видать. Наверное, дальше.

— А товарищ Бойко говорил, что здесь, на одиннадцатом километре, — раздался голос из кузова.

— Здесь мы... здесь... — рассмеялся Зарубин. — Откуда вы взялись?

— Э-э! Валентин Константинович! Как появился, говорить долго. Жарко там у нас.

— Подожди, подожди, — прервал Зарубин. — Ты обоз обогнал?

— Только что. — Охрименко оглянулся. — Сейчас покажется.

— Ну вот. Тогда отъезжай-ка на километр, а мы разберемся с обозом. Потом переговорим обо всем. Добре?

— Согласен. Только я останусь с вами.

Охрименко приказал шоферу отвести машину, а сам лег возле Зарубина. Он был весь в пыли, разгорячен и первым делом попросил закурить.

Из рассказа Охрименко стало ясно, что основные силы противника отходят по старому шоссе и бригаде Рузметова приходится трудно. У гитлеровцев — пулеметы, минометы, пушки. Сейчас отряды партизан держат шоссе на четырех участках, чтобы не дать возможности врагу выйти к переправам, но есть опасение, что партизан могут сбросить в реку. Уже имеются потери. Несколько человек убито и тяжело ранено. В числе раненых командир отряда Апресьян.

— Я сразу почувствовал, что основные силы идут там, — проговорил Зарубин. — Ладно.

Загрохотали колеса подвод, показался обоз. Подводы были нагружены доверху, укрыты брезентами и перетянуты веревками. За повозками шагали обозники, усталые, без головных уборов, с расстегнутыми воротниками. Только у некоторых за плечами висели винтовки, а у большинства оружие лежало на подводах.

Дружный винтовочный залп огласил окрестность.

Партизаны высыпали на дорогу.

— Хенде хох! Хальт!

— Бросай оружие!...

— Чем подводы нагружены? — спросил Добрынин.

— Это не так важно, Федор Власович, — сказал Зарубин и распорядился: — Сваливайте все в сторону, разгружайте подводы и поворачивайте их обратно.

— Кони действительно добрые, — заметил белобрысый партизан.

— Я же говорил, — подтвердил посыльный.

На подводах оказалось имущество офицерского госпиталя. Его свалили на небольшой полянке. Подвод оказалось сорок пять, — посыльный ошибся на одну.

— Где сейчас ваша бригада? — спросил Зарубин Охрименко.

Тот достал из-за пазухи потертую, свернутую в несколько раз карту, развернул ее и показал место расположения бригады.

— Ехать лесом?

— Все время лесом. Дорога хорошая.

— Так... — сказал Зарубин. — Пошлем половину своих людей. — Он взглянул на командира. — В общем, сколько усадятся на машину и на подводы, столько и пошлем.

— Замечательно! Просто замечательно! Мы шестнадцать километров за два часа покроем, — радовался Охрименко.

Бойцы Веремчука и Толочко разместились на подводах. Охрименко с группой партизан сел в машину. На нее погрузили девять пулеметов, два миномета, гранаты, патроны.

— Трогай! — дал команду Зарубин. — Счастливо!

— До вечера!

— Резерв главного командования в действии, — бросил на прощанье Веремчук.

Перед заходом солнца партизаны Зарубина подошли к развалинам элеватора. Отсюда, с

высоты, был виден весь город. Справа, с кладбища, били немецкие батареи. На переезде — скопление автомашин, подвод; все торопятся выехать на старое шоссе. В нескольких местах полыхают пожары. Со стороны станции доносятся сильные взрывы. К небу взлетают клубы дыма, снопы искр, языки пламени. Наша артиллерия уже бьет по окраине города. Снаряды ложатся все ближе и ближе к переезду. Там уже паника. Над городом, пользуясь отсутствием советских истребителей, кружатся два «мессера».

Костров быстро бежит к развалинам элеватора и через знакомый пролом в стене устремляется вниз, в подвальное помещение. Тут Бакланов, Марковский и несколько незнакомых людей.

— Гранат нам, гранат надо! — бросается к Кострову Бакланов.

— Зачем?

— Микулич прислал — Губы у Бакланова дрожат. — Там, под церковью, целый штаб засел.

— Пойдем наверх.

Бакланов коротко докладывает обо всем Зарубину. Выясняется, что на кладбище в церковном подвале находится какой-то командный пункт. Бакланов предлагает с пятью-шестью партизанами незаметно добраться до кладбища и атаковать подвал. Тотчас же отбирают добровольцев, нагружают их гранатами и отправляют с Баклановым.

— Ура!... Ура!... — доносится со стороны вокзала.

— Кажется, наши показались, — взволнованно сказал Добрынин.

— Это Гурамишвили, — опуская бинокль, ответил Зарубин. — Ну, друзья! — Глаза командира бригады радостно сверкают. — В город! Кажется, нас опередят! За мной!

Все бросились через дорогу, в сторону кладбища.

В яру, из которого партизаны совершали налет на тюрьму, увидели Микулича. Он стоял на коленях около куста орешника и перевязывал голову Бакланову.

— Братцы! Власыч! Товарищ майор! — растерянно заговорил старик. — Помогите... спасти надо... Такой человек гибнет!...

Но помощь была уже не нужна. Глаза Бакланова навсегда закрылись.

Микулич вытер мокрое от слез лицо руками и доложил Зарубину:

— В подвале заперто человек двадцать офицеров. Идите, я останусь. Надо схоронить Ивана Тимофеевича...

Немцы в панике металась по городу. Сильная стрельба слышалась со стороны вокзала, а в городе она возникала только местами — то здесь, то там. Из окон домов уже выглядывали взволнованные жители.

Партизаны бежали по улице, обстреливали одиночные машины, подводы. Гитлеровцы уже не сопротивлялись и не отстреливались. Они спасали свои шкуры.

Но вот из-за угла дома выскочили Беляк, Крупин и с ними группа подростков. Увидев партизан, они бросились к ним.

— Подготовьтесь... фашисты, — проговорил Беляк.

— Ложись! — подал команду Зарубин.

На улицу выбежало десятка три гитлеровцев. Их встретили огнем; половина тут же свалилась, остальные повернули обратно.

— Лови! Бей их! — закричали школьники и бросились вдогонку.

— Наши! Наши! Танки! — кричал кто-то, захлебываясь от радости.

На главной улице, все усиливаясь, слышался тяжелый рокот моторов и гулкие выстрелы пушек.

— Наши!... Наши!...

Из дворов, не обращая внимания на стрельбу, выбегал народ. Появились женщины, дети... Все бежали на главную улицу.

Толпа росла, как снежный ком, и катилась вперед с ликующими криками.

Покрывая многоголосое «ура» и восторженные возгласы, по улице с грохотом и лязгом стремительно неслись на запад грозные, несокрушимые танки.